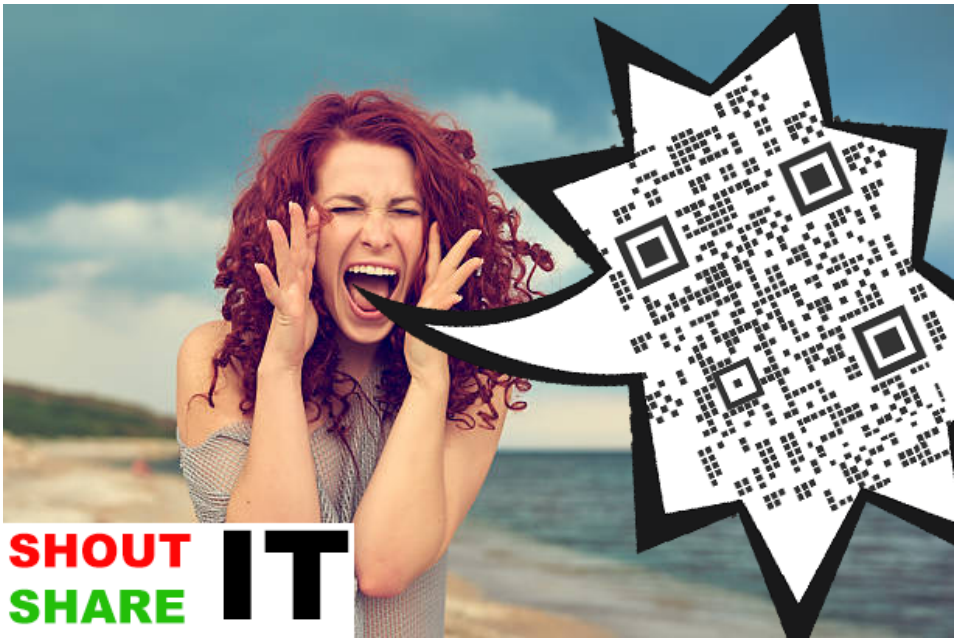
Павел Басинский

ЛЕВ

В ТЕНИ ЛЬВА

История любви
и ненависти


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В 1869 году в семье Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых родился третий сын, которому дали имя отца. Быть сыном Толстого, вторым Львом Толстым, – великая ответственность и крест. Он хорошо понимал это и не желал мириться: пытался стать врачом, писателем (!), скульптором, общественно-политическим деятелем. Но везде его принимали только как сына великого писателя, Льва Толстого-маленького. В шутку называли Тигр Тигрович. В итоге – несбывшиеся мечты и сломанная жизнь. Любовь к отцу переросла в ненависть…

История об отце и сыне, об отношениях Толстого со своими детьми в новой книге Павла Басинского, известного писателя и журналиста, автора бестселлера «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА») и «Святой против Льва».

- Павел Валерьевич Басинский
  - ○
  - ○
  - ○
  - ○ Осторожно, Толстой!
  - ○ Глава первая
    - ■ Первый роман, третий сын
    - ■ Черненькие и беленькие
    - ■ Толстой и его дети
    - ■ Старшие и младшие
    - ■ Сюська под соусом
    - ■ В дамском обществе
    - ■ Лев и львята
  - ○ Глава вторая
    - ■ Потерял шапку
    - ■ Между папа́ и мама́
    - ■ В Москву! В Москву!
    - ■ Отпадение Толстого
    - ■ Война за детей
    - ■ Нежное сердце
    - ■ Гимназия Поливанова
    - ■ Лев-«толстовец»
    - ■ Синдром Бульбы
  - ○ Глава третья
    - ■ Лёля «умер»
    - ■ На распутье
    - ■ В студенческой фуражке

- Беда страшная
- Послесловие к «Крейцеровой сонате»
- Охота к перемене мест
- «И я полюбил его»
- Господин Львов

○ Глава четвертая
- «Террористы»
- Граф, сын графа
- Совестно!
- Толстой и Раевский
- Толстые в Бегичевке
- Одиночество в степи

○ Глава пятая
- Случай на станции Богатое
- Страсти рядового Толстого
- Страдания в Царском Селе
- Мешок с костями
- Легко, просто и радостно
- Судьба Хохлова
- Толстой как болезнь
- Смерть Ванечки
- Завещание младенца

○ Глава шестая
- Изгнание Ивана
- Кровь Рюрика
- Вестерлунд
- Дора
- Письма из Ясной Поляны
- Свадьба
- Медовый месяц
- «Какая глушь!»
- Отец, сын, мать
- Споры с отцом
- Приезд Вестерлундов
- Конец проекта

○ Глава седьмая
- «Твой сын Лев»
- Конец родового гнезда
- В Петербург! В Петербург!
- Неудержимая потребность
- «Прелюдия Шопена»
- Горький
- Крымская драма
- Нашел врага

- Глава восьмая
  - Свет с Востока
  - «Надо начинать сначала…»
  - Не ко двору
  - Война с отцом
  - Не на своем месте
  - Встреча с царем
- Глава девятая
  - Толстой против
  - Прекрасная смерть
  - Не приехал
  - Вскрыть нарыв
  - Помирились
  - Поворот судьбы
  - Милая «Франция»
  - Не получилось
- Глава десятая
  - Маменькин сынок
  - Только не сыновья!
  - Третий лишний
- Послесловие
- Библиография
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54

Павел Валерьевич Басинский
Лев в тени Льва. История любви и ненависти

© Басинский П. В.
© ООО «Издательство АСТ»

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в написании книги:

советнику президента по культуре В. И. Толстому, директору Государственного музея Л. Н. Толстого Н. А. Калининой, заместителю директора музея по научной работе Л. В. Калюжной, главному хранителю рукописей фонда Л. Н. Толстого Т Г. Никифоровой и сотрудникам музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Тот, кто понимает Толстого,
не следует за ним. А тот,
кто следует за ним,
не понимает его.

В. А. Маклаков

Осторожно, Толстой!

Осенью 1916 года у последнего секретаря Льва Толстого Валентина Федоровича Булгакова случилась беда. К нему в Москву из Сибири приехала мама́ с твердой уверенностью, что у нее рак. При обследовании в Москве известный женский врач Козловский подтвердил ее опасения и посоветовал обратиться к знаменитому гинекологу Владимиру Федоровичу Снегиреву.

Однако добиться его приема было непросто.

– Нужно платить двадцать пять рублей за визит! – сказал «респектабельный» лакей, отворивший парадную дверь особняка Снегирева на Девичьем Поле.

– Эти деньги будут заплачены, но нам важно знать, когда больная будет принята.

– Недели через полторы, в порядке записи.

– А раньше нельзя?

– Никак нельзя.

«Грустные, отошли мы от двери, – пишет Булгаков в воспоминаниях. – Маме, прежде всего, вовсе не улыбалось проживаться в Москве, в гостинице, а главное, она была так напугана и взволнована страшной болезнью, лечение которой она запустила, что откладыванье решения об операции на каждый лишний день казалось ей едва ли не равносильным смертному приговору».

И тогда Булгаков решил обратиться за помощью к своей «второй матери», которой он считал Софью Андреевну Толстую. На глазах последнего секретаря Толстого разыгрался весь тяжелейший семейный конфликт, предшествовавший уходу Толстого из Ясной Поляны. Он жил в яснополянском доме и после смерти писателя, с декабря 1912-го по август 1916 года, занимаясь описанием личной библиотеки Толстого. В это время он особенно сблизился с Софьей Андреевной, с которой у него установились сыновьи отношения. Булгакову, когда он впервые поселился в Ясной Поляне в январе 1910 года, незадолго до ухода и смерти Толстого, не было и 24 лет. Настоящие сыновья Софьи Андреевны и Льва Николаевича, Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, жили отдельно в своих имениях, в Москве, Петербурге и за границей, бывая в Ясной только наездами с женами и детьми. И так уж вышло, что всегда деликатный и сочувствовавший Софье Андреевне «Булгаша» заменил ей сына.

Профессор Снегирев был близок к семье Толстых. Осенью 1906 года прямо в яснополянском доме он на свой страх и риск сделал Софье Андреевне срочную и сложную операцию по

удалению гнойной кисты, на которую в этих условиях не решился бы обычный хирург. Он спас супруге писателя жизнь. Булгаков телеграммой попросил Софью Андреевну замолвить за него слово перед Снегиревым. «На другой день я получил от милой Софьи Андреевны телеграфный ответ, что мое желание ею выполнено».

На этот раз «респектабельный» лакей был предупредителен и о 25 рублях речи не вел.

– Пожалуйте!

Осмотрев маму, Снегирев также определил рак и через несколько дней в лечебнице своего ассистента доктора Полилова, который 10 лет назад помогал ему оперировать Софью Андреевну сделал больной операцию. Операция прошла успешно, да и опухоль, к счастью, оказалась не раковой.

«Мы с мамой еще раз ходили в особнячок: благодарить профессора. Тут он, оставивши свою бывшую пациентку в приемной, увел меня в кабинет и завел разговор о Толстом.

– Помните, – говорил он, – что Толстой поглощает людей. Всех, кто к нему приближается, он поглощает без остатка, и как бы ни был талантлив тот или иной человек, он, увлекшись Толстым, всё отдает ему, и от него уже ничего не остается…»

Странность этого высказывания была в том, что прозвучало оно из уст человека, который всегда глубоко почитал Толстого. Но еще более интересно, что говорились эти слова спустя шесть лет после смерти яснополянского старца, а говорились при этом так, как если бы Толстой был всё еще жив и опасность «приближения» к нему равнялась бы физической опасности.

«Осторожно, Толстой!»

Булгаков, который не просто любил, а боготворил Толстого, как, впрочем, почти все, кто находился с ним в близких отношениях, слова Снегирева запомнил на всю жизнь. «Слова эти я часто вспоминал потом, когда мне казалось, что я сам стою на границе своего полного «поглощения» яснополянским мудрецом и гениальным человеком. Хотелось спасти остатки «своего»…» И это было написано Булгаковым, чья жизнь непосредственно возле Толстого прошла по касательной, в последние месяцы жизни гения.

Но представьте себе человека, который не просто был близко связан с Толстым, а являлся его родным сыном, его плотью и кровью, и при этом постарался разделить убеждения отца, стать в буквальном смысле «толстовцем» и пройти весь путь отца, повторяя его во всем, кроме одного, в чем его невозможно было повторить – в его гениальности. Нельзя придумать более несчастной судьбы! Но самым, быть может, роковым обстоятельством этой судьбы стало то, что имя сына было ЛЕВ

ТОЛСТОЙ. Это была минутная ошибка родителей ценой в сломанную человеческую жизнь.

Глава первая
Яша Полянов

Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын.

Народная пословица

Первый роман, третий сын

Лев Львович Толстой, или Лёва, Лёвушка, Лёля, как его называли в семье, был четвертым ребенком и третьим сыном Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Он родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне на том же самом кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич, его братья и сестра, два первых сына Сергей и Илья и дочь Татьяна…

Роды были тяжелыми и затягивались. Потому кроме обычной в таких случаях акушерки пригласили из Тулы доктора Кнерцера. Но мужчины, Толстой и доктор, так устали ждать, что отправились в лес Чепыж прогуляться. Оставшись вдвоем с акушеркой, Софья Андреевна благополучно родила крепкого мальчика с черными длинными волосами. «Он энергично дрыгал ногами и кричал во всё горло, возвещая о своем приходе в мир, который показался ему враждебным после блаженного покоя под материнским сердцем», – фантазирует по этому поводу автор книги «Дети Толстого» внук писателя Сергей Михайлович Толстой.

Этой же версии своего рождения придерживался и сам Лев Львович. «Я появился на свет в дамском обществе…» (книга воспоминаний «Опыт моей жизни»). В мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» также упоминается доктор Кнерцер, который «ужасно волновался» и «не переставая за ужином ел раков», и ничего не говорится об его участии в родах. Но исключить своего мужа из этого события жена Толстого не могла. И как-то так получилось, что доктора при родах не было, но Лев Николаевич в самый ответственный момент все-таки оказался у двери. «Наконец к 11-ти часам вечера раздался крик ребенка и, как всегда, вслед за ним – рыдания Льва Николаевича».

Эти «рыдания» и «как всегда» выдают Софью Андреевну с головой, тем более что писались ее мемуары гораздо позже. По-видимому, в семье знали, что Льва Николаевича не было при родах: он в это время гулял с доктором в лесу. Отсюда семейное предание. Но у Софьи Андреевны было особое отношение к рождению Лёвы. Недаром в ее мемуарах он упоминается чаще остальных детей. Он не был первенцем, но тревожно долгожданным ребенком. После рождения Сергея, Татьяны и Ильи у жены Толстого случились подряд два выкидыша. Между тем муж страстно мечтал об умножении семьи, а она боготворила мужа. Именно в 1869 году он закончил «Войну и мир» и стал великим писателем. Она помогала ему в создании романа, переписывала частями по нескольку раз, подсказывала какие-то

детали для женских образов и даже будто бы втайне от мужа правила неудачные, по ее мнению, фразы. Наконец она знала, что в образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил ее черты, создав образец счастливой семейной женщины. Рождение Лёвы в год рождения «Войны и мира» как бы соединяло две области, правду и художественный вымысел, в гармоническое целое. Наверное, 1869 год был самым счастливым годом в жизни этой семьи.

Мы не знаем причин, по которым третьего в семье мальчика назвали Львом, как не знаем и того, почему так назвали самого Льва Николаевича. Толстой не отличался семейным тщеславием, и до самого позднего времени его дети даже не знали, что их папа́ – великий писатель. Об этом не было принято говорить в семье. Но можно понять настроение женщины, подарившей любимому мужу долгожданного третьего сына, да еще и в год его величайшего писательского триумфа. А с другой-то стороны, в 1869 году это была еще обычная дворянская семья. В то время никто, ни сам Толстой, не могли подумать, что спустя примерно пятнадцать лет имя Лев станет тяжелым наказанием для мальчика, поводом для насмешек («Как тебя зовут? Ты – Лев Толстой?!») и причиной неисцелимой рефлексии по этому поводу. Да что же это, в конце концов, означает, что он не кто-нибудь, а сам Лев Толстой?!

Это случится позже, когда имя Толстого прогремит по всему миру, когда его идеям будет сочувствовать половина человечества, а вторая половина, по крайней мере, о них знать. А в 1869 году Толстой еще *просто писатель*, написавший огромный семейно-исторический роман, который привел в восторг читающую публику, но отнюдь не большинство критиков. Только Николай Николаевич Страхов написал золотые слова: «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, – всё есть в этой картине… «Война и мир» произведение гениальное».

Но в это же самое время в газете «Петербургский листок» язвительно замечали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов», – а в «Петербургской газете» писали, что над такими критиками «можно порой посмеяться, когда они измыслят

что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого». А в газете «Искра» популярный пародист Дмитрий Минаев печатал стихи:

П о в р е ж д е н н ы й к р и т и к (*бредит*)
Да, гений он!..
Постой, постой!..
Кто – Бенедиктов?
К р и т и к:
Лев Толстой!..
Н е к т о:
Ты покраснел, я вижу… Дело!..
Болтать нельзя, без краски, зря.

Достоевский по первым впечатлениям от чтения назвал «Войну и мир» «помещичьей литературой» и только гораздо позже отдал дань этому великому произведению Льва Толстого.

Салтыков-Щедрин вовсе говорил, что этот роман «болтовня нянюшек и мамушек», что все военные сцены это «ложь и суета», а Багратион и Кутузов «кукольные генералы».

Тургенев тоже не сразу понял значение «Войны и мира»: «… как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, – трус, мол, я или нет? – Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические?» И лишь позже он скажет, что «в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не согласиться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями…»

В 1869 году ничто не предвещает, что Толстой станет учителем человечества, создателем нового религиозного движения. Впрочем, летом этого года по дороге в Пензенскую губернию его настигнет знаменитый «арзамасский ужас», предвестник будущего духовного переворота. Всё лето после рождения Лёвы он читает Шопенгауэра и Гегеля, но до собственных религиозно-философских открытий еще далеко, если не считать исторических рассуждений в «Войне и мире», которые меньше всего заинтересовали читателей и возбудили насмешки критиков.

Быть сыном просто писателя, даже известного писателя и при этом носить не только его фамилию, но и имя, это в порядке вещей. Это не исключает и того, чтобы самому стать писателем. Уже есть Александр Дюма-сын, почему бы не появиться Толстому-сыну? Но вот носить имя и фамилию не просто писателя, а

властителя дум и чувств, великого проповедника, которого ставили рядом с Христом и Магометом, это совсем другое! Двух Львов Толстых ни одна культура выдержать не в состоянии…

Лёва Толстой, родившийся в Ясной Поляне цветущим маем 1869 года, еще не знает о своем будущем. Он еще просто мальчик Лёля, сын графа Льва Николаевича Толстого, написавшего гениальный роман о войне 1812 года.

Черненькие и беленькие

Софья Андреевна до пожилого возраста оставалась жгучей брюнеткой с темными карими глазами. Лев Николаевич был светловолосым, глаза у него были серые. Всех детей в семье так и делили на «черненьких» и «беленьких» – в зависимости от цвета глаз и волос. «Черненькие» были похожи на мать, «беленькие» – на отца. После рождения Лёли в семье наступил паритет – двое «черненьких», Таня и Лев, и двое «беленьких», Сергей и Илья. Через два года родилась «беленькая» Маша; за Машей, год спустя, – брюнет Петя; еще через год – «черненький» Николушка; за ними – Варя, прожившая только полчаса.

Всего же у Толстых родилось тринадцать детей, но лишь восемь из них дожили до зрелого возраста. В «Опыте моей жизни» Лев Львович поделился интересным наблюдением: «…из умерших моих братьев маленькими детьми трое были с темными глазами, типа «черных», что показывает, что этому типу нашей семьи жизнь давалась труднее».

Другое наблюдение: «…моя старшая сестра Таня и я – «черные» дети семьи – больше взяли умственных особенностей, которые можно назвать внутренним или духовным обликом человека, от отца и его линии, но физически мы больше похожи на мать; остальные дети, хотя в них и было много отцовского с физической стороны (брат Илья, например, был внешностью очень похож на отца), всё же по духовному и умственному складу они мало походили на него. Письма брата Ильи, например, до смешного похожи на письма матери».

Все дети Толстых были по-своему умны и талантливы. Но в «черных», Татьяне и Льве, это проявилось в более, что ли, насыщенном виде. А главное – это дало ощутительные результаты. Татьяна была незаурядной художницей, чей рисунок ценил Илья Репин, говоря, что он даже «завидует» ему. Что касается Льва, он проявил себя во множестве «жанров»: от литературы и скульптуры до общественной деятельности и крайне своеобразной философии.

При этом, как писатель, Илья, был, пожалуй, талантливей Льва. Его повесть «Труп» (с тем же почти сюжетом, что и «Живой труп» отца) и рассказы предвещали рождение большого писателя. А вот Лев, напечатавший много рассказов, повестей, несколько романов, книгу пьес и множество очерков и статей, не стал крупным писателем – просто по среднему качеству своего литературного таланта. И это понимали все, даже искренне любившие Льва Львовича родные и друзья. Но понимал ли это он

сам – это большой вопрос.

Тем не менее, Ильи Толстого как писателя в истории русской литературы фактически не существует. Вернее, он занимает в ней какое-то очень частное место. А Лев Толстой-младший – вполне реальная фигура литературного процесса начала XX века. О нем много писала критика. Его знали ведущие издатели. С ним переписывались Антон Чехов, Николай Лесков, Максим Горький… Конечно, огромную роль здесь играли его имя и фамилия. Но в не меньшей степени – упорство и литературное трудолюбие. Главное – страстное желание *быть* профессиональным писателем.

Можно сделать и еще одно наблюдение. В «черненьких» было больше вкуса, изящества. Того, что называется comme il faut[1]. Татьяна в юности была неисправимой модницей, любила балы и имела много аристократических поклонников. Она умела покорять сердца. Ее обожали и мать, и отец. И как бы затем ни складывалась тяжело ее жизнь, что бы с ней ни происходило, Татьяна никогда не теряла внешней формы.

То же можно сказать и о ее младшем брате. Встретившись с ним во Франции в 1928 году, его племянник Сергей Михайлович Толстой таким увидел своего дядю: «Он приближался к своему шестидесятилетию, но был худой, сильный, элегантный, походка гибкая и легкая. Со спины он казался моложе лет на двадцать, но морщинистое лицо отражало страсти, которые испепеляли всю его более, чем бурную жизнь».

Толстой и его дети

Толстой не слишком жаловал своих детей, пока они были маленькими. Это обижало Софью Андреевну, но муж не любил возиться с «бебичками», как тогда называли младенцев в дворянских семьях от английского «baby».

В 1872 году в письме к тетушке Александре Андреевне Толстой он признался: «…я не люблю детей до 2–3 лет – не понимаю. Говорил ли я вам про странное замечание? Есть два сорта мущин – охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей – беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу».

Толстой тогда был заядлый охотник.

Но в этом же письме он делает «реестр» своих родившихся на тот момент шестерых детей – Сергея, Татьяны, Ильи, Льва, Маши и Петра. Прозорливость Толстого, в главном угадавшего будущее своих детей, просто поразительна! Она говорит о том, что он, может быть, и не любил «бебичек», но присматривался к ним зорко.

«Старший белокурый – не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа – умен, математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche[2] и рассеян… Самобытного в нем мало…»

Сергей Львович Толстой (1863–1947) родился в счастливое для своего отца число – 28-го июня (отец родился 28 августа 28-го года). Сергей закончил физико-математический факультет Московского университета, отдав некоторую дань либеральным и даже радикальным настроениям студенческой молодежи. Он был поклонником науки, и в этом расходился с отцом. Он был музыкально одарен: прекрасно играл, занимался историей и теорией музыки, сам сочинял. Работал в Тульском и Петербургском отделениях Крестьянского банка, работал земским начальником, попробовал себя в качестве помещика. Не совпадая с отцом по взглядам, он всегда ему, тем не менее, сочувствовал и лично сопровождал в Канаду духоборов, в переселении которых

его отец принял горячее участие, пожертвовав на это гонорар от «Воскресения». Единственный из братьев Сергей Львович полностью поддержал отца во время его «ухода». А после его смерти сделал все возможное, чтобы сохранить Ясную Поляну как музей. Он занимался толстовским музеем в Москве, изданием полного собрания сочинений, писем и дневников отца, написал несколько превосходных книг («Мать и дед Л. Н. Толстого», «Музыка в жизни Толстого» и другие). Единственный из детей Толстого он остался жить в Советской России. И большевики, как пишет его племянник Сергей Михайлович, уважали его… Но было что-то невыразимо грустное в его судьбе. В первом браке он оказался несчастен, его жена скончалась от туберкулеза. Последние годы его жизни были скрашены Ясной Поляной и общением с Николаем Павловичем Пузиным, ведущим сотрудником яснополянского музея.

Но продолжим «реестр» Толстого…

«Илья 3-й. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч и violent[3], сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен – любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородинное и гречневую кашу у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Всё непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает…

Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником, Илья погибнет, если у него не будет строгого и *любимого* им руководителя».

Илья Львович Толстой (1866–1933) прожил бурную жизнь. Он не закончил гимназии, больше увлекаясь охотой в Ясной Поляне и Подмосковье, влюбился в Сонечку Философову, дочь вице-президента Академии художеств, первым из сыновей женился и подарил родителям первую внучку – Анну. В письме к Илье, написанном еще до его женитьбы, отец прозорливо предрекал, что «из 100 шансов 99, что, кроме несчастья, от брака ничего не выйдет», потому что «жениться, чтобы веселее было жить, никогда не удастся». Тем не менее, долгое время Илья Львович и Софья Николаевна Толстые были счастливы. Они поселились в селе Гринёве, принадлежавшем матери Ильи Софье Андреевне, затем он купил свое имение Мансурово в Калужской губернии. Но ни Гринёвка, ни Мансурово не приносили дохода. Между тем семья росла – после Анны родились Андрей, Михаил, Илья, Владимир, Вера, Кирилл. Илья просил денег у матери, но она считала, что

«слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно». Всё же она очень сочувствовала Илье: «Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой». Однако при всех трудностях и нелепостях жизнь Илья казалась благополучной! Он был прекрасным охотником, «лошадником», веселым, общительным, всеми любимым человеком. Он был талантлив во всем: в сельском хозяйстве, которому отдавался со всей страстью, в своих писательских опытах, которые оценил и его отец, и даже такой ревнивый судья, как Иван Бунин, с которым Илья Львович дружил. Иван Бунин написал о нем, что «это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по природе человек». Зимой в деревне Илья никогда не скучал: плотничал, столярничал, ремонтировал мебель, переплетал книги.

При этом – что удивительно! – его отец был *уверен*, что Илья будет *несчастен*, причем в то время, когда ничто не предвещало этого. Именно когда Илья казался всем счастливым, Толстой записывает в дневнике: «Главное, он несчастлив совсем. Как для паука уж дождь, когда только начинается сырость, так для меня он уж несчастлив так, как будет через двадцать лет».

Заботы о семье заставили Илью отказаться от помещичьих занятий. Он скитался по городам и весям, жил в Пензе, Саратове, Симбирске, Москве, Петербурге, работая гласным от земства, страховым агентом, оценщиком Крестьянского банка. После смерти отца он написал сценарий фильма по рассказу «Чем люди живы», где сам исполнил роль барина, а падшего ангела играл тогда еще молодой певец Александр Вертинский. Во время Первой мировой войны служил корреспондентом на Балканах. В 1916 году отправился в Америку читать лекции об отце, а в 1917-м, бросив семью в России, обосновался в Америке окончательно. Некоторое время благодаря своему имени он был знаменит как лектор и журналист, комментатор событий, происходивших на его родине. Он гордо считал себя связующим звеном между Россией и Америкой, человеком «международного значения», призванным сблизить две молодые демократии мира. Но после разрыва дипломатических отношений между Америкой и СССР интерес к его выступлениям угас. Он подвизался в Голливуде, выступая экспертом фильмов по романам отца «Анна Каренина» и «Воскресение», и сыграл роль самого Льва Толстого в одном из них. В пожилом возрасте он стал поразительно похож на отца внешне, так что некоторые дамы при его виде падали в обморок.

Илья Львович вторично женился на теософке Надежде Катульской, о которой его сестра Александра, тоже жившая в

Америке, писала как об особе неприятной и бесхозяйственной… Венцом его американского благополучия стал маленький дом в Russian Village («Русской деревне»), штат Коннектикут, в месте, которое он шутливо называл «мои поросятники». Он писал Саше: «Одно утешение – это лето, когда можно уйти в природу… хоть и не та природа, что в России. Земля не так пахнет, цветы не так цветут, деревья растут иначе – всё же это природа».

На руках своей младшей сестры Александры он и скончался от рака в госпитале Нью-Хейвена, попрощавшись в письмах со всеми родными и попросив у них прощения. Не смог от слабости завершить на себе крестное знамение, которое его рукой завершила сестра…

Не ошибся Толстой и в судьбе старшей дочери Татьяны, второго ребенка Толстых и всеобщей любимицы.

«Таня – 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная – иметь детей… Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает *новую женщину*».

Детство Татьяны Львовны Толстой (1864–1950) пришлось на самое счастливое время в жизни семьи. Толстой работал над «Войной и миром», жена была ему и подругой, и помощницей, а ссоры между ними случались редко. «Я выросла среди людей, любящих друг друга и меня, – напишет Татьяна в воспоминаниях. – Мне казалось, что такое отношение естественно и свойственно человеческой природе».

Таня впитала в себя атмосферу семейного согласия и гармонично соединила в себе отцовские и материнские черты характеров. Любила красиво одеваться, танцевать, пользовалась исключительным успехом на балах, но в то же время была серьезной, начитанной и целеустремленной девушкой. Она сочетала в себе хозяйственные таланты с любовью к живописи, в которой достигла немалых успехов, закончив Школу живописи, ваяния и зодчества, где ее учителями были Василий Григорьевич Перов и Леонид Осипович Пастернак. Своими советами ее поддерживали друзья семьи Николай Николаевич Ге и Илья Ефимович Репин. Но известной художницей она не стала. Две страсти определили ее судьбу.

Первая – любовь к отцу. С середины восьмидесятых годов

Татьяна, пережив множество светских увлечений, имея в прошлом более десятка женихов, среди которых был цвет московской «золотой» молодежи: князья Урусов и Мещерский, граф Капнист, Олсуфьев, Стахович и другие – вдруг отказалась от света и стала преданно служить отцу, его новым идеям, хотя внутренне их не всегда разделяла. Можно даже сказать, что как мужчина он затмил для нее всех остальных. Она не видела никого равного отцу по уму и по обаянию. «Да, это такой соперник моим Любовям, которого никто не победил», – записывает она в дневнике. Она переписывала его рукописи, заместив на этом посту Софью Андреевну, разошедшуюся с мужем в его новых воззрениях. Она принимала деятельное участие в толстовском народном издательстве «Посредник». Постепенно она стала необходимой отцу как воздух, но именно в силу этого он… перестал ее замечать. «Когда она тут, я ее не замечаю только потому, что она точно часть меня, точно она – это я сам. Очень уж она мне близка».

Однако Татьяна не была и не могла быть его «частью». Другая страсть, не менее сильная, чем любовь к отцу, жила в ней – мечты о *своем* муже, *своих* детях, *своей* семье. Внешне она мирилась с эгоистичностью отца, последовательно отказавшего всем ее женихам и прямо убеждавшего ее никогда не выходить замуж. Но глубокий инстинкт жены и матери, который отец заметил в ней в восьмилетнем возрасте, никуда не исчез и стал для нее, уже немолодой девушки, причиной страданий. Однажды она напишет в дневнике: «Очень грустно. Жалко молодости. Хочется любви».

Это написано в 1895 году, когда Татьяна увлеклась женатым последователем отца Евгением Ивановичем Поповым. Из-за этого запоздалого и бессмысленного романа терзалась она сама, мучился Попов, переживал отец… Наконец, в 1896 году она окончательно влюбилась в тоже женатого, многодетного и пожилого помещика Михаила Сергеевича Сухотина. После смерти его жены они скромно обвенчались в 1899 году. Ей было тридцать пять лет, ему – сорок девять. Родители были ошеломлены. «Молодые» чувствовали себя смущенными.

Впрочем, Михаил Сергеевич Сухотин оказался добрым и порядочным человеком, заслужившим расположение всей семьи Толстых. Но судьба еще раз горько посмеялась над Татьяной: в течение первых пяти лет замужества она каждый год рожала мертвых младенцев (один раз – двойню). Наконец, в 1905 году родилась единственная дочь Танечка. В 1914 году умер Сухотин. Танечка росла слабой и болезненной, не раз была на волосок от смерти. Но именно дочь в эмиграции обеспечила матери счастливую старость. В Риме она принимала участие в

гастрольном спектакле по пьесе Толстого «Живой труп». В театре присутствовал знаменитый журналист Луиджи Альбертини, бывший владелец ведущей итальянской газеты *Corriere della Sera*. Он пригласил труппу к себе во дворец, где в Танечку влюбился его сын Леонардо, доктор юридических наук. Через несколько месяцев он женился на ней. Последние годы жизни Татьяна Львовна провела рядом с дочерью и ее мужем в Риме, где вновь смогла окунуться в знакомую ей светскую атмосферу. В доме Альбертини собиралась вся интеллектуальная и аристократическая элита страны.

Зная судьбу второй дочери Толстого – Марии, с особым чувством читаешь строки, посвященные ей, в письме отца тетушке Александре Андреевне. «5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное…»

Обстоятельства рождения Марии Львовны Толстой (1871–1906) связаны с первым серьезным конфликтом между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Кормя грудью годовалого Лёвушку, жена Толстого вновь почувствовала себя беременной. Это ее не обрадовало. Она устала от родов и кормлений, устала непрерывно ощущать себя не женщиной, а самкой. К тому же после преждевременных родов Маши у нее началась родильная горячка, и она едва не умерла. Врачи посоветовали ей больше не иметь детей. Но муж был категорически против этого. Он не представлял себе семейной жизни без рождения детей. Это чуть не привело к разводу.

Сергей Михайлович Толстой, автор книги «Дети Толстого», пишет, что детство Маши «прошло незаметно в шумной группе старших детей: Сергея, Татьяны, Ильи и Льва, которые обращались с ней, как с Золушкой, оставляя ей самую черную работу». И она с детства привыкла не избегать этой работы.

В шутку и всерьез поговаривали, что у Маши было психическое заболевание, которое англичане называют «as you like it». То есть ты всегда делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хотят от тебя другие.

Очень рано Мария стала преданной тенью Толстого. Уже подростком она разделила все его новые взгляды: отказалась от света, была строгой вегетарианкой. Она переписывала тексты Льва Николаевича, вела его корреспонденцию, была связующим звеном в практических вопросах с его учеником и издателем

Владимиром Григорьевичем Чертковым, с которым, впрочем, часто вступала в разногласия, ревнуя отца к Черткову. В свою очередь, дочь Татьяна ревновала отца к Марии.

Маша была единственным взрослым ребенком Толстого, с которым Лев Николевич был сентиментален, позволяя ей так же обращаться и с ним. С другими детьми Лев Николаевич не позволял себе нежностей. И это во многом объяснялось характером самой Маши – всегда отзывчивой, приветливой, готовой прийти на помощь.

Кроме служения отцу она помогала всем крестьянам Ясной Поляны. Умная, тонкая, знавшая в совершенстве несколько иностранных языков, Мария косила с крестьянами, доила их коров, тушила пожары, перекрывала крыши погоревших изб, учила крестьянских детей грамоте, лечила крестьянок, принимала роды…

Бабы и мужики ее обожали. Да, пожалуй, не было ни одного человека, который не подпал бы под обаяние этой девушки, некрасивой внешне, но прекрасной своей внутренней красотой. Отказавшись от света, она не отказывалась вовсе от земных радостей: пела и плясала с домашними и крестьянками, принимала участие в любительских спектаклях в Ясной Поляне.

Но… С ней случилась та же история, что и с Татьяной. Как ни старалась она отказаться от своей женской природы ради служения отцу и простым людям, природа брала свое. Первым ее увлечением стал последователь отца Павел Иванович Бирюков, замечательный человек, которого очень любили в семье Толстых. Дело шло к свадьбе, в которой многие были уверены. Однако Толстой отказал Бирюкову и отговорил дочь выходить замуж. Можно определенно сказать, что он боялся потерять для себя ценную помощницу.

Вторым серьезным увлечением Маши стал сын друга Толстого Ивана Ивановича Раевского – Петя Раевский. Но и здесь Толстой был непреклонен. «Неужели свет сошелся клином и на этом клину только один человек, – писал он дочери. – Мне-то со стороны видно, что этот один человек заслоняет от тебя мир, и, чем скорее он устранится, тем тебе светлее и лучше».

Третьим избранником оказался скромный домашний учитель музыки – Николай Зандер. Однако и ему Толстой написал хотя и вежливое, но определенное письмо с отказом. Ведь Зандер был еще и не ровня Маше по социальному происхождению. Но на этот раз дочь заупрямилась. Она не сразу отказала Зандеру, тайно встречалась с ним к ужасу отца, который не мог в это поверить. Всё закончилось тем, что в возрасте двадцати шести лет Маша влюбилась во внучатого племянника своего отца князя Николая

Леонидовича Оболенского, внука сестры Льва Николаевича Марии Николаевны Толстой. Будучи князем, он был практически нищим, но добрым и любящим Машу человеком. В общем-то они могли быть счастливы. Но и здесь она разделила судьбу сестры.

Один за другим у нее рождались мертвые дети.

Софья Андреевна считала, что главной причиной неудачных беременностей дочери было ее вегетарианство. Но ее свекровь Елизавета Валериановна Оболенская была уверена, что Маша испортила здоровье «непосильными работами в поле, наравне с крестьянами; во время пожара на деревне она, стоя по пояс в воде, передавала ведра…» Так или иначе, а родить нормального ребенка Мария не смогла…

Отношение к этому отца было поразительным! Конечно, он жалел любимую дочь и старался ее утешать. Но странным образом… Например, после очередных неудачных родов он писал ей: «А как ни печально это в материальном смысле, для духовной жизни твоей это несомненно в пользу…»

В 1906 году в возрасте тридцати пяти лет Маша скоропостижно скончалась от воспаления легких на руках отца, который не отходил от ее постели. Гроб Маши несли на руках через всю деревню. Крестьяне выходили и передавали деньги священнику, заказывая непрерывные литии по любимой «барышне». Крестьянки плакали. Лев Николаевич проводил дочь до конца деревни, но на кладбище не пошел, вернулся обратно.

Менее интересна запись Толстого о самом младшем сыне Петре. «6-й Петр великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас – не знаю». Но проверить это не удалось. Петр Львович Толстой (1872–1873) умер в возрасте одного года.

Много лет спустя, незадолго до смерти, в разговоре Павлом Ивановичем Бирюковым Толстой вспомнил об этом письме 1872 года к тетушке о своих детях и сказал, что «так и вышло», как он предвидел. «Кроме предсказания о Лёве». Что же отец писал о своем сыне-тезке?

«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько *не понимаю*».

Старшие и младшие

Мы не поймем особенностей характера Льва Львовича, не обратив внимания на одно тонкое обстоятельство… Это был *самый младший* из старших сыновей Толстого.

Но можно ли отчетливо разделить детей Толстого на старших и младших, если его жена с 1863 по 1888 годы – на протяжении двадцати пяти лет – непрерывно рожала детей?

По-видимому, доктора не только из сочувствия не советовали Софье Андреевне не иметь детей после тяжелых родов Маши. Трое, родившихся после этого, умерли во младенчестве – Петр, Варя и Николай. И только в 1877 году, спустя шесть лет после рождения Марии, на свет появился Андрей, который дожил до зрелого возраста. В 1879-м родился Михаил, доживший до преклонных лет; в 1881-м – Алексей, умерший пятилетним; в 1884-м – Александра, оказавшаяся долгожительницей (скончалась в США в возрасте девяноста пяти лет); в 1888-м – Иван, Ванечка, самый любимый в семье ребенок, который умер в семь лет от скарлатины.

Таким образом и получилось, что старшими детьми оказались Сергей, Татьяна, Илья, Лев и Мария, а младшими – Андрей, Михаил и Александра.

Отличить старших от младших было просто. Старшие к матери обращались на «вы», а к отцу – на «ты». Младшие – наоборот: к отцу – на «вы», к матери – на «ты». Почему так произошло? До написания «Войны и мира» и «Анны Карениной», а главное – до духовного переворота, явившего миру нового Толстого, отец был для детей просто отцом. Мать была просто матерью, а не женой великого учителя мира. Основные заботы по воспитанию старших детей, конечно, ложились на мать, потому что отец был поглощен творчеством и одновременно заботами по умножению богатства семьи и приобретению новых имений. На мать в том числе ложилась ответственность держать детей в строгости и повиновении. Отец же с ними занимался гимнастикой, охотой, рыбной ловлей, коньками и прочими радостями…

С начала восьмидесятых годов ситуация переменилась. Толстой перестал быть просто отцом, а стал великим проповедником, о котором ежедневно писали в газетах, так, что почти невозможно было найти номера, где бы не упоминалось его имя. В доме стали появляться знаменитости – писатели, композиторы, художники, артисты, режиссеры, общественные деятели. Они трепетали перед отцом, называли его почтительно

«Лев Николаевич» и гордились знакомством с ним. Стали появляться странные люди, называвшие себя «толстовцами» и считавшиеся духовными детьми Толстого. Наконец внешне отец всё больше становился седобородым старцем с пронзительным взором из-под густых бровей, от которого невозможно было спрятаться. Все отмечали, что Толстой своим стальным взглядом выворачивал в людях душу наизнанку. А мать, продолжая оставаться для детей просто матерью, оказалась еще и женой этого великого человека, но такой, которая не разделила его взглядов, не пошла за ним, пребывала в материальных заботах, за что ее осуждали «толстовцы» и склоняли в газетах. К тому же внешне она оставалась моложавой до самого позднего возраста, да и моложе она была Толстого на четырнадцать лет.

Льва и Марию угораздило родиться в то время, когда отец стал великим писателем. Их детство прошло в доме великого писателя и зарождавшегося религиозного проповедника, а отрочество попало на тот момент, когда с их отцом окончательно случился его духовный переворот, начались серьезные разногласия с женой, и вся жизнь семьи пошла вкривь и вкось. Отроками они оказались перед невольным выбором: кто прав? кого слушать? за кем идти? кому подражать?

«Светленькая» Маша сделала безоговорочный выбор в пользу отца и пошла за ним. И если бы не ее женская природа, она могла быть вполне счастливой как верная спутница своего отца. А вот со Львом всё получилось намного сложнее.

Сюська под соусом

Как же Софья Андреевна плакала, когда раньше времени отнимала от груди своего Лёвушку, вновь почувствовав себя беременной! На всю жизнь она запомнила эту дату – 1 июня 1870 года, когда «молилась о нем, тосковала, точно провожала его куда-то на дальнейшую жизнь, благословляла его» (книга мемуаров «Моя жизнь»).

Лев Львович стал самым любимым сыном Софьи Андреевны. За исключением, конечно, последыша Ванечки, в которого она вложила всю свою душу и материнскую любовь и от ранней утраты которого не могла оправиться очень долго.

Но Ванечка родился, когда в семье окончательно обозначился неразрешимый конфликт, приведший к финальной семейной трагедии. А Лёвушка с молоком матери словно впитал в себя не только жизненные соки, но и безграничную любовь совсем молодой двадцатипятилетней Сонечки к мужу. Когда в сентябре 1869 года он находился в Пензенской губернии с целью покупки нового имения, она писала ему: «Когда кормлю Лёвушку всегда философствую, мечтаю, думаю о тебе, и потому это мои любимые минуты».

Лёля родился на вершине семейного счастья и перед началом его заката. Это был самый красивый ребенок, с каштановыми золотистыми кудрями, большими черными глазами, веселый, здоровый, подвижный, всегда прыгавший на руках у матери и своей тетушки Татьяны Андреевны Кузминской, младшей сестры Софьи Андреевны, знаменитой как прототип юной Наташи Ростовой в «Войне и мире». В октябре того же года, когда родился Лёля, Татьяна Кузминская родила дочь Машу. Сестры иногда менялись младенцами: Соня кормила грудью Машу, Татьяна – Лёву. Можно сказать, что его выкормили сразу две Наташи Ростовых. Ведь известно, что в этом образе Толстой объединил обеих сестер.

Его крестными были тетушка Толстого по отцовской линии Пелагея Ильинична Юшкова и князь Сергей Семенович Урусов – удивительный человек, генерал-майор, историк, математик, богослов, лучший в то время русский шахматист.

Маленького Лёлю любила не только мать. Его выделяли и баловали все взрослые. Больше всех сыновей Толстого его любил гувернер Федор Федорович Кауфман. Всё это не могло не вызывать ревность у старших братьев, Сергея и Ильи. Они не пускали Лёлю в свои игры, называя его с Машей «little ones» («маленькие»), в то время, как они считались «big ones»

(«большие»). Они дразнили его «Сюськой под соусом», потому что он сюсюкал и как-то облил себя соусом. Пожалуй, это было единственное, что омрачало радость его детства, если не считать смертей двух тетушек отца, живших в их доме, Пелагеи Ильиничны и Татьяны Александровны, а также ранних смертей братьев Петра и Николеньки и сестры Вареньки.

Его любили, им любовались!

«Лёвушка делается очень мил, – пишет Софья Андреевна, когда муж лечится кумысом в Самарской губернии. – Я его спрашиваю, указывая на мама́ (теща Толстого Любовь Александровна Берс – *П. Б.*) кто это? Он говорит: бабика. Потом посмотрел на Пелагею Ильиничну, засмеялся и говорит: «много бабики». Так это было смешно. Теперь у него привычка всем говорить «милая»…»

Он часто вызывал во взрослых это чувство: *умиление*. Не ребенок, а херувимчик! Летом 1871 года его причащали в храме Николая Чудотворца в селе Кочаки. «Лёвушка, как и везде, и тут особенно отличился, – пишет мужу Софья Андреевна. – Других причащали и дали пить теплое и есть просвиру, а он поднял головку и кричит: «И Лёли, полалуста»…» Получив свою порцию, ребенок сказал по-английски: «Please, some more for Leila»[4]. «Все даже засмеялись», – пишет Софья Андреевна.

И Толстой запомнил этот эпизод из письма жены. Он затем появится в восьмой главе третьей части «Анны Карениной», где Долли Облонская причащает своих детей в деревенской церкви. Слова «please, some more» произносит меньшая дочь Лили, которая «прелестна своим наивным удивлением пред всем».

В дамском обществе

Сознательно или нет Толстой в романе поменял пол своего сына, при этом лишь слегка изменив его детское имя: Лёля на Лили? Это не праздный вопрос. Мы хорошо знаем, как относилась к Лёле его мать, братья и даже гувернер. Но мы почти ничего не знаем о том, как воспринимал его отец. Нет ни одного упоминания о Лёле в дневниках Толстого вплоть до марта 1884 года, когда мальчик приближался к пятнадцатилетию: «Вечер хорошо работал сапоги. Пришли Илья и Лёля и очень весело работали». То есть сын удостоился внимания отца тогда, когда начал шить сапоги. Так вышло, конечно, случайно. Но это символично. Лёля в глазах отца обретает пол и характер не когда сюсюкает по-английски в церкви, а когда берет в руки кожу, шило, дратву, гвозди.

Вторым тонким, но важным обстоятельством раннего детства Лёли было то, что как родился он «в дамском обществе», так и воспитывался в нем поначалу.

Илья и Сергей, не сильно отличаясь по возрасту, играли и проводили время вместе. С ними была и старшая дочь Татьяна. Подругами же Лёлиного детства стали две сестры Маши, родная и двоюродная, Толстая и Кузминская.

В 1898 году в журнале для детского чтения «Родник» вышла повесть Льва Львовича «Яша Полянов» – пожалуй, лучшее из всего, что он написал. По сути, это воспоминания о раннем яснополянском детстве – отсюда и имя главного героя. Повесть эта многое дает нам для понимания атмосферы, в которой воспитывалась душа этого ребенка.

Это женский мир!

Сначала, кроме матери, им занималась простая русская няня Марья Афанасьевна Арбузова, которая вынянчила всех пятерых старший детей Толстых, «…типичная нянюшка, – пишет о ней Илья Львович Толстой. – Маленькая, кругловатая, с черным чепчиком на голове, добрая, бесцветная, иногда ворчливая».

С нее и начинается «Яша Полянов». «Мы долго ходили с няней по лесам и посадкам нашего Михайловского, находя кое-где последние рябые застарелые грибы, и, наконец, усталые, незадолго до обеда вернулись домой».

И раз уж название Ясная Поляна автор незатейливо изменил на пушкинское Михайловское, то и литературное имя няни стало не Марья Афанасьевна, как на самом деле, но Арина Васильевна – почти Арина Родионовна…

Но больше ничего, кроме имен и названий, в повести не

является вымыслом… Однажды няню сменила английская гувернантка miss Emilie Tabor[5], настоящее имя которой Лев Львович в своей повести даже не стал менять. Толстой-отец писал о ней: «Эмили мне очень нравится – полнокровная, степенная, смешливая, добрая, твердая, но грубоватая, не в смысле натуры, но в смысле воспитания и манер». А Софья Андреевна вспоминала, что miss Emilie была особенно хороша с младшими из старших детей, «очень скоро привязала к себе хилую, слабенькую, двухлетнюю Машу, и Лёва тоже ее полюбил». Маша же настолько привязалась к англичанке, что вскоре у девочки появились языковые проблемы: в раннем детстве она хуже говорила по-русски, чем по-английски.

Самым первым воспоминанием детства Яши Полянова было то, как мать кормила его молоком. «Когда я пишу эти воспоминания, мне всё кажется, что я помню не только, как Петю и других моих братьев купали в ванной, присыпали желтым порошком, пеленали, кормили, но и меня самого. Мне всё кажется теперь, что это я сам лежал на коленях матери и сосал ее теплое, сладковатое молоко, она с любовью наклоняется надо мной и внимательно меня разглядывает. А я так занят моим делом, так старательно втягиваю в себя вкусное молоко, что не хочу отрываться и все-таки приятно сознаю, что мать занимается мной и с любовью меня изучает…»

Вторым воспоминанием – как его передавали от няни к гувернантке, поселив с ней в одной комнате. Няня плакала. Мальчик был безутешен.

«Я догнал ее, подбежал к ней совсем близко и, схватив ее за указательный палец левой руки, крепко сжал его. Этот палец у няни был с отрубленным ногтем и поэтому всегда красный и лоснящийся на кончике. Когда она еще прежде, до моего рождения, жила одно время у нас в доме не нянею, а экономкой, то нечаянно отрубила себе палец, когда колола сахар. Не знаю уже почему, но в минуты какого-нибудь душевного волнения, хотя я страстно любил этот нянин уродливый палец, как любил ее всю, он раздражал меня, и я сильнее замечал его, в то же время не желая на него смотреть…

– Прощай, миленький мой, – проговорила няня, – видно, отжили мы с тобой наше время.

– Прощай, нянюшка милая, – горячо выговорил я, и опять слезы брызнули у меня из глаз».

Первое сочувствие к гувернантке тоже связано со слезами. Однажды ночью мальчик видит, как девушка из чужой страны достает из сундучка фотографию, ставит перед собой на столе и долго и пристально смотрит на нее. «В это время две крупные

слезы одна за другой выкатились из глаз miss Emilie и повисли на ее ресницах. Она тихо заплакала. «О чем это она, о ком? – подумал я с беспокойством. – Бедная, бедная miss Emilie: приехала далеко в чужую страну одна, без родных, без семьи и сидит здесь со мной и плачет. Господи, как же помочь ей теперь?»

С этой минуты я почувствовал, что полюбил ее…»

А первым по-настоящему серьезным потрясением в жизни, с которым автор «Яши Полянова», собственно, и связывает конец детства, была передача его в комнату мальчиков под руководство гувернера-немца. Об этом событии, перевернувшим душу ребенка, много рассказывается в повести. Ему придается такое же важное значение, какое Толстой-отец в своем «Детстве» придает смерти матери главного героя, вместе с которой кончается уже его детство.

Мать Яши вступает в конфликт с отцом, уговаривая его не отрывать мальчика от женского общества. «…это безбожно, это ужасно, – говорит она рыдая, – Разве ты не видишь, что он еще мал, что ему лучше бы побыть еще с нами, что это *не такой ребенок*».

«Да что такое? Какой ребенок? Чего он боится?» – не понимает отец. А Яша думает: «Он всё равно не поймет, он не поймет, как мне грустно и одиноко, как я жалею miss Emilie и Катю, как мне страшно здесь. Он не знает, как я жил там хорошо с няней и miss Emilie, Катей и Верочкой, как они любили и ласкали меня, как я любил их и был счастлив там. Он не поймет этого».

«Яша Полянов» заканчивается страстным гимном женщинам. «Всё то время, что я был внизу с мальчиками… мне недоставало той любви и ласки, того нежного, чуткого ухода и руководства, какие можно иметь только от матери или от хорошей няни, только от любящей женской души. И я часто думал и думаю до сих пор, что чем дольше оставляют нас детьми в том обществе, в какое мы попали с ранних наших лет, – обществе матерей или нянь, тем лучше. Чем неотлучней и внимательней следит за нами зоркий глаз их и чем это бывает продолжительней, тем свежее и чище вырастаем мы и тем позднее начинаем видеть грязь и зло людское. И пусть балуют нас старые няни и слабые матери. Пусть балуют сколько хотят. Баловство их не опасно, как часто себе воображают это отцы».

Лев и львята

Между тем, Лёля обожал отца! Как, впрочем, и все дети. *Обожал* в буквальном смысле – боготворил, видел в нем какое-то особенное существо. В отличие от матери, которая была теплой, близкой, но понятной…

«Главный человек в доме – мама», – пишет в воспоминаниях сын Толстого Илья Львович. «Отцовское влияние в доме было сильнее материнского», – замечает дочь Татьяна Львовна.

В этом не было противоречия. Софья Андреевна была заботливой матерью и хозяйкой, а Лев Николаевич – непререкаемым отцовским авторитетом. Поэтому мать любили, а отца обожали.

«Она – наша… Она должна всё для нас делать, – вспоминает Илья Львович. – Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки… Что бы ни случилось: «Я пойду к мама». «Мама́, меня Таня дразнит»… «Где мама?» На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие частые шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает всё сделать и обо всех позаботиться… Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мама́ могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мама́ что-нибудь захотела для себя. Мама живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лёли, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть».

Отец – совсем другое. «Мы обожали его и боялись, когда он был «не в духе», – пишет Лев Львович. – «Папа́ не в духе, не в духе», – повторяли все, и тогда надо было ждать, чтобы настроение его улучшилось…»

«В раннем детстве я обожал отца, – дальше признается он, – любил запах его бороды, любил его руки и голос…»

Об особом запахе бороды отца, пахнувшей Жуковским[6] табаком, вспоминали и другие дети, тоже обожавшие отца, но именно поэтому державшиеся от него на значительном удалении. Это не значило, что отец был недоступен для детей. Как раз с ним были связаны самые азартные моменты жизни. Отец носил сыновей на плечах, позволял дочерям забираться к нему на колени и щекотать его до тех пор, пока он не молил о пощаде, бегал с ними на перегонки и катался на коньках, привозил из Москвы диковинное развлечение – «гигантские шаги», охотился вместе с детьми, ловил рыбу и читал вслух Жюля Верна. Он давал смешные клички – «Чурка» (Таня), «Сергулевич» (Сергей).

Однако была непреодолимая стена не только между отцом и

детьми, но и между отцом и всеми домашними. «Папа́ днем уходил в свой кабинет и «занимался», и тогда мы не должны были шуметь и никто не смел к нему входить. Чем он там «занимался», мы, конечно, не знали, но с самого раннего детства мы привыкли его уважать и бояться», – вспоминает Илья Львович. «Если он *“хорошо занимался”,* хорошо и много писал, от него шли бесконечно яркие лучи света, веселья, доброты и счастия, – добавляет Лев Львович. – Если творчество не удавалось ему, он был скучен и мрачен, как ночь…»

«Папа́ не в духе, не в духе…»

Он не наказывал детей, тем более не бил их, что все-таки иногда могла позволить себе Софья Андреевна. Он почти никогда не повышал на них голоса. Но… «За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал, – пишет Илья Львович. – Бывало, в детстве ушибешься – не плачь, ноги озябли – слезай, беги за экипажем, живот болит – вот тебе квасу с солью – пройдет, – никогда не пожалеет, не приласкает. Если нужно сочувствие, нужно «пореветь» – бежишь к мама. Она и компрессии положит, и приласкает, и утешит».

А Лев Львович на всю жизнь запомнил, как отец в качестве особого к нему расположения и в виде исключения взял его как-то с собой морозной ночью прогуляться на деревню.

«Великолепная, тихая и звездная ночь постепенно обнимает нас своими чарами. Твердый снег скрипит под ногами, вся окрестность блестит мириадами бриллиантов под серебряными лучами полной луны. Леса в белых ризах густого инея, яблочный сад изрезан причудливыми тенями от стволов и ветвей деревьев. Мы спускаемся к Кислому Колодцу и поднимаемся к задворкам деревни. Около рощи отец останавливается и кричит звонким сильным голосом:

– Осип! Осип! Ты здесь?

– Здеся я, здеся, ваше сиятельство, – отвечает из ближнего сарая старческий мужицкий голос, и дед Осип, седой, как снег, выползает к нам из ворот навстречу. В руке у него старая одностволка, белая шапка низко опущена на волосатую голову.

– Ну что, зайцы есть? – спрашивает папа́.

– Есть, есть. Много! Вчерась одного сшиб. Погода хорошая. Дай немного попозднее, наверняка еще убью…»

«В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д.», – вспоминает старший сын Сергей Львович.

И в то же время дети боялись его, даже старшие,

обращавшиеся к нему на «ты». «Для нас его суждения были беспрекословны, его советы – обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает, – пишет Сергей Львович. – Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, – а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, – я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось».

«Отец очень редко наказывал нас, – продолжает он, – не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было – немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве и даже позднее в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцеву него не было».

В чем отличие любви от обожания? Любовь ищет взаимности и понимания. Обожание довольствуется милостью. А если милости нет, то предмет обожания может быть страшен.

«Иногда с ним бывает очень весело… Он лучше всех ездит верхом, бегает скорее всех, и сильнее его никого нет. Он почти никогда нас не наказывает, а когда он смотрит в глаза, то он знает всё, что я думаю, и мне делается страшно», – пишет Илья Львович.

«Я тоже, как Илья, не сомневаюсь в том, что папа́ самый умный, справедливый и добрый человек на свете, и что ошибиться он никогда не может», – вторит ему Татьяна Львовна.

И вспоминает о том, как однажды она, еще маленькой девочкой, чуть было не усомнилась в непогрешимости отца, «но я тотчас же ответила себе, что у него должны быть какие-нибудь неизвестные мне причины, чтобы поступать именно так, как он поступил…»

Таня стремглав бежала к нему, когда он возвращался с охоты из Чепыжа. «На нем были высокие болотные сапоги, ружье через одно плечо и ягдташ через другое. Я бегу к нему навстречу, хватаю его своей маленькой рукой за указательный палец и подпрыгиваю возле него. Но он озабочен и выпрастывает свой палец от моей руки…

– Погоди, Чурка, погоди, – говорит он и останавливается. Я слежу за тем, что он хочет делать, и вижу, что он вынимает из ягдташа подстреленного и не совсем еще убитого вальдшнепа. Вальдшнеп трепещет у него в руке. Папа выдергивает из него перо и втыкает ему где-то около головы это перо. Вальдшнеп перестает

шевелиться».

Но почему Толстой проделал это на глазах малолетней дочери? Потому что поступал правильно! Поступал честно! Он сокращал мучения подстреленной птицы. В этом жесте весь Толстой!

«Я могу солгать перед мама, а перед папа́ не могу, потому что он всё равно сразу узнает… – пишет Илья Львович Толстой. – И все наши секреты он тоже знает. Когда мы играли в домике под кустами сирени, у нас было три больших секрета, и никто, кроме Сережи, Тани и меня, этих секретов не знал. Вдруг папа́ пришел и сказал, что он знает все три наших секрета и что все они начинаются на букву “б”, и это была правда. Первый секрет был, что у мама́ скоро будет “бебичка”, второй, что Сережа влюблен в “баронессу”, а третий – я не помню».

«Любили ли мы его? – задается вопросом Сергей Львович. – Разумеется, любили. Мы не только любили его: он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, тогда у меня и моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу».

…В сентябре 1881 года большая семья Толстых переезжает из Ясной Поляны в Москву. Старшему Сергею нужно поступать в университет. Татьяна проявляет художественные способности и мечтает поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Да и в свет ее пора вывозить – невеста уже! Илью и Льва нужно определять в гимназию. Заканчивается первый яснополянский период жизни Толстых. Вместе с ним заканчивается детство Лёвы.

Глава вторая
Тонкий мальчик

Теперь пишет топкий мальчик.

Из письма Лёли Толстого

Потерял шапку

Отрочество и юность Лёли Толстого были счастливыми, как и детство. За исключением мелких неприятностей, они не отмечены никакими страданиями, которые могли бы в корне изменить натуру этого красивого, грациозного и рассудительного мальчика. И никому в голову не могло прийти, что через десять лет после переезда в Москву из этого мальчика получится несчастный неврастеник, больной какой-то неизвестной разрушительной болезнью.

В жизни Толстого-отца были вроде бы незначительные, но глубоко символические события, настоящий смысл которых понимаешь только в свете всей его судьбы. Например, когда он бежал из дома в конце октября 1910 года, он, как это следует из его дневника, потерял шапку ночью в своем саду и вынужден был вернуться, чтобы взять другую. Потерять шапку – потерять голову, считали в народе. Но это случилось с Толстым в конце жизни. А вот его сын Лёва потерял шапку в самом начале сознательной жизни.

Летом 1878 года отец взял Лёлю и Илью с французским гувернером мсье Ньефом в увлекательное путешествие. В марте того же года Толстой купил у барона Бистрома четыре тысячи десятин самарских степей по выгодной цене десять рублей пятьдесят копеек за десятину в расчете на то, что в будущем цена на эти жирные, нетронутые, плодородные земли сильно вырастет (так и случилось), а также намереваясь разводить в степи лошадей, скрещивая башкирскую и английскую породы.

Можно представить, с каким чувством девятилетний Лёля отправлялся с отцом в дальний путь ради такого серьезного мужского дела – осмотра приобретенного имения. Он как будто предчувствовал, что через четырнадцать лет, после раздела отцовской собственности, именно он станет хозяином этой земли.

Маршрут был такой: от Ясной Поляны до Москвы, из Москвы поездом до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом до Самары, затем поездом до станции Богатое Оренбургской железной дороги и потом на лошадях до степного хутора на реке Моче. Всего пять дней.

Первое письмо с дороги Толстой посылает жене уже из Москвы. «Доехали вполне благополучно, если не считать того, что Лёля потерял шапку… Будь здорова, весела и спокойна, душенька». Однако Софья Андреевна не могла быть спокойной. «Как это Лёля шапку потерял? – пишет она. – У него в кармане был плохой полотняный картузик, догадались ли хоть его ему

надеть?»

Незадолго до отъезда мужа с детьми Софье Андреевне приснился страшный сон: «Будто я с Лёлей и Машей подхожу в Страстную пятницу к большому собору, и вокруг собора ходит огромный позолоченный крест; когда он обошел три раза, он повернулся ко мне, остановился, и я увидела распятого Спасителя черного с ног до головы. Какой-то человек обтирал полотенцем Спасителя, и Спаситель вдруг весь побелел, открыл правый глаз, поднял, отставив от креста, правую руку и указал на небо. Потом мы будто пошли с Лёлей и Машей по шоссе и покатилось крымское яблочко по траве, и я говорю: не берите его, оно мое».

Она поняла этот сон так, что Господь посылает ей «крест – терпение», и это как-то связано с судьбой ее детей: «от меня откатится яблочко какое-нибудь…»

Она заказала в яснополянском доме молебен с водосвятием. Муж в это время был в Петербурге.

С этой поездкой было связано несколько неприятных случайностей. По дороге в Нижний Новгород, в Павловске, вернувшись в вагон, Толстой обнаружил, что у него пропал кошелек с двумястами семьюдесятью рублями – все имевшиеся деньги. То ли забыл в буфете, где ел стерлядку, то ли вытащили. И вот что значит разумная жена! За шапку выбранила, а за деньги – нисколечко! «Что это ты, милый мой, как ты смутился и точно растерялся от таких пустяков? Это на тебя, Лёвочка, не похоже». Из Нижнего Новгорода, из гостиницы, Толстой пишет, помня о своей оплошности с потерянной шапкой Лёли: «Спали все прекрасно. Лёлю прикрывал в твое воспоминание. Впрочем, он очень хорош и удобен…»

В письме, написанном на пароходе, Толстой опять вспоминает об этой злосчастной шапке: «В утешение Лёли мальчик Протопопов потерял нынче свою шляпу. Наши же держат на снурках новокупленных».

Понимая, как это непросто мужчине впервые оказаться в дальней поездке с двумя детьми, Софья Андреевна пишет супругу: «Очень рада, что Лёля так удобен в дороге; целую милых мальчиков и очень много о них думаю».

18 июня, добравшись до хутора, Толстой сообщает жене: «Ночевали все рядом, в амбаре, и Mr. Nief и Лёля страдали от блох, но Лёля во сне чесался и меня брыкал…»

Между папа́ и мама́

Несчастной особенностью Лёвы было то, что он слишком зависел от влияния одновременно и папа́, и мама.

Это был умный, энергичный, но не самостоятельный мальчик. Внешностью и характером – в мать. Но в своем духовном и умственном развитии он старался повторять отца. Как бы ни были близки между собой Лев Николаевич и Софья Андреевна, особенно в первые пятнадцать лет совместной жизни, они были разными и во многом противоположными людьми. Лёля соединял в себе особенности обоих родителей, и таким образом семейный конфликт переживался им как глубоко внутренний…

Гораздо раньше остальных детей он стал болезненно реагировать на родительские ссоры. Сергей, Илья и Татьяна до поры до времени не придавали этому особого значения. Положение мама́ и папа́ в доме было настолько понятным и очевидным, что не вызывало сомнений и раздумий, а если родители ссорились, то это же их дело! Они – взрослые, сами разберутся!

«В то время мне казалось, – пишет Сергей Львович, – что весь строй нашей жизни идет сам собой, заботы моей матери мы принимали как должное, как само собой разумеющееся. Я не замечал, что, начиная с пищи и одежды и кончая нашим учением и перепиской для отца, всем заведовала она. Отец только давал иногда, так сказать, директивы, которые моя мать иногда игнорировала. В то же время она нередко болела и постоянно или ожидала ребенка, или кормила».

Но Лёля что-то чувствовал… Его детская душа, как эолова арфа, отвечала на малейшие колебания семейной атмосферы. «Помню ярко одну ссору между отцом и матерью, – пишет он в воспоминаниях, – на площадке около лестницы перед дверью на чердак. Мать что-то доставала за дверью в чулане, а отец стоял подле нее и кричал на нее. Из-за чего произошла эта ссора? Конечно, из-за какого-нибудь пустяка. Но оба они были в отчаянии. Мать плакала и отвечала редко, он настаивал на чем-то и что-то доказывал. Я подбежал тогда к матери, обнял ее за колени и сказал отцу: “Зачем ссориться? Это ведь ни к чему!” Мне стало жаль матери. Я за нее заступился. Отец замолчал, посмотрел на меня и проговорил: “Блаженны миротворцы”. Ссора потухла».

В дневнике его сестры Татьяны тоже упоминается присутствие Лёвы во время ссоры мама́ и папа́ в августе 1882 года. «Лёля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел,

что оба плачут».

Именно Лёва оказался главным свидетелем страшного конфликта 17 июля 1884 года в Ясной Поляне, когда Толстой собрал котомку и ушел из дома, несмотря на то, что жена была на последних днях беременности и в ночь с 17-го на 18-е родила дочь Сашу…

«Я догнала его и спросила, куда он идет. “Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома…” – со злобой и почти со слезами говорил он. “Но ведь мне родить, я сейчас уже чувствую боли, – говорила я. – Опомнись, что случилось?” Но Лев Николаевич всё прибавлял шагу и вскоре скрылся. У меня начались родовые схватки. Было уже около 12-ти часов вечера. Я села на лавочку на крокет-граунд и начала горько плакать. Пришла моя акушерка Мария Ивановна и начала меня утешать, умоляя взойти в дом. Я сказала ей, что у меня начались боли, и пусть я умру, я не могу больше так жить. Помню, пришли еще мой сын Лёва и сын Madame Seuron Alcide и так добро и нежно уговаривали меня взойти в дом. Они подняли меня с лавки, взяв под руки с обеих сторон, и бережно довели меня до спальни».

Лёве тогда было пятнадцать лет… В доме находились два старших брата – Сергей и Илья. Это их заметил отец, когда ночью вернулся домой с полдороги в Тулу. «Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына», – с неприязнью пишет он в дневнике. В доме, по-видимому, находилась и вся семья, включая дочерей Татьяну и Машу, потому что, несмотря на переезд в Москву, лето Толстые проводили в Ясной Поляне.

Но утешать мама́ почему-то пришел пятнадцатилетний Лёля с сыном французской гувернантки…

Нет, он не был «маменькиным сынком». Он так же, как Илья, обожал охоту и так же, как Сергей, старался в учебе. Но было в его натуре что-то «женское», чего совсем не было в его братьях. Недаром он так переживал, что его раньше времени перевели от девочек к мальчикам.

«С раннего детства я был почти постоянно влюблен, – признается он в книге воспоминаний, – не только в жизнь и природу, но и в женщин, и временами это чувство заглушало во мне все остальные. Сначала болезненная привязанность к матери, нянькам и англичанкам, потом к различным девочкам моих лет и старше, а позднее к взрослым девушкам и женщинам».

В разные моменты жизни Лёва мог повести себя даже грубо по отношению к матери. Но каждый раз он чувствовал острую вину за это.

В декабре 1890 года Софья Андреевна записывает в дневнике:

«Лёва весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему – подпадаешь под его толчки, и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо…»

Проще всего сказать, что он пошел в мать. Не всё так просто… Как раз *в этом* Лёля был похож также и на отца. В книге «Правда о моем отце» Лев Львович подробно останавливается на родственниках Льва Толстого-старшего, и со стороны матери, и со стороны отца, и даже со стороны жены. И приходит к любопытному заключению: «…я вижу, что у отца совсем не было близкой мужской родни, кроме дяди Сережи (старшего брата – *П. Б.*), который в общем слабо и мало влиял на него. Вся родня была женская».

Как Льва Толстого-сына в раннем детстве воспитывали не отец, которому некогда было заниматься маленькими детьми, и не гувернеры-мужчины, которые больше повлияли на старших братьев Сергея и Илью, а мать, нянюшки и гувернантки, так и Львом Толстым-старшим в раннем детстве руководили не отец, у которого также не было времени на сына, а богобоязненные тетушки. Две из них, Татьяна Александровна Ёргольская и Пелагея Ильинична Юшкова, тихо доживали свой век и скончались в Ясной Поляне на глазах маленького Лёли.

Конечно, старшие братья, Николай и Сергей, по-своему повлияли на Льва Николаевича в детстве и особенно – в отрочестве и юности. Но и здесь была та же ситуация, что с Лёлей – для них он был слишком маленьким, «little one». Поэтому наперсницей в его детских играх оказалась Маша, младшая сестра, которую он и потом особенно любил.

На посторонних людей Толстой производил впечатление сильного и волевого мужчины. И только самые близкие знали о слабых сторонах его характера. О том, что он не выносит чужих слез и в каждой ссоре готов скорее уступить, чем настоять на своем. Наиболее ярко это проявлялось в нем в поздние годы.

«Ромен Роллан говорит, что в романах Толстого женские типы гораздо ярче и правдивее мужских, – пишет Лев Львович. – Не объясняется ли это только указанным семейным условием? Но не объясняется ли еще и самый характер мысли отца, даже его крайности, всё его миросозерцание, отчасти тем, что он был, как мужской ум, одинок и совершенно свободен от того строгого, неумолимого судьи, каким всегда бывает искренний ум близкого старшего родственника или хотя бы такого же сверстника?»

В Москву! В Москву!

«Перед тем, как наша семья переехала в 1881 году из Ясной Поляны в Москву, в доме царила нездоровая, нервная атмосфера. Мать уже не справлялась одна со всеми семейными заботами; отец, хотя и видел, что для воспитания выросших детей деревня не давала нужных условий, в то время переживал свой так называемый “религиозный кризис” и думал о переезде в город с большим неудовольствием», – пишет Лев Львович в «Опыте моей жизни».

Трудно сказать, насколько переезд в Москву был оправдан. Да, Сергею нужно было поступать в университет, Татьяне – выезжать в свет, чтобы выйти замуж, а Илье и Льву – учиться в гимназии. Но выезды Татьяны в свет не принесли ей семейного счастья. Университет закончил только Сергей Львович, но как раз он не учился в гимназии, а получил домашнее образование в Ясной Поляне. Илья учился в гимназии с грехом пополам. В то же время переезд в Москву совпал с началом семейного кризиса.

Одним из доказательств нездоровой семейной атмосферы было то, что искать пристанище в Москву поехала одна Софья Андреевна, находясь на шестом месяце беременности. Муж от участия в поисках жилья поначалу устранился. Летом 1881 года со слугой Сергеем Арбузовым он пешком ходил в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием, затем поехал в самарское имение с сыном Сережей, а вернувшись в Ясную Поляну, видимо, отказался помогать Софье Андреевне, хотя в письме из Самарской губернии обещал: «Даст Бог приеду, я тебе буду служить по московским делам усердно, только приказывай…»

В этих поисках нового жилья мама́ сопровождал сын Лёля, которого она взяла в Москву лечить зубы. Именно он наблюдал за тем, как неопытная в таких делах беременная женщина сначала пыталась купить дом, а затем решила снять квартиру в Денежном переулке, но она оказалась неудачной…

«Все меня смущали, – вспоминала Софья Андреевна, – всякий говорил свое мнение, и всякий находил что-нибудь неудобным в домах, которые я смотрела. Наконец, я остановилась на том, что дом я, во всяком случае, купить не решусь, а взяла довольно дешевую квартиру в Денежном переулке в доме (особняке) князя Волхонского. Мне понравился большой кабинет, выходивший на двор окнами и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен…»

В выборе квартиры она руководствовалась мыслями о муже, а ради детей пошла почти на подвиг. «Жара была невыносимая, пыль, треск пролеток, одиночество – всё это было ужасно тяжело. Целыми днями я тряслась в извозчичьих пролетках, влезая и вылезая из них, чтобы осматривать квартиры и дома. Удивительно, что я не родила преждевременно от всего этого». А в результате? «Приехали в Денежный переулок, в дом Волхонского. Встретили нас там брат Петя с женой Ольгой. Всё было приготовлено: и чай, и холодный ростбиф, и постели всем; всё было освещено, всё обдуманно. Дом похвалили, но, несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние; и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе».

«Дом на самом деле оказался вроде карточного, – вспоминал Сергей Львович. – Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу».

Толстой с его новыми настроениями был возмущен видом огромного кабинета, обставленного роскошной мебелью, которую с любовью подбирала жена. Софья Андреевна в отчаянии пишет сестре Т. А. Кузминской: «Лёвочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д.».

В первые месяцы в Москве Софья Андреевна и Лев Николаевич постоянно плачут. «Вонь, роскошь, нищета, разврат, – пишет Толстой в дневнике о Москве. – Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». И собственная семейная жизнь ему видится в том же освещении. «Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные!»

«Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время давал мне чувствовать, что я его мучаю, что жизнь его отравлена мной; и я не переставая плакала». «Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. – жалуется она своей сестре. – Он не спал и не ел, сам à la lettre[7] плакал иногда, и я думала, что я с ума сойду».

Отпадение Толстого

В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». И насколько же легко приняли этот слух братья-писатели, если на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».

В феврале 1881 года Достоевский скончался. Возможность знакомства великих писателей была навсегда потеряна.

Слухи о «сумасшествии» Толстого ходили не только среди писателей. В феврале 1881 года в Ясную Поляну приезжает родной брат Софьи Андреевны, Александр Берс. После его отъезда Софья Андреевна пишет сестре Татьяне Кузминской: «Меня Саша напугал, что находит в Лёвочке нравственную перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. Ты знаешь, что когда Лёвочка чем-нибудь занят, то он весь отдается своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское настроение всегда самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнел, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова меньше стала болеть…»

В Туле тоже ходили разговоры о «помешательстве» Толстого. Сын Сергей считал, что этот слух пустил председатель земской управы Кислинский.

Но тот же Сергей Львович вспоминал: «В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии… В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей».

«Несмотря на перемену во взглядах, – пишет он дальше, – образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охотиться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех

частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) “Критики догматического богословия”, 3) “Исследования Евангелия” и 4) “Изложения веры”, первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей».

Единственное, в чем он нуждается в это время, – это уединение и меньшая зависимость от хозяйственных забот. Он это вполне заслужил, ибо финансовые дела семьи идут успешно. Жена и дети сыты, одеты, обуты. Однако…

Кто страдает в Ясной Поляне?! Кто рвется в Москву, кроме Сергея и Татьяны, которые молоды и которым страстно хочется убежать из деревенской глуши? Он мечтает о студенческой жизни с ее свободой и независимостью. Она – о балах, нарядах, поклонниках! Но кому еще плохо в деревне?!

«…хочется много читать, образовываться, умствовать… хочется быть красивой», – пишет в дневнике 1878 года Софья Андреевна. «В это время был полный расцвет моего физического и умственного развития, – вспоминает она в “Моей жизни”. – Мне было 34 года, и, по словам всех без исключения, меня находили и тогда, и долго, долго после очень моложавой».

А что в Ясной Поляне?

«Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лёлю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих».

«Дети, то есть Илюша и Таня, всё в неудержимом духе: таскают мороженую клюкву у няни, бегают в кухню за редькой… Всё это меня суетит, и я чувствую себя несчастной и беспомощной».

«Была страшная ссора с Лёвочкой. Чувствую себя несчастной, но еще не чувствую себя виноватой. Как я всё ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое *счастье».*

«Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска… а всё шью, шью. Хочется иногда стены растолкать и вырваться на волю…»

«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете…»

В 1879 году впервые через семнадцать лет после свадьбы и переезда в Ясную Поляну Софья Андреевна с Сергеем и Татьяной выезжает в Москву, чтобы отдохнуть и развлечься. Она оправдывается мыслью, что дети «дики и наивны», их надо «развивать». «В Москве мы пробыли недолго и побывали, где возможно. Всё для детей было ново и ужасно интересно. Дикие и всякие звери в Зоологическом саду, особенно слон; Румянцевский музей с картинами, статуями и восковыми фигурами… Потом мы обошли Кремль, дворец, соборы; ходили по магазинам делать

покупки. А два вечера провели в опере. Давали “Бал-маскарад” Верди и “Линда ди Шамуни”… Побывали в Малом театре, где давали “В золоченой клетке”. Впечатлений дети мои набрались много. Я пишу сестре: “То-то мои дикари на всё удивлялись”».

Впоследствии Сергей Львович писал, что мать «страстно стремилась переехать» в Москву и что в этом ее поддерживали только он и сестра Татьяна, «…моя мать, сестра Таня и я, как чеховские три сестры, жили этой надеждой: «В Москву, в Москву!»

«Наоборот, Илья боялся гимназии, и ему жаль было лишиться в осеннее время охоты, к которой он пристрастился. Остальные – Лёва, Маша, Андрей и Миша – были слишком юны, чтобы определенно чего-то желать».

А отец?

Толстой смирился. Настолько, что, несмотря на свои новые взгляды и ненависть к городской жизни, настоящим обустройством в Москве занялся именно он, а не Софья Андреевна… После годового мучения в «карточной» квартире в Денежном переулке он оставляет семью на лето в Ясной Поляне и покупает дом купца Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке. Сын Сергей присутствует при переговорах. «К нам вышел пожилой и некрасивый хозяин дома Арнаутов. Меня поразил его большой, узкий, красный и прыщеватый нос, повернутый на сторону. Он производил впечатление алкоголика».

Главным достоинством дома было уединенное расположение и сад размером почти в десятину (больше гектара). Но сам дом был недостаточен для большой семьи. Толстой приглашает архитектора и над первым этажом надстраивает три комнаты с паркетными полами, большой зал, гостиную и диванную. Для кабинета он выбирает одну из комнат с низким потолком и окнами в сад. Толстой сам подбирает обои и следит за перекладкой печей и покупает в дом мебель.

К началу октября 1882 года новый дом готов без непосредственного участия Софьи Андреевны, которая в письмах из Ясной Поляны как раз давала «директивные» указания мужу. Лёля одним из первых увидел этот дом и с восторгом описал его в письме к матери: «Дом принял форму очень хорошенькую, он цветом кремовый с зелеными ставнями, паркет с черными жилками, дядя Костя говорит, что всё это самый шик…»

В восторге была и Татьяна… «Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад – восхищение!»

Всё было сделано с любовью! Неудивительно, что и момент поселения в дом – 8 октября 1882 года – запомнился как светлое событие. «Мы приехали в Арнаутовку вечером, – пишет Татьяна. –

Подъезд был освещен, зал тоже. Обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе. Вообще первое впечатление было самое великолепное: везде светло, просторно и во всем видно, что папá всё обдумал и старался устроить как можно лучше, чего он вполне достиг… Я была очень тронута его заботами о нас; и это тем более мило, что это на него не похоже».

Но почему не похоже?!

Кто устраивал сыновей в престижную гимназию Поливанова, где учились отпрыски или богатых дворянских, купеческих или профессорских семей? Кто повез старшую дочь на первый московский бал? У кого было прочное положение в светских кругах, которое позволяло *графине* Софье Андреевне с дочерью бывать на вечерах в аристократических московских семьях? И наконец, кто притягивал магнитом в гостеприимный хамовнический дом цвет научного, писательского, артистического мира?

И совсем уж простой вопрос: на чьи деньги существовала семья? Кто позволял, как с девичьей наивностью пишет в дневнике Танечка, покупать «стульчики и кареты»? «По дороге заезжали к Родольфи мерить платья, которые мне привезли из Парижа». «Я разочла, что на одни туалеты я истратила около полутора тысяч за один сезон».

«На мне было белое тюлевое платье с белым атласом, а на мамá – черное бархатное с множеством alençon[8]. Я танцевала нулевую кадриль с Борей Соловым, первую – с Мишей Сухотиным, вторую – с Обуховым-гусаром, третью – с Глебовым, четвертую – с Куколь-Яснопольским, мазурку с Кислинским, а котильон с дирижером – графом Ностицем… Ужин был великолепный, от Оливье, и оркестр Рябова, весь спрятанный в зелени. Мы приехали домой в половине седьмого».

Впрочем, Татьяна (девушка все-таки умная!) не без иронии описывает в дневнике светские разговоры:

«– Как вы похудели, графиня.

– Как вы похудели, князь.

– Как мы давно не видались, графиня.

– Как мы давно не видались, князь».

Вот рождественский вечер, на котором присутствовал фаворит Тани из московской золотой молодежи князь Иван Мещерский: «За обедом было очень весело: Манко притворялся, будто за мной ухаживает, Ваня тоже; потом побранили своих ближних, потом Ваня рассказывал, как он за мной ухаживал в прошлом году… После обеда мужчины все ушли курить и ликеры пить, а дамы пошли в гостиную пить кофе…»

А вот что происходит на вечере в доме Толстых: «Я велела

ему (Ивану Мещерскому – *П. Б.*) петь, а он нарочно набил рот икрой и стал такие гримасы делать, просто ужас».

И весь этот «ужас» обеспечивается отцом с его связями, титулом, литературным именем и, наконец, гонорарами. А ему, с его новыми воззрениями, больно смотреть на всё это.

«…смысл человеческой жизни есть учение Христа, радость жизни есть стремление к исполнению учения и потому всё, что согласно с учением, мне любезно и радостно, всё, что противно, мне гадко и больно», – пишет он в «Записках христианина», представляющих его дневник 1881–1887 годов.

У Толстого широко открылись глаза. Он увидел море человеческого горя, которого раньше не видел или просто не обращал на него внимания.

«В нынешнем году осенью пришла Тита Борискина (наш мужик) баба. Старушка старого завета, тихая, кроткая, ласковая, иссохшая в щепку, всё желтое лицо в морщинках, морщинах и буграх между морщинами.

– Что скажешь?

– Да об своей горькой вдове – Ларивоновой. Дочь она мне, за Ларивоном была, кучером жил у вас.

Я вспомнил с трудом Ларивона.

– Умер он.

– Давно ли? Отчего помер?

– Бог его знает, сказывали, чахотка со скуки напала.

– Какая же скука, отчего?

– Как же, 2-й год в замке (в тюрьме – *П. Б.*).

– За что? Ведь он, кажется, хороший был малый.

– Малый такой, что на редкость, одно – выпивал, – оно, вино, и сгубило. А теперь дочь осталась, а ее деверь гонит, дочь мою. А куда она сама пята пойдет? Самой 2-их еще прокормить, а пятерых где ж прокормить. А наше дело тоже бедное…

…Я был в этом остроге и знаю его. Знаю запах этого острога, знаю пухлые, бледные лица, вшивые оборванные рубахи, параши в палатах, знаю, что такое для рабочих людей праздность взаперти день, два, три, каждый день с 24 часами, четыре, 5 – сотни дней, которые просиживают там несчастные, только думая о том и слушая о том, как отомстить тем, которые им отомстили. Туда попал Ларивон и снял поддевку, красную рубаху, надел вшивую рубаху и халат и попал в рабство к смотрителю. Зная тщеславие, самолюбие Ларивона, я могу догадаться, что с ним сделалось».

В это время его родная дочь Татьяна в Москве терзается вопросом: как незаметно обменяться на лицейском балу фотографическими карточками с Ваней Мещерским.

«В 10 часов меня одели в бледно-зеленое тюлевое платье с темно-зеленым бархатным corselet[9] и множеством крошечных птиц на платье и одной на голове. Как всегда, меня одевало пропасть народа: miss Lake, две горничные, Маша и даже дядя Костя и Лёля принимали участие…

В Лицее нас встретили Катков и Соловой (распорядитель бала) и свели в залу. Всё было очень красиво и богато, и я чувствовала себя такой счастливой и веселой».

«Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни, вот уже 3 года, – пишет Толстой в дневнике. – Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни – я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство – я ворчливый старик, как все старики».

И он, конечно, испытывает обиду на семью!

«За что и почему у меня такое страшное недоразумение с семьей? Дома Сережа – сердитый. Они меня с Соней называли сумасшедшим». «Решительно нельзя говорить с моими. Не слушают. Им неинтересно. Они всё знают…»

Толстой по-новому присматривается к жене. Он замечает в ней новые черты. «Бедная, как она ненавидит меня. – Господи, помоги мне. Крест бы так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души – ужасно не только тяжело, больно, трудно. Помоги же мне!» «Дома праздность, обжорство и злость…»

И делает вывод, который не предвещает ничего хорошего… «Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».

В 1881 году начинается отдаление Толстого от семьи… Он переходит во флигель хамовнического дома, где заканчивает рассказ «Чем люди живы» с проповедью всеобщей любви. Бог сокрушил на землю ангела, чтобы он понял, «чем люди живы», и возвестил об этом людям. И ангел понял, что «живы они одною любовью. Кто в любви, тот в Боге и Бог в нем, потому что Бог есть любовь».

Однако мысль о том, что «Бог есть любовь», приходит к нему в то время, когда любовные отношения в его семье как раз испытывают серьезный кризис. И ему всё больше и больше приходится *убеждать себя*, что он любит своих близких…

Война за детей

К пятому году жизни в Москве атмосфера в семье Толстых становится критической. В неотправленном письме к Черткову Толстой признается:

«С женой и старшим сыном начнешь говорить – является злоба, просто злоба, против которой я слаб и которая заражает меня. – Что же лучше делать? Терпеть и лгать, как я лгу теперь всей своей жизнью – сидя за столом, лежа в постели, допуская продажу сочинений, подписывая бумаги о праве на выборы, допуская взыскания с крестьян и преследования за покражу моей собственности, по моей доверенности? Или разорвать всё – отдаться раздраженью. Разорвать же всё, освободить себя от лжи без раздражения не умею, не могу еще. Молю Бога – т. е. ищу у Бога пути разрешения и не могу».

Трудность его положения заключалась еще и в том, что, не находя в семье религиозного утешения, он не мог обрести его и в церкви, как это затем произойдет с его младшей сестрой Марией Николаевной. В первом законченном, но неозаглавленном и до сих пор неопубликованном религиозно-философском сочинении, из которого выросли последующие работы: «Исповедь», «В чем моя вера», «Критика догматического богословия», – он пишет о православной церкви:

«Я теперь с этим словом не могу уже соединить никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей, очень самоуверенных, заблудших и малообразованных, в шелку и бархате, с панагиями бриллиантовыми, называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать народ. Как же я могу верить этой церкви и верить ей тогда, когда на глубочайшие вопросы человека о своей душе она отвечает жалкими обманами и нелепостями и еще утверждает, что иначе отвечать на эти вопросы никто не должен сметь, что во всем том, что составляет самое драгоценное в моей жизни, я не должен сметь руководиться ничем иным, как только ее указаниями. Цвет панталон я могу выбрать, жену могу выбрать по моему вкусу, но остальное, то самое, в чем я чувствую себя человеком, во всем этом я должен спроситься у них – у этих праздных, обманывающих и невежественных людей».

Спорить с Толстым бесполезно. Это позиция, которая исключает спор. Гораздо важнее обратить внимание на то, что, отойдя от церкви, Толстой поставит в один ряд выбор жены и…

цвета панталон. Если это оговорка, то характерная. В это время между супругами уже не только нет согласия, но, кажется, и вовсе нет ничего общего. Кроме детей. И если от хозяйственных дел Толстому удалось отказаться, написав на жену соответствующую доверенность, то выписать доверенность на воспитание детей невозможно. Дети остаются единственной сферой общих интересов и волнений. Но в силу разного понимания жизни супругами как раз здесь и проходит самый чувствительный раскол.

«Ушли не мы от тебя, а ты от нас, – пишет Софья Андреевна мужу 21 октября 1885 года, когда он задержался в Ясной Поляне. – Насильно не удержишь. – Ты забываешь часто, что ты в жизни впереди Сережи, например, на 35 лет; впереди Тани, Лёли, например, на 40, и хочешь, чтоб все летели и догоняли тебя».

Софья Андреевна убеждена, что если на стороне мужа и есть духовная правда, то защитницей семейных ценностей является только она, а муж в этом представляет собой даже опасность. Она этого не скрывает: «Спасибо, что дети ко мне [относятся] с доверием. И я оправдаю это доверие, потому что теперь только это мне и осталось… А пока я могу одно сказать: да, я хочу, чтоб он вернулся ко мне, так же как он хочет, чтоб я пошла за ним. Мое – это старое, счастливое, пережитое несомненно хорошо, светло и весело, и любовно, и дружно. Его – это новое, вечно мучающее, тянущее всех за душу, удивляющее и тяжело поражающее, приводящее в отчаяние, не только семью, но и его родных, близких, друзей».

Это не дневниковая запись… Это письмо к мужу от 2 3 декабря 1885 года, где Софья Андреевна обращается к нему в третьем лице. Фактически это ультиматум.

Но и у Толстого свои представления о том, что в первую очередь нужно детям. И он до поры до времени не желает уступать их жене, тем более, что чувствует вину за то, что в прежние годы воспитывал их в барском духе.

«Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? – пишет он дневнике 24 апреля 1883 года. – Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно…»

Старший Сергей вызывает у него наибольшее раздражение, потому что, поступив в университет, ушел от влияния отца, а с матерью его продолжают связывать домашние интересы. Да и деньги сыну выдает она.

«Дома разговаривал с m-me Seuron (гувернантка – *П. Б.*) и Ильей. Он искал общения со мной… Спасибо ему. Мне было очень радостно…» (26 апреля 1883 года). Но, в конце концов, и

Илья не радует отца. «Илья – хуже всех, грубеет – зол и эгоистичен» (26 июля).

Как и жена, Толстой жалеет детей, но понимает их счастье и несчастье по-своему, «…ужасно жаль детей. Я всё больше и больше люблю и жалею их…»

Толстой считает, что они развратили старших детей «роскошью», барскими привычками, не объяснили им нравственных основ жизни, не сделали из них настоящих христиан, воспитав их в духе «расы господ». И в этом была правда. В семье Толстых не баловали детей, но тем не менее они росли «барчуками».

«Мы росли настоящими «господами», – вспоминал Илья Львович, – гордые своим барством и отчуждаемые от всего внешнего мира. Всё, что не мы, было ниже нас и поэтому недостойно подражания… Я начал интересоваться деревенскими ребятами только тогда, когда стал узнавать от них некоторые вещи, которые я раньше не знал и которые мне было запрещено знать… Мне было тогда около десяти лет… Мы ходили на деревню кататься с гор на скамейках и завели было дружбу с крестьянскими мальчиками, но папа́ скоро заметил наше увлечение и остановил его…»

На всю жизнь Илья запомнил церемонию раздачи подарков в Ясной Поляне на Рождество. Их дарили и господским, и крестьянским детям, но разные. «Двери залы отпираются, в одну дверь втискивается толпа деревенских, в другую, из гостиной, вбегаем мы… Огромная кукла, «закрывающая глаза», и если ее потянуть за два шнурочка с голубыми бисеринками на концах, которые у нее привязаны между ногами, она кричала «папа́» и «мама́». Детская кухня, кастрюлечки, сковороды, тарелки и вилки, медведь на колесиках, качающий головой и мычащий, заводные машинки, разные всадники на лошадях, мышки, паровики и чего-чего только нам не даривали. У Сережи ружье, которое громко стреляет пробкой, и жестяные часы с цепочкой. В это время большие раздают деревенским детям скелетики[10], пряники, орехи и яблоки. Их впустили в другие двери, и они стоят кучей с правой стороны елки и на нашу сторону не переходят. “Тетенька, мне, мне куколку! Ваньке уже давали. Мне гостинцу не хватило”. Мы с гордостью хвалимся перед деревенскими ребятами своими подарками. Мы – особенные, и поэтому вполне естественным кажется, что у нас настоящие подарки, а у них только скелетики. Они должны быть счастливы и этим. О том, что они могли нам завидовать, и в голову не приходило».

Сам факт того, что Илья Львович впоследствии вспоминал об этом со стыдом, говорит о сильном влиянии на него отца.

Собственно, это понимала и Софья Андреевна. Но на нее с того времени, как муж отказался от мирских проблем, свалилось такое количество забот, что она просто вынуждена была выбирать между ними и нравственной правотой мужа.

«Не будь у нее детей, она, может быть, и пошла бы за ним, – пишет Илья Львович, – но, имея в начале восьмидесятых годов семь, а потом и девять человек детей, она не могла решиться разбить жизнь всей семьи и обречь себя и детей на нищету».

Толстой не хотел этого понимать… «Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей», – зло и несправедливо записывает он в дневнике 1883 года.

И вот в этой почти безвыходной ситуации находится единственный ребенок, который, всем сердцем любя мать, одновременно пытается всем сердцем разделить идеи отца.

Нежное сердце

В восьмидесятые годы Лёля Толстой у всех вызывал восхищение. Его двоюродная сестра Маша, дочь Сергея Николаевича Толстого, вспоминала о том, как он приезжал к ним в гости в Москве: «Особенно хорошо танцевал мой двоюродный брат (его тогда звали Лёля) Лев Львович Толстой. Он уже и раньше умел танцевать, но почти всегда участвовал в наших танцклассах. Всем доставляло большое удовольствие, в том числе и взрослым, смотреть, как он танцует мазурку. Моей матери особенно нравилась его манера танцевать; она вообще очень любила Лёву и говорила, что он ей напоминает Сергея Николаевича в молодости…»

Когда-то старший Сергей Николаевич был предметом зависти брата Льва Николаевича. «…Сережей я восхищался и подражал ему, любил его, *хотел им быть,* – писал он. – Я восхищался его красивой наружностью, его пением, – он всегда пел, – его рисованием, его веселием и, в особенности, как ни странно сказать, его непосредственностью, его эгоизмом».

Считается, что Сергей Николаевич Толстой был одним из прототипов князя Болконского в «Войне и мире».

Лёля тоже был красив, изящен, музыкален и покорял женские сердца.

«Лев Львович, кажется, ухаживал за многими, и было всегда приятно видеть его стройную фигуру с гибкими движениями, блеск его красивых черных глаз и приятную улыбку, – вспоминает Мария Сергеевна Бибикова о восьмидесятых годах. – Он часто подходил к роялю и играл какую-нибудь короткую вещь, большею частью его любимые в то время цыганские романсы “Очи черные”, “В час роковой”; из пьес “Газель”. Туше его было замечательно приятное, и музыка его всегда доставляла большое удовольствие. Когда он кончал, хотелось всегда его еще слушать, и всегда все его просили продолжать игру, на что он очень редко соглашался».

У него было нежное сердце.

«Он, правда, тебя очень любит, – пишет Софья Андреевна мужу из Ясной Поляны в Самарскую губернию 14 июня 1883 года. – Всегда первый прочтет твое письмо. Потом Таня-дочь и Таня-сестра, а Илья и Маша совсем равнодушны». В другом письме из Москвы сообщает, что Лёля заплакал во время представления оперы “Фауст” Шарля Гуно, когда “один убил другого на дуэли”. И еще тревожится о странном припадке лунатизма, который случился у Лёли накануне его тринадцатилетия: «Сплю я, вдруг слышу за перегородкой треск и

шум. Я думала он упал с дивана, бросилась к его постели, – она пуста. Вижу я, бежит он в одной рубашке уже в залу. Я подошла, говорю: что ты, Лёля, куда? Вижу лицо его идиотское и он плаксиво мне отвечает: “да туда, сидеть, пустите, я пойду”».

В одном из писем родителям Лёля так выскажется о себе: «Теперь пишет *тонкий мальчик*».

По письмам Льва и Ильи гимназического периода заметно, что они отличались друг от друга. Илья был грубоват, что, впрочем, не мешало ему, как и Лёве, влюбляться в гимназисток. Илья был страстным охотником и плохим учеником. Лёля больше *старался*, может быть, чтобы угодить родителям. Но он был более нервным и неровным в поведении, *«..характеру* не хватает», – признается он в письме к отцу. И тут же жалуется, что мама, приехав в Москву, не поинтересовалась его баллами в гимназии. «Из алгебры уже 2 единицы получил, задач не решил и был огорчен… – отчитывается он, – а русские диктанты скоро диктует, одну 1 и одну 2 получил тоже скверно, да оно ничего привыкну, вот уже лучше теперь то 1, а теперь 2, а потом 3, 4, 5».

Из этого письма выясняются два факта. Во-первых, русский барчук в пятнадцатилетием возрасте весьма скверно владел русским письменным языком и имел слабое представление о расстановке запятых. Вероятно, это было следствием домашнего образования.

Во-вторых, Лев и Илья нередко оставались в Москве одни и были предоставлены самим себе. Отец не спешил из Ясной Поляны: он не любил город, ему лучше работалось в деревне. Софья Андреевна задерживалась в усадьбе после летних каникул ради мужа и младших детей, которые нуждались в деревенском воздухе.

Эта самостоятельность Лёле нравилась. «Славно жить одному, как рыба на мели», – пишет он мама.

Но эта самостоятельность имела и отрицательные стороны. В Москве Лёля начал курить и увлекся игрой на скачках.

Но в целом это был *положительный* мальчик.

Его письма к отцу и матери исполнены почтения и нежности. «Милый папá, прочел твое доброе и доброе письмо к мамá и мне захотелось тебе написать…»; «Милая мама…»; «Милые мои яснополянцы…»; «Здорово, папаша, мамаша, Танюша и Маша…»; «Прощайте же, надо уроки готовить, живите в Ясной подольше, но будьте живы и здоровы…»

Он чуток на чужую боль. Когда двоюродная сестра Маша Кузминская в Ясной Поляне ушибла ногу, Лёля справляется о ее здоровье: «Как нога Маши? И по какой причине она скучает, по той ли, что не может бегать, или по какой-либо другой?»

Он входит во все тонкости семейной жизни и для каждого находит приятное слово: «Маша, вот тебе письмо от Степановой, тебя madame целует, ты русский костюм не надевай. А ты, Таня, надевай и картинки пиши, ты умеешь. А ты, папа́, дрова руби и не уставай, как мама́ пишет. А мама́ гулять ходи и хоп-хоп малышам играй».

Однако в этих же письмах проявилась одна его особенность, которая впоследствии раздражала отца. Нельзя сказать, чтобы он совсем не был самокритичен. Но в своих неудачах, слабостях он был склонен винить не себя, а сложившиеся обстоятельства. У Толстых это называлось «архитектор виноват». Однажды маленький Илья, получив в подарок от родителей новую чашку, споткнулся о порог в залу и разбил ее. «Архитектор виноват!» – закричал он в слезах. Отсюда пошла семейная поговорка: если кто-нибудь винил в своих действиях не себя, а других, ему говорили: «Архитектор виноват?» У Лёли этот «архитектор» постоянно присутствует в его письмах.

«Если бы взглянули вы, милая мама, на мою жизнь, то сказали бы наверно: “как он хорошо живет!” Все хлопочут для меня одного. В гимназии учителя рано встают, чтобы поспеть на урок и учить *меня*. Дома дядя Костя живет, чтобы *мне* было приятнее и веселее, Виктор ходит за *их Сиятельством* и кухарка кормит *их*, ворочаясь у плиты целый день. Мне немного совестно, но ведь не я виноват, всё так уже налажено и устроено, что нельзя иначе», – пишет он 5 сентября 1888 года.

Впоследствии это разовьется у Льва Львовича в настоящую манию. Во многих, если не во всех, печальных обстоятельствах своей жизни он будет винить кого угодно, но только не себя.

Гимназия Поливанова

Лёля дважды поступал в гимназию. Первый раз – в 1881 году и второй – в 1884-м. Частную гимназию Поливанова для Лёли и Ильи нашел отец. Поначалу он хотел устроить их в казенное учебное заведение. Но там требовали подписки о «благонадежности» детей. И отец возмутился! «Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»

Подписка была формальностью. Но в этом жесте чувствовался новый Толстой, вступивший в противоречие с обычаями государства. К счастью, он узнал, что невдалеке от их квартиры в Денежном переулке находится частная мужская классическая гимназия, открытая в 1868 году выдающимся педагогом-словесником Львом Ивановичем Поливановым, поклонником его творчества. Толстой зашел туда и познакомился с Поливановым, который одновременно преподавал в гимназии русский язык и литературу. Гимназия ему понравилась. Подписки от него не требовали. Сыновей взяли туда сверх комплекта.

В гимназии учились известные писатели: Валерий Брюсов, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, Вадим Шершеневич. Ее закончил шахматист Александр Алехин. О Поливанове как педагоге ходили легенды, и все его ученики, включая Льва Львовича, впоследствии вспоминали о нем с благодарностью.

«Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр, – писал о нем Андрей Белый, – тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Всё прочее, что не вмещалось в “педагоге”, не было интересно в Поливанове…»

«Вспыльчивый и нервный, с седой гривой густых волос, зачесанных назад, худой и быстрый, Поливанов не только умел учить, но умел вызывать в учениках лучшие их чувства… – вспоминал Лев Львович. – Когда он сердился, он выходил из себя и сам не помнил, что говорил. Раз, в порыве гнева, он прокричал, грозя ученикам своим бледным, худым кулаком: “Здесь не кабак, а *питейное* заведение!” Он хотел сказать: *учебное* заведение».

Поливанов был чуток к художественному слову. Однажды отец помог Лёле написать сочинение о лошади, вписав туда полстраницы своего текста. Поливанов вернул сочинение, синим карандашом подчеркнув те места, которые сочинил Толстой-старший.

«– Скажите, пожалуйста, Толстой, то, что я подчеркнул,

написали ведь не вы, а Лев Николаевич?

– Да! вы угадали!

– Очень хорошо, – сказал Поливанов, улыбнувшись мне самодовольно, и кивнул головой. Я поставил вам четверку».

Первый год в гимназии дался Лёле тяжело и по окончании третьего курса (Лёля поступил сразу на третий курс, Илья – на пятый) встал о вопрос о том, чтобы оставить его на второй год. На этом настаивал Поливанов, считавший, что Лёля – способный мальчик, но нуждающийся в строгой гимназической дисциплине. Мнение Поливанова разделяла и Софья Андреевна. Но этому воспротивился отец.

И здесь мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда новые воззрения Толстого в области воспитания своих детей оказывали на них скорее дурное влияние. Хороши или плохи были его старые взгляды, но старшие из детей, Сергей и Татьяна, выросли самыми разумными и позитивными людьми. Кстати, именно они во время ухода отца из Ясной Поляны психологически поддержали его, понимая всю сложность его положения в конфликте с их матерью, и были единственными из детей, кто ухаживал за ним в Астапове. (Кроме самой младшей дочери Саши. Но ее роль в это время осуждалась всеми детьми и впоследствии вызывало раскаяние самой Александры Львовны, ибо она, оказавшись во вражде с матерью, во многом спровоцировала уход отца).

Увлеченный своими идеями, отец всё меньше внимания уделял воспитанию и образованию детей. Но самое главное – он был *внутренне* против тех принципов воспитания и образования, которые сложились в его семье на основании его же собственных прежних взглядов. Прежде Толстой считал, что высокий уровень образования необходим, и на это тратилось немало средств и времени. Приглашенные домашние учителя, иностранные гувернеры и гувернантки и, наконец, уроки с родителями сделали свое дело. Сергей без труда поступил в московский университет и блестяще его закончил. А вот Илья и Лёва, получившие начальное образование в Ясной Поляне в семидесятые, уже проблемные для семьи годы, оказавшись в гимназии, стали получать колы и двойки.

Мотивы, по которым Толстой воспротивился мнению Поливанова и жены оставить Лёлю в гимназии на второй год, не совсем ясны. Но из его письма жене от 31 июля 1881 года можно догадаться, что вопрос этот был для него не главным, не таким, над которым стоит ломать голову. Ведь он был противником поступления Лёли в гимназию с самого начала. «Три дела, я понимаю, тебя мучают: Лёлин экзамен, Илюшино баловство и

холодные полы. Из этих дел я больше всего признаю серьезность – полов… Второе по важности дело это Илюшино баловство… 3-е дело – Лёлька; я бы советовал вовсе оставить его в нынешнем году. В нынешнем году и так много хлопот, а он подучится дома и поступит в 4-й класс. Он такой мальчик, что ученье он скоро запоминает и скоро забывает».

Но если мальчик такой неустойчивый в учебе, если он всё скоро запоминает и скоро забывает, то тем более он нуждается в методическом образовании! Толстой противоречил сам себе.

Поливанов славился как методист, сторонник «логико-стилистического» направления в образовании. Учеба в его гимназии стоила дорого, но это давало ему независимость, которой не было в казенных учебных заведениях. Поэтому в его школу и стремились отдавать детей богатые люди. И есть подозрение, что это последнее обстоятельство больше всего не нравилось отцу. Ему была противна среда, в которую попал его сын по его же протекции.

Эта среда, впрочем, не нравилась и Лёле. Он с презрением вспоминал о сынках богатеньких родителей.

«Какие были среди них животноподобные, жалкие существа. Их наследственность и первое воспитание были еще беднее моего, и потому их жизнь была еще несчастнее.

Вот Арбуз, купеческий сынок, с громадным круглым животом и красной маленькой головой, вечно грубый, пошлый, глупый, заставляет меня подписаться на белом клочке бумаги. Я подписываю свое имя, а он пишет сверху: “обязуюсь принести Вишнякову такого-то числа три рубля”.

А вот кавказский князь из Армении, хотя он только в третьем классе, но уже поживший, всё испытавший, на вид развратный мужчина. Он уговаривает меня ехать с ним в публичный дом, и я из любопытства и по слабости соглашаюсь…»

Поездка в публичный дом, описанная Львом Львовичем, очень напоминает фрагмент из незаконченного отрывка раннего Толстого «Святочная ночь», написанного на Кавказе в 1853 году. Отрывок имел разные черновые названия: «Бал и бордель», «Как гибнет любовь» и другие. Это автобиографическое произведение, навеянное опытом Толстого, который отроком оказался в публичном доме и был потрясен этим до глубины души. Герой «Святочной ночи» Alexandre рыдает, «как дитя», сидя в карете после посещения публичного дома, куда его привезли три опытных развратника. Юный же Лёля, увидев проституток, просто сбежал из публичного дома, «как сумасшедший». «Дожидавшийся извозчик удивленно посмотрел на меня и что-то, смеясь, спросил. Я сел на санки, накрылся медвежьей полостью и стал ждать моего

кавказского “друга”, раскаиваясь в том, что поехал с ним».

Отец, скорее всего, не знал об этом случае. Но он представлял себе соблазны и искушения, которые подстерегали сына в Москве. Возможно, поэтому и старался затянуть его поступление в гимназию и по той же причине вернул его в домашнюю атмосферу после третьего курса обучения еще на два года. К тому же в Москве у Лёли начались проблемы со здоровьем…

Трудно сказать: пошло ли это на пользу. Софья Андреевна позже считала, что – нет. В «Моей жизни» она пишет: «После того, как Лев Николаевич взял Лёву из гимназии домой, он пошел к Грингмуту, директору Лицея Цесаревича Николая, и просил его рекомендовать хорошего учителя Лёве и следить за его образованием. Сам Лев Николаевич хотел наблюдать за учением Лёвы и делать ему время от времени экзамены. Грингмут прислал учителя, глупого франта, бывшего лицеиста, который учил очень дурно и больше рассказывал Лёве о своих похождениях. Никто никогда не слушался уроков этого бессовестного учителя, и ни Грингмут, ни Лев Николаевич никак ни разу не отнеслись к образованию Лёвы и его успехам. Меня это ужасно мучило; я неоднократно приставала к мужу, чтоб он обратил внимание на уроки Лёвы и хоть немного этим занялся. Лев Николаевич постоянно меня отстранял от этого предмета и говорил, что это не мое дело. А между тем, продержав Лёву дома в этой праздности, его через два года опять отдали в Поливановскую гимназию».

Поливанов тоже считал, что два года потеряны: «Лев во всем пошел назад, кроме русского правописания. Сверх того *настроение* к худшему. Прежде очень заботливый и старательный успеть в учебном деле, ему тогда даже непосильном, теперь он сделал впечатление какого-то равнодушного ко всякому успеху мальчика. Замечена и нервность, так что едва ли его можно лишить отдыха летом. Всё это привело меня к заключению, что его путь в гимназии испорчен непоправимо».

Обратим внимание на слово *настроение*. Именно в нем заключалась главная причина неуспехов Лёли…

Лев-«толстовец»

Когда Лёля вновь оказался в гимназии, ситуация в семье существенно изменилась по сравнению с концом семидесятых – началом восьмидесятых. Но она не стала лучше – скорее, еще хуже. Если ко времени переезда в Москву Толстой был одинок в своих исканиях и его жена была убеждена в том, что «едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться», то к середине восьмидесятых годов возникает мода на Толстого.

И это ощущается в семье, «…в последнее время столько о папа́ кричат, пишут, кажется, больше, чем когда-либо, и о ком бы то ни было. В каждом номере газет и журналов непременно помещена о нем статья, – восторженно замечает в дневнике 1886 года дочь Татьяна. – Нет дня, когда он здесь, чтобы человека три-четыре не пришли к нему, кто с просьбой о деньгах, кто за советом, кто просто, чтобы поговорить и сказать, что видел Л. Н. Толстого. Письмам же нет конца. Тоже большей частью просят совета и денег. Приходят и пьяные, и нигилисты лохматые, и священники, и купцы богатые, которые спрашивают, что со своими деньгами делать… Папа всех хорошо принимает, которые действительно нуждаются в его помощи или совете, но на письма никогда не отвечает: двух писарей не хватило бы ему на это…»

Казалось, жена проиграла, муж торжествует. Но это пиррова победа, которая досталась ценой семейного счастья. Летом 1884 года после неудавшейся попытки уйти из дома он записывает в дневнике: «Разрыв с женой уже нельзя сказать, что больше, но полный».

Главная причина, по которой этот разрыв не приводит к разводу – это дети. Их девять человек. Старшему из них, Сергею, девятнадцать лет. Младшая, Саша, только что родилась.

Дети не просто оказываются втянутыми в семейный конфликт, но и являются основным полем для военных действий. Только Сергей живет более или менее независимой жизнью. Татьяна разрывается между любовью к отцу и личными проблемами. Илья вообще не склонен придавать большое значение духовной стороне жизни: больше увлекается охотой и гимназистками. Маша слишком мала, но уже ясно, что она будет на стороне отца. Она самый нелюбимый ребенок у матери. Ведь Софья Андреевна едва не умерла ее родами, и с ней был связан первый семейный раскол. Алексей, Андрей, Михаил и Саша – еще маленькие и ничего не понимают. А вот Лёля…

В письме к Черткову Толстой пишет: «Крошечное утешение у

меня в семье это девочки. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это. Немного еще в Лёвочке, но чем больше он растет, тем меньше. Я сейчас говорил с ним. Он всё смотрел на дверь – ему надо что-то в гимназии. Зачем я вам пишу это… Не показывайте этого письма другим».

Он и Софья Андреевна отныне по-разному понимают смысл и значение семьи. Он считает, что его жена «жернов», который тянет на дно не только его, но и детей. Она убеждена, что он губит ее жизнь и плохо влияет на детей.

«Идеи новые Льва Николаевича испортили мою жизнь и жизнь моих детей: и сыновей, и дочерей. Ломка всей их юной жизни сильно повлияла и на их душевную, и на физическую жизнь. Худенькая, слабая Маша надорвала в непосильной работе и вегетарианстве свои последние силы и здоровье. У Тани было больше чувства самосохранения, но и она пострадала от резкого отрицания всего, что отрицал отец. Сыновья же не имели руководителя в лице отца, а тоже *порицателя*. Хорошо пишет об этом Таня в своих дневниках, приводя свой разговор с отцом, что она отлично понимает всю истину учения отца, что она любит всё хорошее. Но когда говорят об этом, ей скучно, а когда она вспомнит о новом платье, о выездах, у ней так и вспрыгнет сердце от радости», – пишет она в воспоминаниях.

Увы, это была правда. Вступая в сознательный возраст, некоторые из детей Толстого пытались разделить его идеи. Но рано или поздно это сталкивалось с эгоистическими законами человеческой природы, с желанием взять от жизни побольше счастья, пройти череду тех же соблазнов и искушений, которые в свое время прошел отец, испытать те же радости материнства, что испытала мать. Но это вступало в конфликт с тем, что проповедовал отец. А он, озаренный открывшейся ему истиной, не хотел считаться с требованиями молодой природы, искренне полагая, что наделанных им в молодости ошибок вполне достаточно, чтобы их не повторяли его дети. Но главное – у него не было возможности оградить детей от всех соблазнов. Ведь ни дом в Москве, ни Ясная Поляна не были монастырями «толстовской веры».

Отсюда накал недовольства женой в дневниках Толстого первой половины восьмидесятых годов. Впоследствии он значительно снизился. Толстой стал понимать, что нельзя через колено ломать близких, даже если они не правы. Да и был ли он уверен в своей правоте? Если бы он был в ней до конца уверен, он ушел бы из дома гораздо раньше 1910 года, как ему и советовали сделать «толстовцы». А Толстой собирался, но не уходил, или уходил, но возвращался… И в этих его несчастных попытках

бросить семью, которые всегда заканчивались возвращением, было что-то куда более человеческое, нежели в его проповеди.

Несомненно дочери любили не столько его идеи, сколько его самого, как человека и, в некотором смысле, как мужчину. Обаяние его было столь велико, что все другие в сравнении с ним казались просто пигмеями.

Что касается сыновей, здесь было куда сложнее. Быть сыном великого отца – это почетно, но непросто! Каждый из них переживал это по-разному, но перестать быть Толстым никто из них не мог, да и не хотел. Ведь Толстые – это не только Лев Николаевич, но и очень древний род.

В «Опыте моей жизни» Лев Львович называет Толстых особой *расой*. «Этот род, или “клан”, вошедший в жизнь России из глубины веков, – в сущности, не род, а отдельная, не похожая на других раса, сохранившая свои особенности и до сих пор. За редкими исключениями Толстые оберегли себя от влияний кровей, которые могли бы значительно видоизменить главные черты их характера, и до 22-го своего поколения остались теми же Толстыми, какими были раньше…»

«Сознание избранности пришло к нему довольно рано, – считает исследователь жизни Льва Львовича Валерия Николаевна Абросимова. – Едва переступив порог классической мужской гимназии Л. И. Поливанова в Москве, он стал иногда подписываться, как отец, словно пробуя, примеряя на себе эту ношу: *“Лев Толстой*”. Еще не вполне понимая, как странно выглядит это сочетание применительно к мальчику в гимназической форме, он в письме к матери пояснил: *“Л. Толстой* – ужо так я расписываюсь в журнале, когда я дежурный в классе”…»

Читая письма Лёли к матери, невольно обращаешь внимание на то, что он подписывал их разными именами и прозвищами, как бы пытаясь нащупать верный и не унижающий его тон.

«Л. Толстой», «Лев Толстой», «Лёля», «Лёвка», «Левонтий» – иногда две подписи в одном и том же письме. На языке психологии это называется проблемой «самоидентификации».

Можно предположить, что однажды сами родители пожалели, что дали мальчику это имя. Можно также предположить, что мальчика дразнили этим в гимназии. Как могло быть иначе, когда имя Льва Толстого гремело в печати?

В это время в кабинете отца собирались его первые последователи. Одновременно он страдал из-за того, что его сыновья не разделяют его взглядов. Это было вопиющее противоречие: за Толстым шли чужие люди, но не его мальчики!

И вот Лёля начинает всё больше и больше тянуться к отцу,

уходя из-под влияния матери. В воспоминаниях он признается: «Когда с переездом семьи в Москву я попал в первые классы гимназии, как почти всегда бывает в этом возрасте, я не любил, кажется, никого, кроме себя, да и себя, вероятно, тоже не любил… Только к семнадцати-восемнадцати годам, как раз в то время, когда отец переживал свой религиозный кризис, я стал относиться к нему сознательнее и искать в нем ответов на жизнь, которая развертывалась передо мною. Эта пора была порой моей наибольшей близости к отцу, который это чувствовал и всегда делился со мной своими мыслями и чувствами, как со взрослым. Я постоянно забегал к нему в его комнаты, и в Ясной, и в Москве, и мы подолгу с ним беседовали о разных вопросах, которые в данное время интересовали его или меня. Конечно, я не мог понять тогда и малой доли того, что происходило в его душе, но я всё же чувствовал ее и, наконец, так увлекся учением отца, что мечтал сам сделаться новым христианским мучеником для блага человечества».

Лёля подружился с главным духовным учеником отца – Владимиром Григорьевичем Чертковым, «блестящим конногвардейцем», представителем богатой и знатной семьи, который в 1883 году пришел к Толстому и вскоре стал его правой рукой. «В начале своего знакомства с нашей семьей Чертков был обворожителен. Он был всеми любим. Я был с ним близок и на «ты». Он относился ко мне ласково и с любовью, и я платил ему тем же», – вспоминал Лев Львович.

Когда Чертков приезжал в Москву и останавливался у Толстых, он ночевал в комнате Лёли. При этом он был старше его на пятнадцать лет.

В конце концов, Софья Андреевна оказалась перед фактом: самый любимый ее сын стал «толстовцем», или «темным», как она называла этих людей в противоположность «светлым», *светским* людям. И это было для нее куда более горькой потерей, чем «отпадение» Марии.

«С Лёвой и Машей я иногда играла по вечерам в четыре руки на рояле. Лёва старался в то время учиться хорошо, но, как он мне сам говорил, новое учение отца, его жизнь с простой работой и всё его настроение и отрицание науки очень вредно повлияло на занятия Лёвы в гимназии. В отсутствие отца он писал ему письма и радовал его своим стремлением приблизиться к нему. Так, например, Лев Николаевич пишет в декабре 1884 года из Ясной Поляны, куда писал ему Лёва, или Лёля, как его тогда все звали: “Я так и вижу, как все нападут на Лёлю за то, что он имеет и умеет, что сказать мне, и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что

он знает и хочет знать мои интересы”» – вспоминала Софья Андреевна.

Она цитирует строки из письма мужа от 13 декабря 1884 года. Предыдущее письмо, написанное на почтовой карточке, Толстой порвал. Видимо, то послание он не смог выдержать в спокойном тоне. «Сейчас написал письмо на карточке, но начал за здравие и свел за упокой и не посылаю, и пишу на бумаге, чтобы и теперь этого не случилось. Случилось же это по случаю Лёлиного письма, которое мне было очень приятно».

Это говорит о том, что уже в 1884 году, в возрасте пятнадцати лет, Лёля оказался в эпицентре родительского конфликта. За его детскую душу шла своего рода война между папа́ и мама.

И победителем в этой странной войне во второй половине восьмидесятых оказывался отец, а не мать.

«…я так увлекся учением отца, – вспоминал Лев Львович, – что всё остальное отошло на задний план и перестало интересовать меня. Можно себе представить, как успешно я мог приготовлять греческий или латинский переводы или алгебраическую задачу после того, как в продолжении трех, четырех часов, до позднего вечера я просиживал в маленьких комнатках отца, с низкими потолками, где стояло густое облако табачного дыма и нельзя было разглядеть лиц собравшихся, но где шли горячие споры о новом учении, долженствовавшем спасти мир. Я вместе с табачным дымом пропитывался истинами, которые должны были искоренить зло и ложь жизни, и выше их не видел ничего. Что была моя жалкая гимназия рядом с великолепными задачами? Пусть меня даже выгонят из нее; что завтрашний день с его уроками, и я сам, когда вместе с моим отцом я понимал и исповедовал величайшее из откровений?»

Позже Лев Львович влияние отца однозначно определил как *вредное*.

«Несмотря, однако, на вредное влияние отца, я продолжал кое-как учиться в гимназии и, наконец, сделав громадное усилие над собой и стараясь больше уединяться от семьи, – выдержал экзамен зрелости и поступил в Московский университет на медицинский факультет, хотя отец всячески хаял в это время и докторов, и науку».

Трудно сказать, что в конечном итоге оттолкнуло его от учения отца. В поздних воспоминаниях он пишет, что при всей любви к отцу он и в это время «продолжал ненавидеть» его за «отношение его к моей матери, когда он несправедливо и неприятно упрекал ее, доводя до слез. То он вдруг целовал ее руку и говорил с ней добрым и нежным голосом. То недобро

принимался осуждать противным, ужасным тоном, обвиняя ее во всем, – ее, на которую был навален весь тяжелый труд семьи. Она беспомощно и трогательно плакала, а он, сердитый, уходил из дома на далекую прогулку, пешком или верхом…»

Но была и еще одна деликатная причина. Эту причину нельзя объяснить рационально, но она была, и ее не мог не чувствовать «тонкий мальчик» Лёля.

Синдром Бульбы

Вспомним отзыв Толстого о Лёле из письма Александре Андреевне Толстой 1872 года:

«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько *не понимаю».*

На первый взгляд, нет ничего удивительного в том, что Толстой не понимал своего сына. Ведь ему было тогда всего три года. Однако о Маше, которой было два года, он в том же письме сказал вполне уверенно: «Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное».

Почти о каждом из шестерых детей Толстой высказал определенные прогнозы и, в общем, в них не ошибся. А на Льве запнулся?

Но если внимательно рассмотреть первое высказывание Толстого о сыне, то можно обратить внимания на некоторый *холодок* в отношении к нему. «Хорошенький», «ловкий», «всё, что другие делают, то и он», – едва ли это ценные качества в представлении отца. Вот Илья… «Самобытен во всем». Вот Сергей… «Все говорят, что он похож на моего старшего брата». Вот Татьяна… «Она будет женщина прекрасная…» Вот Маша… «Это будет одна из загадок». Лёва же предстает эдаким вертлявым мальчиком. Да, ловким, грациозным, с младых ногтей умеющим щегольски одеваться. Но это *не приятно* отцу. Может быть, он потому и не понимает сына, что *не чувствует в нем родной породы.*

В данном случае «не понимаю» не то же самое, что в случае с Машей – «это будет одна из загадок». Это еще не до конца осмысленное, но уже *отрицательное* высказывание. Лёля не Толстой. Лёля – Берс. Сын своей матери, а не своего отца.

При этом схожесть с матерью Татьяны его восхищает: «Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому… потому, что это очевидно…»

А схожесть Лёли, скорее, раздражает. Это напоминает начало «Тараса Бульбы», когда Тарас говорит с сыном Андрием: «Э да ты мазунчик, как я вижу! Не слушай, сынку, матери: она баба. Она ничего не знает. Какая вам нежба! Ваша нежба – чистое поле да добрый конь, вот ваша нежба! А видите вот эту саблю – вот ваша матерь! Это всё дрянь, чем набивают головы ваши: и академии, и все книжки, буквари и философия, всё это: *ка зна що* – я плевать на всё это!»

Толстой очень любил Гоголя, но не любил «Тараса Бульбу». Тем не менее, сравнение Толстого с цельным и воинственным героем гоголевской повести имеет смысл. Ведь после духовного переворота «академии, и все книжки, буквари и философия» тоже потеряли в глазах Толстого прежнюю ценность. С этого времени Толстой старался держаться цельного, незамутненного «книжными» знаниями взгляда на жизнь и часто «рубил с плеча», решая сложнейшие вопросы мировой цивилизации «по-дурацки», как он говорил, на основании трезвого, *мужицкого* отношения.

Это стало одной из главных причин расхождения с сыном Сергеем, который любил науку. «Когда я его спросил, каким делом он посоветовал бы мне заняться, он был в раздраженном настроении и ответил: “Дела нечего искать, полезных дел на свете сколько угодно. Мести улицу также полезное дело”. Этот ответ меня сильно обидел и был одной из причин моей тогдашней отчужденности от мировоззрения отца», – пишет Сергей Львович в «Очерках былого».

Сам же устроив Илью и Лёлю в гимназию, как Бульба устроил своих сыновей в академию, Толстой считал учение делом второстепенным в сравнении с нравственным воспитанием. Но ведь и Бульба своего рода «нравственник». Только у него главной нравственной ценностью было не братство всех людей, как у Толстого, а «козаческое» братство. Ради него он и жертвует сыновьями, одного из них, Андрия, застрелив собственноручно.

Отношение Толстого к учебе Лёли было двойственным. «Брат Илья и я были в гимназии, и наше учение шло сначала плохо. Мать огорчалась, в то время как отец почти не обращал на это внимания, – пишет Лев Львович в книге «Правда о моем отце». – Помню, только раз мы приехали с братом из Москвы в Ясную, оба оставшись в тех же классах. Отец встретил нас на станции “Засека”, и мы объявили ему о нашем неуспехе.

– Что же это вы? – сказал он нам с упреком и с огорчением, – это не хорошо.

И весь вечер оставался мрачным».

«Иногда отец спрашивал меня, приготовил ли я заданное в гимназии, но никогда не заставлял меня делать этого», – вспоминает он в «Опыте моей жизни».

В результате отношение самого Лёли к учению было неустойчивым. Он не чувствовал поддержки отца, а когда еще и стал увлекаться его взглядами, то и вовсе решил, что папа́ против его обучения в гимназии.

Но этому неожиданно воспротивился отец.

Письмо Толстого к сыну, написанное осенью 1884 года, когда Лёля вторично должен был поступать в гимназию, точно отражает

настроение отца по отношению к своему ребенку. В этом письме всё верно, правильно. Но оно неприятно своим отстраненным тоном. Словно это пишется не родному сыну, а гимназисту с соседней улицы.

«Мама́ мне сказала, будто ты сказал, что я сказал, что я буду очень огорчен, ежели ты выдержишь экзамен или что-то подобное, – одним словом такое, что имело смысл того, что я поощряю тебя к тому, чтобы не держать экзамены и не учиться. – Тут недоразумение. Я не могу сказать этого. Гимназист, который приезжал ко мне, спрашивал: выйти ли ему из гимназии и настаивал на том, что он хочет выйти. Я отсоветовал ему. Мое мнение, что человеку никогда не надо переменять свое внешнее положение, а надо постоянно стараться переменять свое внутреннее состояние, т. е. постоянно становиться лучше… А так как у тебя (к сожалению) нет другого дела, и даже представления о другом деле, кроме своего plaisir'а[11], то самое лучшее для тебя есть гимназия. Она, во-первых, удовлетворяет требованиям от тебя мама, а во-вторых дает труд и хотя некоторые знания, которые могут быть полезны другим… Бросить начатое дело по убеждению или по слабости и бессилию, две разные вещи. А у тебя убеждений никаких нет и хотя тебе кажется, что ты всё знаешь, ты даже не знаешь, что́ такое – убеждения и какие мои убеждения, хотя ты думаешь, что ты это очень хорошо знаешь…»

Казалось бы… Только два ребенка до конца разделяют убеждения отца и тем самым вступают в противоречие с матерью – Лёва и Маша. Но если о Маше в письме к своему последователю Файнерману в 1888 году Толстой пишет: «*Самая большая моя радость*», – то отзывы о Лёве говорят, скорее, о сомнении, что этот «ловкий» мальчик на что-то способен.

С одной стороны, Лёля «после Маши ближе всех ко мне». С другой – «Недурной малый. Может выйти очень хороший. Теперь еще далек». Редкие письма Толстого к сыну напоминают сухие нотации.

«Все самые важные шаги в жизни этак-то и делаются – не с треском, заметно, а именно так – нынче не хочется, завтра не сел за работу, а глядь уже стоишь в безвыходном положении…»

«Есть одно важное дело, всем нам одно: жить хорошо. Жить же хорошо, значит не делать сейчас того дурного, которое видим и можем не делать. Какие бы ни были те задачи, над которыми работает человек, все они наверное объясняются правильной постановкой жизни, точно так же, как улучшение моего почерка будет зависеть от того, что я сяду хорошо и твердо…»

«Убирание своей комнаты и выношение горшков никому не может мешать, кроме тех, которым стыдно, что они этого не

делают. Если сравнивать два дела, совсем не подлежащих сравнению, учение крестьянских детей и убирание комнаты, то несомненно второе гораздо предпочтительнее».

Иногда поведение сына раздражает отца! Когда в мае 1889 года Лёва закончил гимназию и хотел поступать в университет, отец ждал его в Ясной Поляне, где они должны были обсудить его будущую жизнь. Но сын задерживался в Москве: лечил зубы, заказывал новое платье, пировал с гимназическими друзьями… И Толстой взорвался!

«Если ты поищешь хорошенько, то найдешь дел, подобных пломбированию зубов и заказыванию платьев, не только до 8 июня, но и до 8-го октября. Мне рассказывал Красовский, заведывавший сумасшедшим домом, что он раз вывел с собой на прогулку за ворота сумасшедших. Пройдя улицу, они попросились назад: им неловко было не среди сумасшедших. Неужели ты уж дошел до этого состояния».

Вместо того, чтобы поздравить его с выпуском из гимназии, отец пишет ему неприязненное письмо: «Что за глупости – обед с Фуксом? Одно разумное и радостное выражение радости об окончании – это то, чтобы уйти как можно скорее, не замазывая новой фальшью старую фальшь…»

Иными словами, он все-таки считал, что учеба в гимназии не пошла Лёле впрок. И вообще это всё «фальшь»! Но и убеждений отца Лёва постичь не может. Мал, не дорос и натурой не вышел, порода не та!

То, что Толстой советует сыну выносить за собой ночной горшок, а не учить крестьянских детей, это не обмолвка, но принципиальное отношение к сыну, в котором его прежде всего не устраивает его самонадеянность, поверхностность, которые в самом деле были свойственны Лёле.

Но было у него и другое качество, которого не оценил его отец, но которое очень ценила его мать.

Вспоминая 1888 год, то есть время особой близости Лёли к отцу, жена Толстого напишет:

«Наблюдательный и чуткий сын мой, Лёва, пристально раз посмотрел на меня и говорит: “Мама́, вы счастливы?” Я удивилась его вопросу и сказала ему, что считаю себя счастливой. “Отчего же у вас вид мученический?” – спросил он…»

Нельзя сказать, чтобы отец не чувствовал в нем этого. Но, может быть, именно болезненное раздвоение сына между любовью к папа́ и мама, с предпочтением все-таки мама, возводило стену между двумя Львами.

В зрелости Лев Львович придет к правильной, но запоздалой мысли, что его увлечение идеями отца скорее «тревожило», а не

радовало отца. «Но он не мог мне сказать прямо, чтобы я не слушал его, а жил и делал, как все» («Правда о моем отце»).

Глава третья
Где тонко, там и рвется

Мужайся, Лев Львович Толстой, сын Льва Толстого, живи и главное живи, а не спи.

Л. Л. Толстой. Дневник 1890 года

Лёля «умер»

17 июля 1889 года Толстой из Ясной Поляны посылает своему «духовному другу» Черткову письмо, в котором с неожиданной стороны отзывается о сыне Лёве, в это время закончившем гимназию и собиравшемся поступать на медицинский факультет московского университета. Но прежде чем его процитировать, рассмотрим обстоятельства, которыми оно было вызвано.

К концу восьмидесятых годов Чертков становится главным человеком в жизни Толстого, по своему влиянию на него далеко превосходящим всех, кто его окружает в это время. Любовь Льва Николаевича к Черткову может сравниться только с любовью к дочери Марии, которая, как и Чертков, безраздельно предана отцу. Пожалуй, любовь к Маше даже глубже или, во всяком случае, интимнее любви к Черткову. Но *главным человеком* при Толстом является Чертков.

Все запрещенные к печати в России религиозно-философские произведения Толстого проходят через его руки. Он руководит делами толстовского народного издательства «Посредник». Он, как пишет биограф Черткова Михаил Васильевич Муратов, «с постоянной настойчивостью собирает черновики и письма Толстого, старается иметь, если не в подлиннике, то хотя бы в копии, каждую написанную им строчку. С педантической тщательностью Чертков разбирает полученные от Толстого рукописи, переписывает их сам или проверяет правильность их переписки, если это делают другие, и следит за тем, чтобы они хранились в полном порядке…»

Вместе с женой Галей (так называли Анну Константиновну Черткову, в девичестве Дитерихс) Чертков живет на хуторе Ржевск Воронежской губернии, который ему отделила богатая и знатная мать, кстати, очень недовольная увлечением сына Толстым. Вдруг в июле 1889 года у Чертковых умирает годовалая дочь Оленька.

«Его маленькая дочка Оля – Люся, как ее назвали в семье, – была своеобразной, живой и ласковой девочкой, и записки об ее жизни, которые написала мать, показывают, как крепко привязались к ней не только родители и бабушка, но и все обитатели Ржевска, среди которых она росла», – пишет Муратов.

«Мы с нею лишились больше, чем своего любимого ребенка, – сообщает Толстому Чертков, – мы лишились маленького связующего звена и смягчающей силы между всеми нами».

Ответ на это Толстого – удивительный!

«Сейчас получил вашу телеграмму, дорогие друзья, и хочу и

не могу не страдать за вас, особенно за вас, милая, дорогая Галя.

Нынче только думал о том, как переносить то, что называется и что отражается в наших душах горем. У меня было огорченье, духовное, но вам не нужно говорить, что духовное горе событие, не менее, но более событие, чем матерьяльное. – Ну что больше событие: что у меня сгорел дом, умер любимый человек, или я узнал, что любимый мною человек был обманщиком и не был тем, за что я любил его?

Такого рода событие было со мною – чтоб вас не интриговало что? – скажу: это было тяжелое столкновение с сыном Лёвой, показавшее мне его похожим на Сергея, или по крайней мере показавшее, что отношения с ним могут быть такие же, как с Сергеем. Это было мое горе. И я много думал о нем и о горе вообще».

Как это понимать? Только так: у вас умерла дочь, а я разочаровался в сыне. Мое горе сильнее вашего. Если бы сын только умер, не было бы так горько.

Нигде с такой беспощадной ясностью не проявился духовный ригоризм Толстого, как в отношении к смерти детей. Его позиция в этом вопросе была настолько своеобразной, что вызывала в других людях естественное чувство сопротивления.

Так, за год до смерти дочери Чертковых Оли Василий Иванович Алексеев, бывший «народоволец», домашний учитель в семье Толстых (у него учился и Лёля), затем «крестьянствующий» интеллигент, тоже лишился дочери. Ей было четыре года. Своим горем он поделился с Толстым и в ответ получил такое письмо:

«Дорогой друг, Василий Иванович. Мне очень больно за вас, но милый друг, не сердитесь на меня, не о том болею, что вы потеряли дочь, а о том, что ваша любовная душа сошлась вся на такой маленькой, незаконной по своей исключительности, любви. Любить Бога и ближнего, не любя никого определенно и всей силою души, есть обман, но еще больший обман – любить одно существо более чем Бога и ближнего… Любишь их и детей в том числе, потому что они работники того дела, которое составляет мою жизнь и работники лучшие, чем я, испорченный соблазнами и загрязненный жизнью. Вот так отчасти и вы любили Надю, но почему она у вас одна? Если бы вы любили всех тех близких вам за то, что они будущие лучшие работники дела Божия, вы бы не чувствовали так. Я вас очень люблю, Василий Иванович, люблю за вашу доброту, благодарен вам за то, что вы помогли мне в освобождении от тех соблазнов, которые связывали меня. Но последнее время мне кажется, что вы запустили свою душу и она стала зарастать терниями».

Алексеев был ошеломлен!

«…отказаться от любви к дочери я не в силах, не могу и не мучиться при потере дочери», – возражает он Толстому. Но Толстой неумолим. «Ответ ваш на мое письмо огорчил меня… Есть то, что дана жизнь и можно на нее смотреть, как на свою собственность, отдельную свою жизнь, и можно смотреть на нее и понимать ее как служение. В первом случае и своя смерть, и смерть любимых есть ужас, во втором – нет смерти, потому что цель жизни не жизнь, а то, чему она служит. Отчего хозяйка не в отчаянии, что приготовленное ею с такой любовью кушанье – съедают. Что бы с ней было, если бы она полюбила так свое кушанье, что в нем бы видела цель? – Всё дело в том, как понимать жизнь. Можно быть плохим, ленивым слугою, но понимать себя слугою и тогда не страшно всё то, что выпадает на долю слуги; но если я понимаю себя барином, хотя бы я делал работу слуги, всякое напоминание мне того, что я слуга, будет мне ужасно…»

Алексеев впал в глубокую депрессию, которая перешла в тяжелую многомесячную болезнь.

Первое, что приходит в голову: легко было Толстому говорить о смерти чужих детей! Но в январе того же года, когда Алексеев потерял свою дочь, скоропостижно скончался пятилетний сын Толстых Алеша. Отец присутствовал при умирании ребенка до последнего дыхания. И вот что Толстой написал в связи с этим Черткову: «То, что оставило тело Алеши, оставило и не то, что соединилось с Богом. Мы не можем знать, соединилось ли, а осталось то, чем оно было, без прежнего соединения с Алешей. Да и то не так. Об этом говорить нельзя. – Я знаю только, что смерть ребенка, казавшаяся мне прежде непонятной и жестокой, мне теперь кажется и разумной, и благой…»

Его шестнадцатилетний сын Лёля, в это время увлеченный идеями отца, написал тому же Черткову: «Милый Дима, у нас горе для кого большое, для кого маленькое; умер маленький брат Алеша от горла в ночь на 18-е. Описывать подробности я не стану, а скажу только, что мама́ очень огорчается и всё это очень скучно… Теперь будет весь этот скучный процесс похорон. Чем скорее маленького не будет в доме, тем скорее пройдет это горе… Мы с папа́ много говорили нынче об этом, и я не согласен в том, что он говорит, что то, что оставило Алешу, есть тот общий, вездесущий огонь Бога; я думаю, что у каждого человека есть собственный огонь или душа, который оставляет его».

Все-таки сын не разделял до конца душу и тело ребенка, видел в его смерти *некое личное* событие, верил в то, что у каждого человека есть индивидуальная душа. В религиозной

точке зрения отца чувствуется восточная мудрость, призыв к «радостному» отношению к смерти. Но и что-то сухое, рациональное.

В то же время нельзя не удивиться глубокой и какой-то почти детской обиде, которую испытывает отец от духовного, как ему кажется, предательства сына.

В июле 1889 года Льву Николаевичу – шестьдесят лет, а Лёве – только двадцать. Из-за чего случилась эта ссора, о которой Толстой пишет в письме к Черткову?

«Затеяли вечный, один и тот же разговор о хозяйстве – унывая, отчаиваясь, осуждая друг друга и всех людей. Я попытался сказать им, что всё дело не за морями, а тут под носом, что надо потрудиться узнать, испытать и тогда судить. Лёва начал спорить. Началось с яблочного сада. С упорством и дерзостью спорили, говоря: с тобой говорить нельзя, ты сейчас сердишься и т. и. Мне было очень больно. Разумеется, Соня тотчас же набросилась на меня, терзая измученное сердце. Было очень больно. Сидел до часа, пошел спать больной» (запись Толстого в дневнике от 15 июля).

«Было очень больно», – дважды повторяет он. Толстой не только раздражен, он глубоко задет, он искренне страдает от того, что домашние его не понимают, да просто не слышат его мнения!

«Думал: какое удивительное дело – неуважение детей к родителям и старшим во всех сословиях, повальное! Это важный признак времени; уважение и повиновение из-за страха кончилось, отжило, выступила свобода. И на свободе должно вырасти любовное отношение, включающее в себя всё то, что давал страх, но без страха. Так у меня с одной Машей. Боюсь говорить и писать это. Чтобы не сглазить, то есть не разочароваться» (запись от 16 июля).

И возникает вопрос: так ли уж нуждался Толстой в том, чтобы его дети непременно разделяли его убеждения? Если бы речь шла только об *убеждениях*, ничтожный спор из-за яблочного сада не доставлял бы ему таких страданий. Нет, тут дело было в ином! И неслучайно в рассуждениях о сыне Толстой вспоминает о дочери.

«Она сердцем почувствовала одиночество отца, и она первая из всех нас отшатнулась от общества своих сверстников и незаметно, но твердо и определенно перешла на его сторону», – пишет Илья Львович. «Она как-то умела подойти к нему просто, как к любимому старику-отцу, она, бывало, ласкала и гладила его руку, и он принимал ее ласки также просто и отвечал на них. Но с нами, сыновьями, почему-то не выходило так. Взаимная любовь подразумевалась, но не выказывалась».

На распутье

Во время учебы в гимназии Лёва часто болел. Впрочем, часто болели все дети Толстых, а некоторые даже умирали в младенчестве. Но Лёля рос еще и очень нервным мальчиком. Повышенная чувствительность была одной из причин постоянных недомоганий. На самом деле трудно понять, что было здесь причиной, а что следствием. Стал ли он «толстовцем» в силу своей впечатлительности или увлечение идеями отца расстроило его нервы?

Но пока Лёля был «толстовцем», всё валилось из его рук. Больших усилий стоило закончить гимназию. «О моем экзамене на аттестат зрелости я вижу до сих пор кошмарные сны, – писал он в зрелые годы. – Много раз снилось мне после него, что я провалился, и я просыпался в ужасе. А на самом экзамене со мной сделался настоящий припадок такого нервного возбуждения и ослабления, что я почувствовал, точно сама жизнь вдруг покинула и вылилась из меня от крайнего волнения».

Выбор медицинского факультета объяснялся желанием «служить людям на полезном поприще», а также тем, что в это время он с увлечением прочитал книгу выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова «Дневник старого врача».

Отец относился к выбору сына без одобрения – Толстой не жаловал медицину. Но снисходительно, как вообще был снисходителен к нему, пока тот не начинал с ним спорить. «Радуюсь тому, что одна часть забот Лёвы миновала. Авось он стал милостивее; а то он был очень строг», – пишет он Софье Андреевне из Ясной Поляны после сдачи Лёлей выпускных экзаменов. «Лёва приехал недавно, в студенческой фуражке, хочет поступать на медицинский факультет. Он после Маши ближе всех ко мне, и он искреннее всех на вашей стороне», – сообщает он своему последователю Павлу Ивановичу Бирюкову. Однако через месяц происходит та самая «смертельная» размолвка из-за яблочного сада. Но еще через месяц Толстой уже вполне благодушно напишет Бирюкову: «Лёва в Москве на медицинском факультете и храбрится тем, что у него под столом кости человеческие…»

Толстой как будто не мог найти правильной стратегии в общении с Лёвой. С одной стороны, его привлекали ум и духовность сына, а с другой – он чувствовал, что сын слишком слаб, а кроме того слишком «барин». Его раздражало, как Лёва общался со слугами. «Скажи Лёве, что я был к нему не так дружелюбен, как желал этого, – пишет он Софье Андреевне после

отъезда сына из Ясной в Москву. Мне неприятно было его барство: “Тит! Тит! то и сё”.

Он не чувствовал в нем внутреннего стержня. В апреле 1887 года, когда Лёва вернулся в Москву из Ясной, там остался его товарищ, сын художника Николая Николаевича Ге Николай Ге, или Количка, как его звали в семье Толстых. Лёва в Москве скучал по общению с ним, о чем Софья Андреевна писала в письме к мужу. И это тоже вызвало в отце ироническое раздражение: «Хоть бы он в себе поискал, нет ли там где Колички маленького».

Он слабо верил в будущее юного «толстовца». Совсем иначе он воспринимал Черткова: «Как он горит хорошо!» (запись в дневнике). С другой стороны, ему была ближе тихая покорность Маши, служившей отцу самозабвенно и не споря с ним.

Переходя из гимназии в университет, Лёва написал отцу письмо с возражениями на его формулу «есть одно важное дело – жить хорошо». «Так и я понимаю жизнь, так и я стараюсь поступать, но есть одно очень важное разногласие между нами, это именно то, что самое простое, близкое начало всего, о котором ты говоришь, понимается нами различно (Прости, что так пишу, я отлично понимаю, что я тебе не ровня)».

В этом письме он представляет жизнь в виде кирпичной башни, которую надо разбирать постепенно, сверху донизу. Если разбирать снизу, то башня завалится и погребет человека кучей «кирпичей» (проблем). По мнению Лёвы, отец и его последователи начинают разбирать башню снизу, и в этом их ошибка, «потому что не прошли последовательно всего, предложенного жизнью». «Надеть посконную рубаху надеть сапоги и полушубок, не есть мяса, не пить вина, всё делать на себя, не есть ли всё это начинать снизу… Я этого не делаю и понять этого не могу…»

После смерти обоих Львов последний секретарь Толстого Валентин Федорович Булгаков точно определит суть конфликта отца и сына: «В вечной и как будто столь неуместной полемике Льва Львовича с великим отцом, даже и после смерти последнего, мне чудилось иногда всё же какое-то зерно истины». По мнению Булгакова, Льва-второго «тяготил односторонний спиритуализм Л. Н. Толстого и пренебрежительное отношение его ко всей материальной и практической стороне жизни, а следовательно, и к таким установлениям, как брак, право, государство. По нервности, излишнему самолюбию и по раздражительности, придавая слишком личную форму своему спору с отцом, Лев Львович в глазах людей только ставил себя в смешное положение – и чувствовал это, – а это, в свою очередь, заставляло его еще

больше нервничать…»

В то же время Булгаков проницательно писал, что «в младшем Льве было что-то от Льва старшего». «Что? А вот: представьте себе молодое беспокойство и искание Л. Н. Толстого *без мощи его ума* – вот вам и будет Л. Л. Толстой».

Но что было делать? Поменять имя невозможно, а характер сына формировался стремительно и под неотступным влиянием отца, хотел того отец или нет. И тогда Толстой занимает позицию, может быть, и не самую сильную, но единственно возможную в этой ситуации. Он старается придерживаться принципа *невмешательства*. Лёва, по его мнению, стал уже достаточно взрослым, чтобы самому выбирать свою судьбу.

«Делай как получше и приезжай поскорее, – пишет он Лёве из Ясной Поляны в июне 1889 года, когда сын закончил гимназию. – У нас всё тихо, спокойно и кому в душе хорошо, то может быть очень хорошо; к таковым принадлежу я, несмотря на нездоровье. Как и что ты решил об университете и факультете? Ведь теперь, кажется, это надо решать. Это – не столько самое дело, сколько твое решение в этом деле, – очень занимает меня. Ты вообще теперь очень интересен, потому что на распутье. И всегда на распутье человек, но иногда, как ты теперь, особенно. И со всеми вами я в эти времена с волненьем жду, воздерживаясь от вмешательства, которое бывает не только бесполезно, но вредно. Ну, прощай, голубчик, целую тебя, не делай худого и приезжай скорее».

В студенческой фуражке

Учеба в университете с самого начала не заладилась.

«Устроившись в Москве, во флигеле, где жена дворника готовила ему самый простой обед, щи, кашу и для развлечения, как говорил Лёва, блинчики, он начал ходить в университет, на медицинский факультет, куда пошел с мыслью приносить людям существенную пользу. С каким-то болезненным любопытством, изучая анатомию, ходил Лёва по подвалам, где лежали мертвецы, готовые к *препарированию*, как выражались студенты», – пишет Софья Андреевна в «Моей жизни».

Вместе с товарищем Иваном Раевским они даже купили человеческий скелет, «которым страшно напугали прислугу».

Для нервного и впечатлительного юноши трудно было вообразить более ненормальную атмосферу, чем анатомический театр. Но Лёва упрям и в первый месяц учебы начинает посещать занятия выдающегося физиолога Ивана Михайловича Сеченова, который преподавал на старших курсах, «…слушал с большим интересом, – пишет он матери, – хотя опыты над лягушкой были довольно противны. Лягушку распинают гвоздиками на дощечке, обнажают ей нерв, на который наводят электрический ток, лягушка корчится, шевелит лапками, изо рта ней течет кровь, а профессор с интересом и важностью рассказывает студентам от чего какие происходят действия. Это очень гадко с непривычки, хотя если жалко лягушку, то что же я буду делать, когда надо будет резать собак и кошек. В анатомическом театре каждый день густой и едкий трупный запах. Принюхиваюсь… но все-таки воняет и сказать, чтобы можно было привыкнуть к этому запаху, я думаю, невозможно. Когда приходишь домой или где-нибудь в гостях, везде в носу остается этот запах».

Не очень вписался он и в студенческую среду.

«У меня был на факультете близкий товарищ Ваня Раевский, – пишет Лев Львович в воспоминаниях, – с которым мы вместе ходили на лекции; но у обоих нас не хватало энергии, чтобы, как наши товарищи, энергичные и неизбалованные евреи, которых была суетливая толпа, освоиться со всеми неудобствами и недостатками университетского обихода и принять их безропотно».

Однако ссылка на Раевского неудачна. Раевский успешно закончил московский университет в отличие от Льва.

Причина его неудач коренилась в нем самом. Один из тех «энергичных и неизбалованных евреев», о которых он пишет с барским высокомерием, оставил о Лёве Толстом свои

воспоминания: «Как курьез вспоминаю мой разговор с товарищем по первому курсу, сыном Льва Николаевича Толстого, малосимпатичным Львом Львовичем. В то время он отрабатывал очередные препараты по анатомии. Но даже приходя в анатомический театр, он подчеркнуто звал швейцара, чтобы тот снял с него шинель. Вообще он держался как типичный белоподкладочник, графский сынок. На мое предложение записаться в группу для занятий по физиологии растений он ответил отказом и в оправдание стал совсем уж неосмысленно ссылаться на то, что его отец, Л. Н. Толстой, доказал ненужность и бесполезность ботаники как науки. Я посоветовал ему не ссылаться так необдуманно на Л. Н. Толстого и уже не возобновлял с ним этого разговора» (З. Г. Френкель. «Записки о жизненном пути»).

При этом он вовсе не был неженкой и разболтанным юношей. Приехавшая в ноябре 1889 года в Москву с дочерью Татьяной Софья Андреевна нашла, что сын устроился жить один весьма прилично. «Остановились мы у Лёвы во флигеле дома в Хамовническом переулке. Он был нам очень рад, а я по-матерински была рада видеть, как хорошо он жил. Везде порядок, чистота, признаки культурных привычек и вкусов. Стоял рояль, висела и балалайка на стенке, было много книг; всё было скорее бедно в обстановке, но всё гармонировало одно с другим. Он усердно ходил в университет и абонировался на симфонические концерты».

Судя по некоторым письмам и почтовым карточкам, присланным из Москвы в Ясную Поляну, в отсутствие матери Лёля вел за нее дела по продаже собрания сочинений отца с оптового склада, который находился во дворе московского дома. Одно из таких писем написано на бумаге со штампом: «Склад изданий сочинений Гр. Л. Н. Толстого. Москва. Долго-Хамовнический переулок, № 15. Гр. Софьи Андреевны Толстой».

Но было в его натуре что-то, не позволявшее пристать ни к одному делу. И медицинский факультет был только началом этой длинной череды неудач.

«Мне был чужд и язык профессоров, в котором пятьдесят процентов слов были научные галлицизмы, чужд и противен вонючий анатомический театр, где мы резали человеческие трупы; отвратительна вивисекция, когда знаменитый профессор Сеченов душил и мучил морских свинок, крыс, лягушек и кроликов, наконец, чужда была сама студенческая среда, с которой находил мало общего».

В самом начале учебы, осенью 1889 года, он не выдержал и приехал в Ясную Поляну… «Как восторгался Лёва после зрелища

мертвецов в подвалах университета нашей красивой яснополянской природой! – пишет Софья Андреевна. – Он ежедневно ходил на охоту и убил тогда 12 вальдшнепов…»

В марте 1890 года он решает оставить медицинский факультет и поступить на филологический. Поначалу-то он собирался вообще бросить университет и пойти служить… во флот. Но для этого нужна протекция влиятельного мужа его тетки, сенатора Кузминского. А «дядя Саша» не соглашается помочь без позволения родителей. А родители уже понимают, что с Лёвой происходит что-то неладное.

«Это вечное искание, любопытство новых ощущений и стремление к чему-то новому, лучшему – осталось в нем на всю жизнь и во многом мешало ему», – пишет его мать.

Однако она не договаривает главного. В начале самостоятельного пути Лёва начинает *копировать* поведение отца в молодости. Точно так же Толстой-старший, поступив в 1844 году в Казанский университет на филологический факультет и проучившись один курс, перевелся на юридический факультет, чтобы через полтора года бросить и его, отправившись в Ясную Поляну вести хозяйство.

В прошении об увольнении из университета восемнадцатилетний Лев Николаевич Толстой писал: «…по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам». В «Опыте моей жизни» Лев Львович Толстой так объяснял свой уход с медицинского факультета: «…вследствие общей ненормальной атмосферы, царившей в нашей семье, мое здоровье было подорвано, несмотря на мои природные силы».

Оба Толстые решительно не вписывались в студенческую среду.

О поведении Толстого-старшего в Казанском университете мы знаем из воспоминаний Валериана Никаноровича Назарьева, опубликованых в журнале «Исторический вестник» в ноябре 1890 года, когда сын Толстого перешел с медицинского факультета на филологический. Но читал ли сын эти воспоминания об отце? Не просто читал, а был до такой степени возмущен, что написал возражения на воспоминания о молодости отца, то есть о том времени, когда Лёвы еще не было на свете!

Поступок был настолько странный, что Лев Николаевич вынужден был в осторожных выражениях объяснять сыну, почему этого делать не следует. «Статью не надо печатать и не надо также писать. Если неприятны бестолковые и ложные суждения, то лучшее средство, чтобы их было как можно меньше, ничего не отвечать, как я всегда делал и считаю даже нужным делать…»

Говоря народным языком, Лёва лез поперед батьки в пекло.

«Назарьев – только придирка, – возбужденно писал он отцу. – Можно и другого выбрать. Пожалуйста, напиши. Уж очень заврались о тебе, что же мы за дураки такие молчать, раз надо сказать, чтобы все острастку имели».

Иными словами, он убеждал отца защитить свои честь и достоинство. А если нет, это сделает за него его сын!

Но что такого страшного было в воспоминаниях Назарьева?

В них Толстой представал в неожиданном освещении. Молодой барчук, холодный и надменный. «В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою… – писал Назарьев. – Изредка и только на лекциях истории, обязательных для всех факультетов двух первых курсов (исключая медиков), сталкивался я с графом, примкнувшим, невзирая на свою неуклюжесть и застенчивость, к небольшому кружку так называемых аристократов. Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком». Граф сразу оттолкнул Назарьева своей «напускной холодностью, щетинистыми волосами, презрительным выражением прищуренных глаз».

Вот его рассуждения об университетской науке. «А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны, кому нужны?»

Не себя ли увидел Лёва в этом кривом отражении?

Ведь за несколько месяцев до появления воспоминаний Назарьева он сам писал матери о причинах, по которым решил бросить университет: «…по письму вы можете подумать, что я в скверном настроении, напротив, я очень доволен, совершенно искренне говорю, и бросаю университет с легкой душой, без всяких сомнений и не от «простой лени», а по разным соображениям, побуждениям, убеждениям».

Что же это были за убеждения?

«Зачем вообще нужен университет?» – задается он вопросом в письме к матери. И сам отвечает: «Юристы, чтобы на каторгу ссылать (так на днях видел на вокзале ужасные сцены, проводы ссыльно-каторжных на Сахалин), филологи, чтобы в гимназиях мучить и вытягивать лучший сок из молодежи… а мы, медики, чтобы в больницах людей живых резать и убивать их».

«Что же остается? “Так что же нам делать?” Деревня, деревня и деревня. Оттуда надо бомбардировать, а если не можешь, так

сидеть смирно и по крайней мере спокоен будешь и больше сделаешь».

Всё замечательно. Но это не его мысли. Недаром в письме приводится название статьи отца «Так что же нам делать?».

Отец рано понял эту главную проблему сына. Поэтому и отговаривал его от того, чтобы бросать университет. «Не делай этого. Мало того, что не делай этого, не ослабляй своего напряжения к занятиям, не ослабляй, а увеличивай сознание нравственного долга продолжать занятия… Оно правда, что если у тебя это намерение кончить курс завинчено только в верхние планки людского мнения и самолюбия, то их легко отодрать и оно отстанет. Крепко будет только тогда, когда прихватишь винтами за сознание долга перед своей совестью и Богом. И потому если не довинчено, винти. Я тебе отвертку дам, коли твоя не берет. Ну вот. А то это-то апатия: зачем ходить? к чему? да что?»

В сентябре 1890 года Лёва уже ходит на филологический факультет. Но и здесь ему нехорошо, неспокойно.

«Опять латынь, греческий, переводы, опять тоска…» – пишет матери. А в апреле 1891 года в письме к ней чистосердечно признается, что не может держать экзамены на второй курс.

«Дочел я свои лекции и увидал, что экзамены держать я не могу, не только потому, что я плохо знаю, но также и главное потому, что я стар и вся эта процедура экзаменов мне до того противна, что я именно не могу, не то что не хочу или воображаю себе что-нибудь, – проделывать всю эту комедию».

«Я стар», – пишет он. Ему еще не исполнилось двадцати двух лет.

Беда страшная

Во время своего пребывания в университете, Лёва Толстой представляет собой довольно сложный психологический тип. С одной стороны, он слаб и подвержен разнообразным влияниям. Он в постоянном смятении, неуверенности и бессилии найти свой путь в жизни. Наконец, в нем обнаруживаются первые признаки неизвестной нервной болезни, от которой он стремительно худеет, впадает в апатию, не может сдавать экзамены. С другой стороны, это очень амбициозный юноша, с завышенными требованиями к жизни. Он вроде готов горы свернуть, но… Всё вокруг не так! Семейные условия, университетская среда… И меньше всего ему приходит в голову, что, может быть, это он *не тот*, кем себя воображает.

В Москве ему нехорошо! Подобно отцу, он с отвращением наблюдает пороки городской жизни. Даже в цирке. «Сейчас вернулся из цирка, – пишет матери, – не смог досмотреть до конца, и, кажется, это последний раз в жизни. Какой разврат, какая тьма… 14-летний мальчик, вольтижер, дамы в обтянутых юбках и красных шляпах… Шел домой, и опять ночные сцены, эта таинственность разврата, который ночью, хотя и таинственно, но властно и открыто царит на улицах. Надо бежать, бояться этого соблазна в слабые минуты, а в минуты душевной бодрости укреплять себя, прощать и надеяться».

Он рвется из Москвы в Ясную. Но и там нет душевного покоя. «Приехал, полный энергии, жизни, радости, – записывает в дневнике в декабре 1890 года. – Застал всех за обедом. Какой-то гнет над всеми, как будто рады, да и рады некоторые, даже все, но за этой радостью что-то кроется тяжелое. У папа́ какое-то обиженное, грустное выражение. Он “жертвует собой”. Оно появилось сейчас же после первых разговоров. У остальных это отражается на лицах.

Начинаю жить. Все врозь. Беда страшная. Каждый забывает о других и предается эгоизму. Таня больна от нас. Маша себя обманывает и считает несчастной, как Таня… Мама воспитывает мальчиков. Андрюша занимается онанизмом. Миша близится к тому же. О, трагическое положение семьи, от тебя, великий старец, говорящий истину и переставший жить…»

Главную причину «страшной беды» он находит в отце. Уже в начале девяностых годов его раздражает культ вокруг отца. Так он пишет об Александре Никифоровиче Дунаеве, директоре Московского торгового банка: «…любовь Дунаева к папа́ доходит до абсурда, он, кажется, с удовольствием нюхает вонь из его

горшка».

Не нравится ему преданность отцу сестры Маши. «Маша, та заряжена, даже не заряжена, а смазана мыслью, взглядом папá, всем, что могло только коснуться ее душонки, и что она могла понять из сложной до бесконечности внутренней машины папá…»

27 декабря 1890 года в Ясной Поляне праздновали Рождество. Дворовые и члены семьи Толстых обрядились ряжеными. «Ужасное зрелище, – возмущается Лёва в дневнике. – Фомич, который злится на свою нарядившуюся забитую, трудящуюся всю свою жизнь мать 6-ти маленьких детей, жену Парашу. Иван Александрович, который пляшет, когда у него на сердце кошки скребут… Варька, эта брошенная несчастная любовница нашего бывшего кучера Лукиана. Потом для полного блеска всей этой картины сестра Маша в штанах, обтянутая с тонкими ногами, христианка, вегетарианка и т. д. и глупа просто, как пробка».

Он стремится обуздать в себе злые чувства и осуждает себя за эти записи: «Очень бестолково, несвязно, а главное, “с участием ощущений” и пристрастием, пожалуй, мой спокойный “я” рассердится на высказанные сегодня некоторые мысли». Но в этом осуждении есть львиная доля «нарциссизма», который был свойствен и его отцу. Только у того он принимал другие формы – беспощадного самоанализа, самобичевания и покаяния.

Чувствуется, что он сын своего отца. Но масштаб не тот! У Толстого-старшего оптика взгляда на мир и на самого себя меняется в режиме от телескопа до микроскопа. А Лёва смотрит на жизнь обычными глазами. И это гораздо ближе к характеру его матери, а не отца. Мама тоже возмущена поведением Маши на Рождество. Она пишет в дневнике: «Вечером пришли дворовые и прислуга наша ряженые и плясали под гармонию и фортепьяно. Это Таня всё хлопотала, и самой ей хотелось *глупого* веселья. Она тоже и Маша нарядились. Но как только Маша вошла, мы с Лёвой ахнули. Она обтянула себе панталонами совсем зад – оделась мальчиком – и стыда ни капли. Чуждое, глупое и бестолковое создание».

И всего-то нужно – признаться самому себе. Что мать ближе, чем отец. Что «Берса» в нем больше, чем «Толстого». У него с матерью общие вкусы, привычки. Он такой же аккуратист, даже чистоплюй в хорошем смысле слова, то есть до брезгливости не переносит всё грязное, порочное, и не только во внутренних, но и во внешних формах жизни. И вообще – внешние формы для него очень важны, как и для матери, в отличие от отца. В этой ее позиции есть нерушимая правда жизни, которая позволяет сохранить семью. Непомерные духовные требования отца, может,

и хороши для *человечества,* но невозможны для *семьи.* И сам отец это понимает, идет на уступки жене.

Но что-то не позволяет Лёве признать эту правду. И что-то не позволяет Толстому объяснить это сыну.

Послесловие к «Крейцеровой сонате»

В 1891 году в тринадцатом томе «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», издаваемых его женой, вышла повесть «Крейцерова соната». Это было самое скандальное произведение Льва Толстого, вызвавшее бесконечное количество печатных откликов и устных высказываний. Можно сказать, что на протяжении девяностых годов мыслящую Россию волновали два главных вопроса: «Кто прав – народники или марксисты?» и «Что хотел сказать Толстой “Крейцеровой сонатой”?»

Один из самых проницательных ответов на второй вопрос предложил французский критик Мельхиор де Вогюэ. Перевод его статьи «По поводу “Крейцеровой сонаты”» был напечатан в журнале «Русское обозрение» еще до выхода повести, который затягивался по цензурным причинам, в то время как повесть гуляла по рукам в списках. Статью Вогюэ читали в Ясной Поляне. Одним из первых прочел ее Лёва. Как и в случае с воспоминаниями Назарьева, он был возмущен!

«Отношение его самое пошлое и обыкновенное, а главное, он не понимает или просто врет, как же можно говорить, что идеал в Сонате тот, чтобы мир кончился смертью людей, достигших безбрачия, когда дело идет о жизни. Эти критики мне надоели. Я написал статью в форме письма в газету, папа́ не согласился, чтобы я печатал его. Это он прав, но досадно бывает порой, трудно молчать и не желать высказаться», – пишет он дневнике.

Иначе отнеслась к статье Вогюэ Софья Андреевна: «… удивительно тонко и умно. Он говорит, между прочим, что Толстой дошел до крайности анализа (analyse creusante), убившего всякую жизнь личную и литературную».

«Крейцерова соната» волновала жену Толстого. Она справедливо видела в ней переживания мужа по поводу его собственной личной жизни. «Какая невидимая нить связывает старые дневники Лёвочки с его “Крейцеровой сонатой”, – пишет она в дневнике. – А я в этой паутине жужжащая муха, случайно попавшая, из которой паук сосал кровь…»

В «Послесловии к “Крейцеровой сонате”», написанном по совету Черткова, Толстой категорически высказался в пользу безбрачия и против половой любви. Между тем, в 1888 году, когда он закончил повесть, в семье Толстых родился последний ребенок – сын Ванечка. Софья Андреевна шутя говорила, что этот сын – лучшее *послесловие* к «Крейцеровой сонате».

Когда Вогюэ писал свою статью, он еще не читал «Послесловия…» И он абсолютно верно указал на то, что в своей

повести Толстой боится сделать последний вывод. «Граф Толстой хочет упразднить природу, и этот избыток логики ставит его в невозможность сделать вывод… Отсутствие вывода – вот главный недостаток, на который я хочу указать в *Крейцеровой Сонате*… Но граф Толстой, такой смелый во всем остальном, не решается провозгласить его. Это заключение состоит в том, что мир должен кончиться, потому что он нехорош, и идеал состоит в том, чтоб он кончился как можно скорее посредством всеобщего безбрачия».

А 21 марта 1891 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лёвочка необыкновенно мил, весел и ласков. И всё это, увы, всё от одной и той же причины. Если бы те, которые с благоговением читали “Крейцерову сонату”, заглянули на минуту в ту любовную жизнь, которой живет Лёвочка, и при одной которой он бывает весел и добр, то как свергли бы они свое божество с того пьедестала, на который его поставили!»

Особенностью новой повести Толстого было то, что ее единственным «квалифицированным» критиком могла быть только Софья Андреевна. Только она могла видеть непосредственную связь между этой вещью, ранними дневниками Толстого и его поздними переживаниями. Только она могла знать, из каких тайных глубин всплыла эта повесть.

В молодости Толстой сравнивал половой инстинкт с «чувством оленя» и боялся его. Его ранние дневники испещрены признаниями в собственном бессилии в борьбе с половым инстинктом. «…шлялся по саду с смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать, поэтому решился где бы то и как бы то ни было завести на эти два месяца любовницу», – пишет он 5 июня 1856 года. И через несколько дней признается: «…была солдатка. Отвратительно».

Три поздних произведения Толстого – «Крейцерова соната», «Дьявол» и «Отец Сергий» – посвящены проблеме сокрушительной силы этого инстинкта, перед которым не может устоять человек.

Но что мог понять в этом молодой Лёва в начале девяностых годов? Во-первых, он не читал ранних дневников отца. Во-вторых, он сам, «как муха в паутине», запутался в решении полового вопроса.

Первая запись из сохранившегося дневника Льва Львовича. 1882 год, ему двенадцать лет. «Елка. Танцую у Альсуфьевых на Девичьем поле. Большой маскарад. Моя хрипота. Лили не было, и мне скучно. Но тут третья дочь Алсуфьевых, Катя, которая мне страшно нравится. Она красивая, с черными волосами, глазами и косой! Большая мне надоедает. Я болен. Цыпки и русское сочинение. Наша встреча и вся эта история. Скучаю по Лили».

В «Опыте моей жизни», не вспомнив о других, куда более важных событиях – например, о поездке с Михаилом Александровичем Стаховичем в Оптину Пустынь весной 1890 года и о «тяжелом разговоре» с отцом по возвращении, о чем пишет в мемуарах С. А. Толстая, – он подробно рассказывает о любовных увлечениях отрочества и юности. Это и Лили Оболенская, и Катя Олсуфьева, и Маша Кузминская, и Ната Философова, и Верочка Северцова, и «Козочка», «еврейка редкой красоты», с которой он познакомился на Урале и которая понравилась тем, что «была похожа, как я тогда вообразил, на Анну Каренину». Это и дочь машиниста на станции Теляки близ Уфы, где жил брат его матери Вячеслав Берс. И «главное – молодая крестьянка Даша Чекулева, любовь к которой продолжалась много лет и была в эти годы самой сильной».

История любви юного Лёвы к замужней крестьянке Дарье Чекулевой очень напоминает сюжет повести «Дьявол», написанной отцом в 1889–1890 годах, именно в то время, когда его сын страдал от этой любви. И там, и здесь – любовная страсть как наваждение, от которого нельзя избавиться иначе, как временно утолить ее половым соитием. С той лишь разницей, что любовь Лёвы осталась неразделенной, а страсть героя «Дьявола» Евгения Иртенева к Степаниде была удовлетворена. Но и завела его в окончательный нравственный тупик, из которого автор предлагает герою два выхода (два варианта финала): самоубийство или убийство Степаниды. И так же как Иртенев блуждает по деревне и вокруг нее, одновременно и с надеждой встретиться со Степанидой и боясь этой встречи, так и Лёва подстерегал Дашу то на деревне, то в поле, то в лесу.

«Часами я ждал ее в поле, и, когда, наконец, вдали показывалась ее фигура, я волновался сладкой радостью. Опять мы садились рядом, я гладил ее прелестное тело, жал ее корявые руки, но как только позволял себе больше, она вырывалась, вскакивала и убегала».

«Дьявол» – самое откровенное произведение Толстого о плотской любви. Даже там, где он прибегает к фигурам умолчания, накал половой страсти передается с исключительной силой. Вот герой опоздал на свидание со Степанидой в лесу. «Ее не было. Но на обычном месте всё, покуда могла достать рука, всё было переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память».

Однако Толстой к себе беспощаден. Он видит в своей прошлой любви тяжелый грех, который не искупается годами. Он прячет рукопись «Дьявола» в обшивку стула на двадцать лет,

боясь, что это прочитает жена. Лев Львович же описывает любовь к замужней крестьянке в розовых тонах, любуясь своими чувствами и жалея, что они остались неудовлетворенными.

«Воспоминания о моей оставшейся совершенно чистой любви к Дарье связаны с лучшими месяцами, днями и часами моей юношеской жизни, – с весенними соловьями и ландышами, с гущей и тенью лесов, с простором полей и лугов и жаждой, безумной жаждой жизни и счастья. Почему эту жажду ни мне, ни ей не дано было утолить? Почему столько огненного желанья и волнений потрачено бесплодно и остались о них лишь эти светлые, глубоко волнующие меня, даже сейчас, воспоминания?»

Это взгляд зрелого Льва Толстого-младшего. Но даже из «Опыта моей жизни» можно понять, что молодой Лёва относился к своим ранним «Любовям» («Мои 12 Любовей» называется сохранившийся в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого составленный им список девушек и женщин в его жизни) совсем иначе. Как и отец в молодые годы, он *боялся* половой страсти.

Он спасался от нее, например, охотой, вышибая клин клином. «Охота была для меня отвлечением, часто и спасением от мыслей о женщинах, которые всё больше и неотвязчивей мучили меня. Всё же до сих пор я ухитрялся оставаться девственником, хотя давно уже был чувственно развращен в другом смысле. Избегал я женщин по двум причинам: во-первых, я боялся заразиться, во-вторых, мечтая о счастливом браке, хотел сохранить до него мою чистоту».

В начале девяностых Лёва находится под мощным влиянием отца и его «Крейцеровой сонаты». А одно из главных прозрений героя «Сонаты» Позднышева заключалось в следующем: почему девушки до брака обязаны хранить половую чистоту, а юноши – нет? Почему сексуальная опытность мужчины, вступающего в брак, не только не вменяется в грех, но даже негласно признается его достоинством?

Однако нравственные соображения постоянно конфликтуют в молодом Льве с требованиями природы. В неудовлетворенности полового инстинкта он готов видеть и причину своей болезненности.

«Итак, желудок плох, здоровье тоже мое довольно слабо, – записывает он в дневнике в декабре 1890 года. – Но надо характера, воли, духу, это заменит физические недостатки. Отчего я не крепок здоровьем и худ, как спичка? Неужели от о…? Нет, это только подлило масла в огонь, я бы и без этого был бы, пожалуй, такой же».

В письме к Черткову признается, что он измучен половой проблемой.

«Половые дела меня… тяготят страшно… Сегодня я нравственно живу и мыслю, завтра, несмотря на глубокое убеждение, что мне это запрещено совестью, не подумай – доктором, что это моя погибель, я возбуждаюсь при виде женщины до того, что всё забываю, не имею сил отойти от нее, борюсь и мучаюсь, наконец, какими-нибудь внешними средствами спасаюсь от фактического падения, а потом раскаиваюсь и чуть не рыдаю… Я, по крайней мере, до сих пор, с тех пор, как почувствовал в себе половые инстинкты, никогда не мог жить спокойно, чем-нибудь ровно и счастливо заниматься, – это постоянно отвлекало меня, заставляло забывать о том, в чем настоящая разумная жизнь, делало меня животным. Вот отчего скорее жениться, вот отчего бросать университет».

Эти интимные проблемы он обсуждал с отцом. Вот запись Толстого в дневнике от 19 декабря 1888 года: «С Лёвой говорил об общем бедствии – онанизме и о лжи, под которой скрывается разврат».

И получалось, что когда отец со всей мощью своего не терпящего компромиссов разума и всей силой художественного таланта вбивал осиновый кол в проклятый половой вопрос, доказывая, что *особой* любви мужчины к женщине, кроме полового влечения, быть не может, как не может быть *христианского* брака, – его сын только начинал терзаться тем, чем мучился в молодости отец. Только мечтал о женитьбе, как мечтал в свое время отец. Но эти сладкие терзания и смутные мечты уже были отравлены поздними откровениями отца.

Как ему было угнаться за ним? Как оправдать свое громкое имя? Что нового сказать людям, чего еще не сказал отец?

31 августа 1889 года Толстой записывает в дневнике: «Вечером читал всем “Крейцерову сонату”. Подняло всех. Это очень нужно… Лёва слушал, и ему нужно».

Охота к перемене мест

19 января 1891 года Софья Андреевна писала: «От Лёвы прекрасное письмо; но, Боже мой, какой он впечатлительный и мрачный! Нет жизнерадостности – не будет цельности, гармонии ни в жизни, ни в трудах, а жаль!»

Этой впечатлительностью и мрачностью он тоже напоминал отца в молодости. И в том не было цельности и гармонии. И тот не находил себе места… Из Казанского университета помчался в Ясную Поляну на хозяйство, потом – в Москву, в разгул и кутежи, потом – в Петербург с бесплодной попыткой продолжить учебу, потом – опять в Ясную. И так его бросало из стороны в сторону, пока весной 1951 года он не отправился со старшим братом Николаем на Кавказ.

Но ведь не просто отправился, как отправляются на службу в армию, а сначала сплавился с братом на лодке от Саратова до Астрахани… Поездку на Кавказ он поначалу явно воспринимал как увлекательное путешествие, а прибыв в станицу Старогладковская с удивлением записал в дневнике: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже».

Однако, когда летом 1890 года его сыном «овладело беспокойство, охота к перемене мест», Лев Николаевич воспринял это неодобрительно. 4 июня он записывает в дневнике: «С Лёвой был разговор о его поездке. Я говорил ему, что он барин и что ему надо опомниться и покаяться».

В сентябре того же года, когда сын перешел с медицинского на филологический факультет, Толстой пишет в дневнике: «От Лёвы тяжелое письмо – не может без лакея. Поразительная нравственная тупость». Это первое откровенно *злое* высказывание отца о сыне.

Дело в том, что в письме из Москвы в Ясную Поляну Лёва требовал прислать ему слугу: «…здесь целое хозяйство, лампы, тарелки, 3 комнаты, пыль… Можете выводить что угодно из всего этого, что я привык к барству и т. д., но пришлите мне Ваську. Здесь искать долго и найти можно, но дороже, чем Вася. Лучше уже его».

Но что плохого было в его желании проехать по своей стране? Возможно, отца мучило именно то, что сын дублирует его молодые поступки вместо того, чтобы сразу жить с той нравственной «базой», которую уже выработал Лев Николаевич. Это тем более терзало его потому, что в глубине души он чувствовал невозможность этого. Не только в силу молодости Лёвы, но и оттого, что сам же он воспитал его «барином».

Толстой пишет: «Нынче думал: я сержусь на нравственную тупость детей, кроме Маши. Но кто же они? Мои дети, мое произведение со всех сторон, с плотской и духовной. Я их сделал, какими они есть. Это мои грехи всегда передо мной. И мне уходить от них некуда и нельзя».

Между тем путешествие Лёвы было как раз свидетельством его еще не остывшей жизнерадостности.

«Избегав и изъездив с детства всю Ясную Поляну и ее окрестности, я постепенно стал расширять мое знакомство с миром, и с первых же лет студенчества я стал ездить по России, чтобы лучше узнать ее», – пишет он в «Опыте моей жизни».

Интересно, что географически он отчасти повторял странствия отца в пятидесятые годы: «Сначала на Волгу, Уфу и Урал, потом на Кавказ и в Крым». Летом 1890 года от Нижнего Новгорода на пароходе спустился до Казани, затем по рекам Каме и Белой добрался до Уфы, оттуда по железной дороге доехал до уральских гор и вернулся в Ясную Поляну Летом следующего года он пропутешествовал таким маршрутом: Астрахань – Баку – Тифлис – Владикавказ – Пятигорск – Кисловодск – Новороссийск – Ялта – Одесса. В большинстве этих городов побывал его отец.

В каждом из путешествий Лёва заезжал в самарское имение Толстых. Это тоже был наезженный маршрут отца, который на протяжении семидесятых годов почти ежегодно летом отправлялся в самарские степи на лечение кумысом, а затем и по хозяйственным нуждам.

Так, желая доказать себе и родителям свою самостоятельность, Лёва кружил по отцовским местам, с той существенной разницей, что отец *служил* и подвергался смертельной опасности, а сын путешествовал все-таки как *барин*.

Но Толстой был неправ, упрекая сына в «нравственной тупости». Лёва чувствовал свое положение и переживал в связи с этим. В одном из писем матери с Волги он описал ей встречу с бурлаком, который изнемогая от усталости, посмотрел на него, стоявшего на мостике, и с горечью сказал: «Что, барин, весело кататься на кораблях?»

Он чутко реагировал на отношение простых людей, на всю жизнь запоминая вроде бы самые незначительные эпизоды: «В Пятигорске я стал ухаживать за понравившейся мне казачкой, стелившей мне постель в гостинице, но она с презрением охладила меня» («Опыт моей жизни»). Чем не князь Оленин в «Казаках»?

В этих путешествиях он поневоле должен был сравнивать себя с отцом. А если забывал об этом, ему напоминали другие. «На станции Казбек… я встретил маленького доктора, который

крутил папироски и приговаривал: “Omnia mea mecum porto”[12]. Я сказал ему, что я Толстой, но он не поверил и назвал меня “quasi-Толстой”».

С молодой пылкостью он хотел совершить нечто достойное своего имени. И эта возможность вскоре представилась. Но прежде ему пришлось пережить два очень важных события. В один год он стал помещиком и писателем.

«И я полюбил его»

В середине апреля 1891 года в Ясную Поляну приехали все старшие сыновья для обсуждения вопроса о разделе отцовской недвижимости. Случай был уникальный. Толстой переписывал всю свою собственность на жену и детей, «как если бы я умер». Его заветная мечта раздать всё нищим не была поддержана в семье. В результате в апреле 1891 года состоялся беспрецедентный акт «наследования» всей собственности человека *при его жизни*, юридически закрепленный год спустя. Больше года потребовалось Софье Андреевне, чтобы оформить это решение мужа, и она пишет об этом в воспоминаниях как о «сложном, трудном и тяжелом деле».

Но ситуация была еще и психологически очень непростой. И Софья Андреевна, и все взрослые дети понимали, что это решение отца не какой-то каприз, а тяжело выстраданный компромисс между его убеждениями и интересами семьи. Толстой же понимал, какую «бомбу» он закладывает в отношения со своими последователями и противниками. Теперь каждый мог указать графу что, проповедуя на словах отказ от собственности, он на деле переписал свое имущество на домашних и остался жить «барином» в Ясной Поляне.

С этого момента только ленивый не обвинял Толстого в лукавстве. И опровергнуть ничего было нельзя, потому что объективно дело выглядело именно так. Нужно было глубоко понимать Толстого, его взгляды на себя и других людей, читать его письма и дневники, чтобы правильно оценить этот поступок.

Разделились-то они довольно мирно. Софья Андреевна пишет об этом так: «План раздела сделал сам Лев Николаевич; я умышленно отсторонилась от этого и очень стояла за то, чтобы делили всё по жребию. Но ни Лев Николаевич, ни дети этого не хотели, и после долгих разговоров и различных мнений пришли к следующему заключению: Сереже дать Никольское, половина которого составляла бы Машину часть, на которую Сережа дал обязательство выплатить за нее деньги. Тане дали 40 000 рублей деньгами, которые должны были выплатить меньшие дети из их доли, и Овсянниково. Илье – купленную мной Гринёвку и Александровский хутор при с. Никольском. Лёве – Бобровский участок в Самарской губернии и дом в Москве в Хамовническом переулке… Ясную Поляну Лев Николаевич отдал мне с меньшим сыном – Ваничкой, после смерти которого она перешла пяти сыновьям. Они продавали лес, но нас, стариков, никогда не тревожили и в дела Ясной Поляны не входили и по сегодняшний

день».

Из этих записок выясняется один любопытный факт. После смерти Ванечки в 1895 году сама Софья Андреевна, по сути, осталась юридически неимущей. Она вела хозяйство Ясной Поляны, но не была владелицей этого имения. Ей принадлежали только дом и приусадебный участок, которые отошли ей при разделе 1891–1892 годов, а само имение, доставшееся несовершеннолетнему Ванечке, после его смерти перешло к пяти другим сыновьям. При этом она всю жизнь поддерживала их деньгами. Нельзя не поражаться *мужеству* этой женщины!

Раздел имущества происходил на Страстной неделе. Татьяна Львовна писала в дневнике, что отец тяжело переживал это событие. «Это было так жалко, потому что это было как осужденный, который спешит всунуть голову в петлю, которой, он знает, ему не миновать». Дочь Мария пыталась отказаться от своей доли «наследства», но Софья Андреевна настояла, чтобы ее доля (пятьдесят пять тысяч рублей) оставалась за матерью и перешла дочери по ее первому требованию. Так и случилось. Когда в 1897 году Маша вышла замуж за Николая Оболенского, то была вынуждена забрать у матери свою долю.

Раздел прошел мирно, но он *расколол* семью. Прежде всего, Толстой отделился от всей семьи, а Софья Андреевна разделилась с детьми. Маша заняла позицию отца, чем задела чувства братьев и сестры Тани, которые согласились стать собственниками. Илья остался недовольным своей долей и высказывал это.

Интересно вел себя малолетний Ванечка. По воспоминаниям Ильи, младенец тоже встал на сторону папа́. Когда мать во время прогулок говорила ему, что он теперь хозяин Ясной Поляны, Ванечка топал ножкой и возражал: «Нет, мама, не говори, что Ясная Поляна моя. Всё – всехнее». Но вот в воспоминаниях Лидии Веселитской, не раз бывавшей в Ясной Поляне и пользовавшаяся доверием Толстых, мы найдем совсем другое свидетельство.

«…вдвоем с Ванечкой мы ушли в лес. За нами побежала большая белая собака. Когда я похвалила лес, Ванечка сказал:

– Это Чепыж. Это мой лес. Это всё мое. Да, да. И земля моя».

Видимо, ребенок, не понимая сложных обстоятельств этого раздела, вел себя с разными людьми по-разному, то как «последователь» отца, то как гордый «собственник».

Горячими сторонниками раздела были Илья и Лев. Понять мотивы Ильи нетрудно. В 1888 году он женился на Соне Философовой. До семейного раздела Илья был фактически управляющим хутора Гринёва, который принадлежал матери как подарок мужа. Но своего имения у молодой семьи не было. Это задевало самолюбие Ильи, он просил у матери денег на покупку

собственного имения, что приводило к конфликтам между ними.

Понять Льва гораздо сложнее.

«Лёва тоже очень за раздел, чтоб стать определенно на более бедную жизнь и знать, что у каждого есть», – пишет Софья Андреевна мужу.

Как это понимать? В результате раздела Лев Львович стал владельцем приличного состояния: это большой дом в Москве и самарское имение. Условия для жизни там были спартанские, но нетронутые самарские степи были плодородными и в хорошие года давали большие урожаи пшеницы. Тем не менее, Лёва был нацелен на «бедную жизнь». Скорее всего, под бедной жизнью он воображал просто *самостоятельную* жизнь.

Его тоже очень можно понять.

Прилепиться к отцу, как это сделали сестра Маша и его друг Чертков, у Лёвы не получилось. Да он и сам не хотел этого. Но жить под крылом мама́ тоже было ниже его достоинства. Он рвался в Ясную Поляну, но чуть ли не каждый его приезд сопровождался ссорами с отцом, в которых мать, оказывалась между двумя Львами. В июле 1889 года они поругались из-за яблоневого сада, и тогда мать была на стороне сына. А в декабре 1890 года была еще одна ссора, на этот раз из-за часов приема пищи. Эта вроде бы мелочь так взволновала отца и сына, что дело закончилось слезами.

«Начался во время чая при Дунаеве разговор об образе жизни, времени repas[13]; он (Лёва – *П. Б.*) упрекал мать; а я сказал, что он с ней вместе. Он сказал, что они все говорят (и необыкновенно это), что нет никакой разницы между Машей, Чертковым и им, а я сказал, что он не понимает даже, в чем дело, сказал, что он не знает ни смирения, ни любви, принимает гигиенические заботы за нравственные. Он встал с слезами и ушел… Мне было очень больно и жалко его, и стыдно… И я полюбил его…»

«И я полюбил его…»

Сколько раз эта странная фраза встречается в дневниках отца, когда он пишет о родном сыне! «И я полюбил его…» Как будто до этого не любил, а вот теперь полюбил – *заставил полюбить*.

«Утром за кофе у Лёвочки с Лёвой был горячий спор о счастье, о цели жизни, а началось с того, что Лёва говорил о перемене еды и вообще о недовольстве форм *нашей* жизни, – пишет в дневнике Софья Андреевна. – Лёвочка ему очень умно и хорошо говорил, что всё зависит от себя, от жизни *изнутри*, а не *извне*…»

Софья Андреевна была в растерянности. Ведь в данном случае спор в первую очередь касался ее – она была на хозяйстве

в яснополянском доме, и перемена часов принятия пищи была для нее не пустяком. По-видимому, это и имел в виду отец, когда говорил, что сын с матерью заодно, то есть оба придают слишком большое значение еде. Сын пытался доказать отцу, что он такой же человек, как Маша и Чертков… Понятна его обида на отца, который выделял Машу и Черткова за то, что они ему преданно служат. Отец то ли не оценил этой обиды, то ли, напротив, пожелал подлить масла в огонь и обвинил сына в том, что гигиенические заботы о себе он принимает за нравственность. Это был болезненный укол, потому что в то время со здоровьем Лёвы уже началось твориться что-то неладное. Он подозревал в себе катар желудка, говоря современным языком – гастрит. Из-за этого и случился спор с отцом: Лёва переел во время позднего завтрака (завтракали Толстые в полдень), съел гуся, капусты под бешамелью и почувствовал себя плохо, «…я пишу о еде потому, что мне это интересно, – признается он в дневнике. – У меня, кроме памяти, отвратительный желудок, а здесь так едят, что мне кажется, что у меня катар. Это мой пункт, как говорят мне, но что же делать, это правда, а может быть, и пункт».

А спустя месяц пишет матери из Москвы: «Милая мама, Вы, кажется, взволнованы и в тревожном настроении… Я совершенно здоров, хотя все говорят мне, что я худею, что меня смущает, и действительно, мое здоровье меня постоянно беспокоит».

Когда в марте 1891 года он приехал в Ясную, мать была в ужасе! «Лёва очень страшный, худой, стриженый, лицо всё выбрито, и ест всё яйца и старается пить молоко, мнителен очень».

Это было начало тяжелейшей нервной болезни, которую сразу заметила мать… Но почему этого не заметил отец?

Или заметил, но согласно своим убеждениям не придал этому большого значения? Ибо что значат внешние формы жизни в сравнении с жизнью внутренней? Или Толстой уже тогда понимал, что его сын *обречен*? Но не физически, а внутренне. Ничего из него не получится! И все его метания, нервы и катар – лишь следствия внутренней несостоятельности человека по недоразумению носящего имя Лев Толстой. Может, поэтому и пронзило отца, когда Лёва вдруг заплакал и ушел из-за стола? Может, поэтому он и написал: «И я полюбил его»?

Точно мы знаем одно: Лёва очень хотел быть собственником, и он стал им. Он стал им в тот момент, когда отец от собственности отказался. Он приобрел то, что отец отбросил от себя как мерзость мира, но не дальше, чем внутри собственной семьи. И в этом было колоссальное противоречие и начало нескончаемого семейного конфликта. Но Лёва этого не понимал.

Он был счастлив, что стал самостоятельным и даже состоятельным человеком, как в свое время отец был счастлив, получив после раздела с братьями в собственность *свою* Ясную Поляну.

Лёва был обречен ступать след в след за отцом, когда его отец уходил всё дальше и дальше… Так вышло и с писательством.

Господин Львов

8 марта 1891 года Софья Андреевна писала в дневнике: «Получили мартовскую книгу “Недели” с Лёвиной повестью. В первый раз напечатали что-нибудь его, под именем *Л. Львов*. Я еще не перечла рассказа вторично, потому что книга получена сегодня, а я была в Туле. Меня очень волнует писательство Лёвы, особенно в его будущем. Есть ли это явление случайное от впечатлительности и новости явлений жизни, которую он не знал, или это есть начало его литературной деятельности? Хорошо бы если б это стало делом его жизни, тогда он полюбил бы и самую жизнь. Здоровье его и вид стали лучше, но всё он очень худ».

В мартовском номере журнала «Книжки Недели» появился рассказ Льва Толстого «Любовь». Второго Льва Толстого. Льва Толстого-сына. Назваться настоящим именем он постеснялся и скрылся за псевдонимом «Л. Львов», что, видимо, представляло собой сокращенное «Лев Львович».

Это было очень важное событие в жизни молодого человека. Но по горькой иронии судьбы это событие произошло с ним в том же самом году, когда его отец *отказался* от роли профессионального писателя.

19 сентября в газете «Русские ведомости» появляется письмо Толстого с его отказом от авторских прав.

«М. г. Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление.

Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною *с 1881 года*… равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения».

Опять это был компромисс с женой, потому что за ней все-таки оставалось право издавать и получать прибыль от всех произведений мужа, написанных *до 1881 года*, то есть от «Детства», «Отрочества», «Юности», от «Севастопольских рассказов», «Казаков», «Войны и мира», «Анны Карениной» и других. Но это был куда более жесткий со стороны Толстого компромисс, чем раздел имущества весной того же года. В права Софьи Андреевны переходили *старые*, уже изданные и переизданные сочинения, а всё, что написал Толстой с 1881 года, со времени своего духовного переворота, и всё, что он писал в будущем, становилось достоянием всех. То есть *всех издателей*,

ибо отменить их право продавать свои книги и журналы Толстой не мог. Это он этих денег не получал, но тем более обогащал своих счастливых издателей. Получалась странная вещь: издатели могли обогащаться за счет произведений Толстого, да еще и не выплачивая автору и его семье положенного гонорара, а семья не могла.

Это было уже двойное противоречие. Во-первых, Толстой все-таки не до конца отказывался от прав. Софья Андреевна продолжала получать прибыль от старого корпуса произведений мужа, который продолжал жить с ней и волей-неволей пользоваться этими деньгами. Ясная Поляна не была доходным имением. По сути, единственным материальным источником существования супружеской пары и их несовершеннолетних детей были старые произведения Толстою. Во-вторых, отказавшись от гонораров, он перекладывал деньги в карманы издателей вместо того, чтобы, например, раздавать их бедным.

Отказ от авторских прав прошел для Толстого гораздо мучительнее раздела собственности. И неслучайно он решился на него только после раздела. Это была попытка рубить хвост в два приема.

За три дня до того, как в Ясную Поляну пришел свеженький номер «Книжек Недели» с первой публикацией сына Толстого, между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной назревала гроза будущей ссоры. Она заговорила с мужем о публикации в XIII томе собрания его сочинений, которое издавала она, «Крейцеровой сонаты». Добиться снятия цензурного запрета с публикации было трудно, для этого жене Толстого потребовалась аудиенция у царя, которая состоялась в начале апреля того же года. Софья Андреевна всё делала для того, чтобы «Крейцерова соната», пользовавшаяся успехом у публики, вышла в *ее* собрании сочинений Толстого. А у мужа эта издательская активность жены вызывала только раздражение. 5 марта он пишет в дневнике: «Соня говорит о печатании, не понимая, как мне это тяжело. Да, это я особенно больно чувствую, потому что мне на душе тяжело».

Ему было тяжело еще и потому, что Софья Андреевна вытребовала у него обещание, что публичное письмо об отказе от прав появится не раньше выхода XIII тома. Она очень хотела успеть заработать на «Крейцеровой сонате»!

Буквально на следующий день после того, как книжные полки Ясной Поляны пополнились сочинением Толстого-сына, Лев Николаевич объявил супруге, что напечатает в газетах свое отречение от авторских прав. Эти два события не были связаны. Но любопытно, что за два дня до этого между сыном и отцом состоялся загадочный разговор о «наследственности». «Он

настаивал, что она есть, – пишет Толстой в дневнике. – Для меня признание того, что люди не равны в leur valeur intrinsèque[14], всё равно, что для математика признать, что единицы не равны. Уничтожается вся наука о жизни. Всё время грустно, уныло, стыдно».

Что говорил Лёва, защищая принцип наследственности, мы не знаем. Но можно осторожно догадаться, что сын великого писателя подразумевал под этим.

Толстой похож на опутанного цепями медведя. Его сын толкует о «наследственности», а жена… «Я нынче утром сказал Соне с трудом, с волнением, что я объявлю о праве всех печатать мои писанья. Она, я видел, огорчилась. Потом, когда я пришел, она, вся красная, раздраженная, стала говорить, что она напечатает… вообще что-то мне в пику. Я старался успокоить ее, хотя плохо, сам волновался и ушел. После обеда она подошла ко мне, стала целовать, говоря, что ничего не сделает против меня, и заплакала. Очень, очень было радостно. Помоги, Отец».

Софья Андреевна тоже написала об этом в дневнике: «Нынче Лёвочка сидит, завтракает, принесли с Козловки газеты и письма, я говорю: “А мне всё нет известий о XIII томе”. Лёвочка мне на это говорит: “Да ты что хлопочешь, ведь я принужден буду напечатать, что я отказываюсь от всех прав на эти сочинения XIII тома”. Я ему на это сказала: “Только погоди, когда он выйдет”. Он сказал: “Разумеется”. Потом он ушел, а я стала злиться, что опять он хочет отнять у меня возможность получить немного лишних денег, которые так нужны всем моим детям. И придумала злобное сказать Лёвочке; когда он шел гулять, я ему сказала: “Ты напечатаешь, что отказываешься от прав, а я тут же напечатаю, что я надеюсь, что публика настолько деликатная, что не воспользуется правами, принадлежащими детям твоим”. Он стал доказывать мою неделикатность, но мягко; я молчала. Потом он сказал, что если я люблю его, то сама напечатаю это отречение от прав на его новые произведения. Он ушел, а мне стало его жаль, и так ничтожны показались мне имущественные интересы сравнительно с той болью, которую я испытываю от нашей обоюдной отчужденности друг от друга. После обеда я ему сказала, что жалею о том, что я сказала ему неприятное, и что ничего не напечатаю, а что мне дороже всего его не огорчить. Мы оба прослезились, тут стоял Ванечка и испуганно спрашивал: что? что? Я ему сказала: “Мама обидела папу, и мы помирились”. Он удовлетворился и издал звук: “А!”»

Но это было лишь началом семейной драмы. Дождавшись выхода XIII тома, Толстой напомнил жене, что его воля не изменилась и он пишет письмо в газеты. И тогда в Ясной Поляне

разразился скандал. Он кричал жене: «Уйди, уйди!» Она угрожала самоубийством и – каким! Она написала записку, что бросится на рельсы под поезд, как Анна Каренина. И даже побежала на станцию Козловка исполнять это решение, но ее вернул приехавший в этот момент на поезде зять Кузминский.

Вот в каком семейном контексте молодой Лев Львович *обрадовал* всех началом своей литературной деятельности. До него ли им было? На что он претендовал? На какое сочувствие?!

Справедливости ради надо сказать, что отец не был совсем равнодушен к его литературным опытам. Он читал их еще в рукописях, судил о них порой строго, но не безучастно.

4 января 1891 года Лев Львович писал в дневнике: «Папа́ занят и много пишет. Хочется и мне пописать. “Любовь” производит впечатление, надо напечатать, хотя многое уже не нравится мне. Впрочем, надо сделать, как Виктор Гюго, – учиться на следующих произведениях, а не сидеть на одном. Многое можно бы записать. Но зачем? Разве кому это нужно, разве кто уяснит мне».

А отец в это время смотрел на художественную литературу сверху вниз и писал «Царство Божие внутри вас». Тем не менее, он старался ободрить сына. Но и не сдерживая критики.

Весьма одобрительно он отнесся ко второму рассказу Лёвы «Монте-Кристо», который вышел в апрельском номере журнала для детей и родителей «Родник» в 1891 году тоже под псевдонимом «Л. Львов». Это нравоучительная история, как мальчик копил деньги на духовое ружье, а когда накопил девять рублей, отдал нищей погорелице, находясь под нравственным влиянием отца, который видел это из окна и одобрил поступок сына. Нищенка сказала: «Спасибо, ангел; тебя Бог не оставит!»

Рассказ милый, светлый, как и все последующие произведения Льва Львовича на тему детства. Но читая его, нельзя отделаться от ощущения, что не Бог руководил этим мальчиком, а отец, который следил за ним из окна.

Лёва радостно писал Черткову: «Рассказ свой я показывал отцу, и он одобрил, хотя сделал несколько замечаний и сказал, что написано неопытно, но содержание хорошее и что он бы в мои годы не выбрал такого, а стал бы писать про разбойников, например. Он сказал, чтобы я продолжал и поправлял рассказ и что он сам даже хочет украсть у меня содержание и написать на эту тему…»

И действительно в дневнике Толстого от 8 апреля 1890 года находим: «Читая Лёвино сочинение, пришло в голову: воспитанье детей, т. е. губленье их, эгоизм родителей и лицемерие. Повесть вроде Ивана Ильича».

Что имел в виду Толстой и каким образом детский рассказ связался в его голове с повестью «Смерть Ивана Ильича», не вполне понятно. Замысел этот не был реализован. Но сын получил поддержку от отца.

Однако не играл ли Толстой в поддавки? На эту мысль наводит его письмо в феврале 1891 года. «Мама́ приехала очень довольная тобой, что всегда очень радостно, и рассказывала про твой детский рассказ. Мне нравится и сюжет, и не боязнь перед избитостью его. Ничто не ново и всё ново. – Интересно будет прочесть».

Обратим внимание, что первой прочитала рассказ мама, в то время уже озабоченная апатичным состоянием сына и радовавшаяся любому проявлению в нем творческой энергии. Мог ли Толстой разругать его? Это означало бы не только обидеть сына, но и лишний раз расстроить жену. И это при той атмосфере, что тогда царила в семье!

Но рассказ «Любовь» ему категорически не понравился. Узнав от Лёвы, что издатель Дмитрий Николаевич Цертелев отказался его печатать в своем журнале «Русское обозрение», отец написал сыну: «Теперь о повести: я на месте Цертелева тоже не напечатал бы ее. Главное – два недостатка: герой не интересен, несимпатичен, а автор относится к нему с симпатией, а другое – неприятно действует речь студента, и его поучение ненатурально. Несимпатичен герой тем, что он барчук, и не видно, во имя чего он старается над собой, как будто только для себя. И оттого и его негодование слабо и не захватывает читателя».

Между тем, сюжет рассказа «Любовь» странным образом напоминает «Воскресение» Толстого-отца. Идею «Воскресения» в 1887 году подсказал юрист Анатолий Федорович Кони, и в рабочем варианте Толстой называл эту вещь «Коневской повестью». Роман «Воскресение» начат в конце 1889 году, а в конце 1890 года была завершена первая его редакция. Но Толстой не торопился с романом, вновь и вновь возвращался к нему и завершил лишь в самом конце девяностых годов. И конечно, в процессе создания роман обсуждался в семье, как это было принято. При этих обсуждениях мог присутствовать и Лёва.

Студент медицинского факультета Владимир Зверев от скуки едет в меблированные комнаты к проститутке Любе, которая сильно пьет. После отъезда Зверева она умирает от алкогольного отравления. Зверева приглашают в анатомический театр на «очень интересное вскрытие». В трупе молодой женщины он с ужасом узнает Любу. «А недурненькая была при жизни, славное тельце было!» – говорит во время вскрытия один «толстый, румяный студент» и улыбается «сладкой и глупой улыбкой». И

тогда Зверев взрывается! «– Подлецы вы все, звери!.. И я такой же!.. Славное тельце! Вы знаете ли, кто она? Знаете ли, кто убил ее? Это я, это вы, это вот именно то, что вы сказали сейчас, и убило ее. “Недурненькая была при жизни!” Какие мы все животные, какие подлецы!»

Прозрение Зверева очень напоминает прозрение князя Нехлюдова в «Воскресении», когда он видит в суде соблазненную им Катюшу Маслову ставшую проституткой. «Свеженькая, деревенская», – говорят о ней, предлагая клиентам. В начале романа Толстой подробно и с осуждением описывает утро князя Нехлюдова: курит дорогие папироски, умывается и принимает душ, вытираясь разными полотенцами, пьет кофе, обдумывает предстоящие визиты…

Начало рассказа «Любовь»: «Во-первых, утром он опять встал поздно, опять ругал своего лакея за то, что тот не мог разбудить его вовремя и опять опоздал в университет… После кофе, который он пил в первом часу, он опять выкурил несколько папирос, хотя каждый день решал бросить куренье, и поехал отдать два необходимых визита, имея намерение вернуться тотчас же домой и заниматься до ночи. Вместо этого, по дороге домой, он заехал к близким знакомым и остался у них обедать». Объелся, и поэтому вечером его потянуло к проститутке.

Рассказ Лёвы писался если не под воздействием еще не завершенного «Воскресения», то уж точно под влиянием нравственных убеждений отца. И даже какие-то черты его новой эстетики сын схватывал вполне верно. Он как бы торопился сказать *свое* слово *в духе отца.* Но… Рассказ был написан бледно, дидактично и без той пронзительной ноты самоосуждения и покаяния, которая составляет самое ценное в романе отца. У Лёвы все виноваты. Все подлецы! И он, студент Зверев, лучше других, потому что все-таки признает свою вину. Вот это-то и не понравилось отцу.

Его критика обращена не к писателю, а к сыну. Он не рассказ критиковал, а намекал Лёве, что тот не станет писателем и вообще не станет никем, пока не изменится внутренне. Но это были слишком завышенные требования для начинающего сочинителя.

Лёва хотел успеха, признания! Его обидело мнение «дяди Сережи», Сергея Николаевича Толстого. «Он говорит, что всё отцовское, чужое, и потому сокрушается тем, что рассказ напечатали не потому, что он куда-нибудь годится, а потому, что я сын отца. Это неправда, мне кажется, во-первых, а во-вторых, я пробовал без имени послать свои рассказы в «Русское обозрение» и шесть месяцев не получал ответа, пока сам не пошел и не

назвался. Но, и прочтя, рассказа Цертелев не принял, так что и то, что приняли «Любовь» (в журнале «Книжки Недели» – *П. Б.*) потому, что я сын отца, не имеет основания. А к чему скрываться? Что это за привилегия? Кривит душой редактор, а не я. Тем не менее дядя Сережа меня смутил больше других, я думал вчера взять да сжечь всё, что у меня написано, бросить писание. Но сегодня утром опять что-то роковое говорит мне, что я не должен бросать его, что это мое дело. Удивительно, несмотря на то, что папá, и братья, и сестры, кроме мама, не только не поощряют меня, а напротив, говорят скорее противное своим нерешительным отношением и отмалчиванием, несмотря на это, меня тянет к этому, и в свободные минуты мечтаю и целые драмы проходят у меня в голове. Время покажет…»

Беда в том, что он спорил с неоспоримой правдой. Его напечатали в первую очередь потому, что он был «сыном отца». Редактор «Книжек Недели» Павел Александрович Гайдебуров был поклонником Толстого. Именно в его журнале должна была выйти «Крейцерова соната», если бы не цензурное запрещение. 27 апреля 1890 года Гайдебуров лично посетил Ясную Поляну и встречался с Толстым.

Да и кого мог обмануть «Л. Львов», когда не только отец, но и вся их семья была в фокусе всеобщего внимания? Когда малейшая сплетня, связанная с Ясной Поляной становилась достоянием газет? Так, в мае 1890 года старшие сыновья Толстого были вынуждены поместить в «Новом времени» опровержение на публичный отчет Святейшего Синода:

«М. Г. господин Редактор.

В “Новом времени” от 8-го мая было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета Обер-Прокурора Св. Синода на 1887 год относительно распространения в Кочаковском приходе миросозерцания и нравственных убеждений графа Л. Н. Толстого, в котором мы прочли между прочим, что гр. Толстой уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего именья, так как старшие сыновья начали ограничивать его расточительность и преследовать проступки против его собственности и уже не дозволяют хищнически хозяйничать в его именье.

Не касаясь всего остального в его отчете и заметив, что отец признает только помощь *личным трудом*, а при таком воззрении нет места расточительности, что видно из его сочинений, а также из отчета господина Обер-Прокурора, где говорится, что граф Толстой при случае оказывает помощь *своими трудами*, мы, старшие сыновья графа Л. Н. Толстого, считаем долгом печатно

заявить, что мы не только никогда не позволяли себе ограничивать расточительность отца, на что мы не имеем никакого права, но что мы считали бы неуважительным всякое с нашей стороны вмешательство в его действия.

Сергей, Илья, Лев Толстые».

Тонкость заключалась в том, что сыновья действительно не смогли бы ограничивать «расточительность» отца, даже если бы этого захотели. У них тогда еще не было на это юридических прав. Но Софья Андреевна, которая к тому времени уже вела хозяйство Ясной Поляны на основании доверенности 1883 года, очень старалась ограничивать эту «расточительность».

Когда 11 декабря 1890 года Лёва приехал в Ясную Поляну и застал семью в тягостном душевном состоянии («У папа́ какое-то обиженное, грустное выражение. Он “жертвует собой”»), он не прокомментировал эту запись в дневнике. Но все в семье знали, о чем шла речь.

Софья Андреевна была вынуждена отдать под суд яснополянских мужиков, которые срубили в посадке тридцать берез. Именно 11 декабря они пришли просить барина о помиловании, то ли не зная, что барин уже по факту отошел от управления имением и всем правит барыня, то ли прибегая к обычной мужицкой хитрости: небось, барыня-то барина не ослушается, а барин-то добрый! Но Софья Андреевна настояла на суде, оказавшись в западне уже своей хитрости: пусть их сначала осудят, припугнут, а потом она их простит! Но решение суда не мог оспорить даже истец. Мужики провели шесть недель в остроге.

По иронии судьбы, коллективное письмо сыновей было первым выступлением Лёвы в печати. Первым появлением его настоящего имени в газетах. И вызвало оно куда больший общественный интерес, чем рассказы *господина Львова*.

21 мая 1891 года Толстой писал дочери Марии: «Лёвино вчера было рождение. Все забыли, и, я думаю, ему было грустно».

Глава четвертая
В голодные года

От колоса до колоса – не слышно голоса.

Поговорка о неурожае

«Террористы»

В июле 1891 года с Львом Львовичем случились два судьбоносных события. Но если первое было судьбоносным в прямом смысле, то второе – скорее, в провидческом.

Во-первых, он впервые столкнулся лицом к лицу с ужасным народным бедствием – неурожаем, который обещал страшные голодные осень, зиму и весну. Картина этого бедствия потрясла его настолько, что он, опять-таки впервые, задумался над тем, что он, лично, Лев Толстой-младший, может сделать для спасения десятков тысяч людей, мужчин, женщин, стариков и детей от голодной смерти. И как ему жить барином рядом со всем этим…

Во-вторых, он впервые встретился с будущим русским императором.

Но сначала о том состоянии, в котором пребывал Лев Львович в это время. Он находился на странном распутье, в котором нет никакого выбора. Одна дорога ясна, но идти по ней не хочется, а другого пути… пока нет.

Он и хочет бросить университет, и не решается на это. Писательская карьера, слабо поддержанная семьей и, прежде всего, отцом, представляется ему зыбкой. Пойти служить во флот, как он подумывал (видимо, больше из любви к путешествиям, чем к морской службе), не вышло.

Но уже замаячила надежда на жизнь помещиком, вдали от родителей, в самарских степях. Об этом он мечтал еще год назад, когда писал матери, отвечая скорее на собственный вопрос: что делать, если не учиться в университете? «Деревня, деревня и деревня. Оттуда надо бомбардировать, а если не можешь, так сидеть смирно и по крайней мере спокоен будешь и больше сделаешь». Что он имел в виду под словом «бомбардировать»? Бороться с несправедливостью, улучшать условия деревенской жизни, заниматься просвещением крестьян…

Это были те же мысли, что толкнули его отца бросить университет и отправиться в Ясную Поляну. И вот в апреле 1891 года Лев Львович де-факто стал помещиком. Ему досталось одно из самарских имений в Бузулукском уезде. И, конечно, как только представилась возможность, он поехал туда осмотреться.

Интересно, что отец, который пренебрежительно относился к учебе в университете первого сына Сергея, чем сильно его обижал, категорически настаивал на том, чтобы третий сын не бросал университет. В апреле 1891 года он писал жене в Москву: «Вчера получил от Лёвы коротенькое письмо. Он бодр, хотя опять жалуется на желудок. Мы с ним говорили про его университет.

Он поговаривал, что бросит, и я очень внушаю ему, что это будет вредно, дурной antécédent[15], который ослабит его, что это гигиенически нравственно нехорошо. И с радостью увидал в письме, что он занимается и находит удовольствие в переводе Цицерона, про которого прежде говорил с тоской. Вспомнил о тебе, что ты права, когда говоришь, что он очень легко поддается влиянию и что ему надо говорить, что я и делал. Вообще он хорош. Помогай ему Бог».

Из этого письма можно понять, что *проблема Лёвы* стояла в семье уже весьма остро. Из живого, смышленого мальчика он на глазах превращался в молодого человека без определенного будущего, а главное – больного, только непонятно – чем. Поэтому отец и не предъявлял ему повышенных требований – пусть уж лучше в университете учится! В то же время он не мог не чувствовать, что это самый духовный из его сыновей. «Ближе всех ко мне после Маши, Лёва… – пишет Толстой Ольге Алексеевне Баршевой и Марье Александровне Шмидт 22 мая 1891 года. – Он идет вперед, живет. Что будет, не знаю, но с ним мне радостно общаться».

Но Лев Львович и сам не знал, что с ним будет. При этом отдавал себе отчет в том, что он слаб. И одновременно грезил каким-то грандиозным будущим.

«Я смотрю на мир не так, как все, – пишет он в дневнике, – кроме того, я вижу всё и понимаю, правда у меня мало силы, внимания меньше, чем у других, у папá, например, но это вырабатывается, развивается, как мускулы. А если я – не писатель, если у меня нет способностей на это, у меня есть еще гораздо более важное и великое дело. Я отдалил выбор, потому что всё к лучшему на этом свете…»

Но пока всё складывалось далеко не к лучшему. Впервые отправившись в Самарскую губернию уже в качестве помещика, он столкнулся с той же нравственной проблемой, которую безуспешно пытался разрешить его отец.

Письмо матери от 14 июля 1891 года заслуживает того, чтобы привести его почти целиком, потому что здесь впервые слышен голос зрелого Льва Львовича, превратившегося из юноши в мужчину буквально за несколько дней…

«Всё выгорело так, что трудно собрать даже семена. Мужики бедствуют ужасно. Нанимаются работать за бесценок только для того, чтобы не умереть с голоду. В первый раз я вижу такое явление. К Алексею Алексеевичу (Бибикову, соседу-помещику – *П. Б.*) нанялись рабочие по 1 р. 75 копеек за десятину на его хлеба. В Патровке мужик нанял себе рабочих за 1 р. 25 копеек и пуд за десятину, но еще приплатили хозяину по 15 копеек с человека за

хлеб. Стало быть, чтобы работать, они платили, а не им платили. Вообще здесь – не то, что в Туле, – этот год, после ряда голодных годов, совсем пришибет народ. Вчера я говорил с патровскими мужиками и удивлялся их отношению к этому. Они бравируют своим положением и смеются над собой.

– Что ж, – говорят, – вот хлеб уберем, съедим в месяц, а там и издыхать будем.

Григорий Максимович (самарский приказчик – *П. Б.*) сказал им на это, что правительство поможет им.

– Ну, это, – говорят, – опора плохая, на это нечего надеяться; какие там семена, да еще не всхожие дадут, вовсе без хлеба останешься.

Одним словом, положение здесь очень тяжелое, и утешение только в том, что человек из всякой беды выпутывается, или в том, что пускай, мол, мужики помирают, они всегда только и делают, что умирают, не физически, так духовно.

Так вот, рядом со всем этим, милая мамаша, есть и наше хозяйство. Оно заключается в том, чтобы тянуть с мужика его последние деньги, или скотину, или хлеб за ту землю, которую он у нас арендовал и которая ничего не принесла ему. Григорий Максимович – очень старается покупать так: задерживает в поле хлеб, сено, пока мужик не заплатит деньги, продавши скотину за бесценок. Так что Григорий Максимович – очень хороший приказчик и обещается Вам доставить, если Вы не будете требовать теперь, весной тысяч 8–10. Мужики сымают землю. Пришла пора уборки. Денег у них нет, они платят нам хлебом. Весной мы продаем хлеб за двойную цену, и вот доход удваивается. Урожай нашего посева очень удовлетворителен в сравнении с другими, и он не только окупит расходы, но, может быть, и даст около 1000 рублей. Кроме того, луга и земли сданы за 8, так что, может быть, будет доход. Но всё очень гадательно.

Во-первых, Вы видите, как трудно брать с мужиков последнее, во-вторых, и урожай наш может дать гораздо меньше. Из всего этого, как всегда, я опять заключаю, что хозяйничать нельзя, потому что это сплошной грех, сплошное насилование совести. Я обманываю себя, говорю, что это вовсе всё не так, как мне кажется, мужики врут, клянчат, у них есть, чем заплатить мне, но когда отдаешь себе отчет во всем этом, видишь, насколько ты не прав, и делается совестно.

Вчера я ездил в Бобровку смотреть свои будущие богатства. Отсюда верст 40. Мы приехали к мужику Жданову, одному из наших арендаторов, и пили у него чай. Он рассказывал нам, что они «обессилели» и хотят отказаться от аренды.

Во мне пока сидят двое. Один, попросту сказать, хороший,

другой – дурной. Один видит и говорит, что скверно наживать себе состояние, знает, что от трудов праведных не наживешь палат каменных; другой, алчный и довольно энергичный, говорит, что вот выгода в чем, вот, где можно нажить себе денег, и выходит это у него очень соблазнительно и приятно. Эти два господина, несомненно, не любят друг друга. Не знаю, кто победит из них, пока знаю только, что они оба во мне, каждый заявляет свои права…»

«В этот год по всей России была страшнейшая засуха, – писал Лев Львович в поздних воспоминаниях. – Хлеба погибали на корню, а в Самарской степи, в буквальном смысле, “от колоса до колоса не было слышно человеческого голоса”. Черная земля растрескалась так, что образовались щели, через которые местами приходилось перепрыгивать. Все колодцы и пруды пересохли до дна, и придвигался небывалый голод… В селах, когда я останавливался в Гавриловке или Патровке, крестьяне обступали меня, говоря, что пришел их конец. В этих местностях народ живет исключительно хлебом. Неурожай – и у него нет ни пищи, ни денег…»

В этом настроении он встретился со старшим братом Сергеем, который приехал в самарское имение с поручением от матери. В это время через самарские степи проезжал цесаревич Николай Александрович, будущий последний русский император. Он возвращался из своего длительного путешествия на Восток, которому при дворе придавался огромный символический смысл. Значение путешествия было не только в том, что двадцатидвухлетний наследник престола отправился в свое первое путешествие по миру и России – такие воспитательные поездки были приняты со времен Петра Первого. Важна была именно *восточная* составляющая этой поездки. По словам сопровождавшего его князя Эспера Эсперовича Ухтомского, будущий император отправился «в ту сторону куда лежит историческая дорога, по которой продвигается русский народ».

Путешествие заняло почти год. Через Вену и Триест наследник отправился в Грецию, а затем в Египет. Из Египта – в Бомбей, а затем через Индию на Цейлон. Он посетил Яву и Бангкок, прибыл в Нанкин и путешествовал по Китаю. В Японии близ Киото на него было совершено покушение, он был ранен. От Владивостока он проехал через Дальний Восток, Сибирь и Урал, вернувшись в Санкт-Петербург из Оренбурга по железной дороге.

Лев и Сергей, конечно, захотели увидеть молодого наследника и при возможности быть представленным ему. Село, в котором он должен был остановиться на ночлег по дороге в Оренбург, находилось в сорока верстах от хутора Бибикова, где

жил Лев. Но близкий знакомый Сергея князь Ухтомский решительно отклонил просьбу и сказал, что наследник слишком устал, чтобы говорить с новыми людьми. В результате они могли увидеть его мельком.

Ради приезда наследника на скромном хуторе был выстроен большой дом с электрическим освещением. «Когда мы приехали в село, где ждали Наследника, – пишет Лев Львович, – я стал в толпе народа около сельской деревенской церкви. Вдали показалось облако черной пыли, потом головы и дуги бешено скакавших потных лошадей, и несколько троек с бубенцами вкатили в село и круто остановились около церкви. Наследник первый выскочил из своей коляски. Проходя мимо меня на паперть церкви, он с удивлением оглянулся на мой студенческий мундир с золотыми пуговицами среди народа и быстро вошел в церковь».

Можно предположить, что молодой Николай был не только удивлен, но взволнован, если не напуган присутствием Льва Львовича. Кто-кто, а студенты никогда не были опорой русского самодержавия. После покушения на Николая в японском городке Отцу, где самурай-полицейский нанес ему два удара мечом по голове (от смерти его чудом спас находившийся рядом греческий принц Георг), цесаревич мог заподозрить новое покушение, когда вдруг увидел на хуторе среди мужиков… студента!

Лев Львович, кажется, не понял этого. Он был недоволен тем, что наследник не пожелал встретиться с братьями Толстыми. «Это было моим первым отрицательным впечатлением от окружения Наследника Николая Александровича, и моя надежда – познакомиться с ним и когда-нибудь с ним вместе работать на пользу России – была этим сразу омрачена…»

В отличие от отца, Лев Львович уже в молодости придавал большое значение возможности знакомства с царской семьей. Тем самым он тоже был ближе к матери, чем к отцу. Софья Андреевна гордилась своими встречами с членами императорской фамилии. Все-таки и ее отец, и родной дядя были гоф-медиками. Первая встреча с императрицей Марией Федоровной, супругой Александра III и матерью цесаревича Николая, в феврале 1885 года произвела на Софью Андреевну сильное впечатление. Знакомство было случайным – в Николаевском женском институте, начальницей которого была двоюродная тетка Софьи Андреевны Екатерина Николаевна Шостак.

В мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна весьма скупо описала свою первую встречу с представительницей царствующей династии. Но из письма к мужу от 21 февраля 1885 года из Петербурга, где она находилась со старшей дочерью Татьяной,

можно понять, как она была взволнована этим событием!

«Сидим мы с ней (Шостак – *П. Б.*), говорим, вдруг говорят: “Императрица!” Я говорю: “покажите мне ее откуда-нибудь”. Екатерина Николаевна вскочила, как стрела, кричит: “Скорей мою палку” (у ней нога больная, ходит с палкой), потом обращается ко мне “Sophie, restez”[16], и убегает… Ждали, ждали, вдруг гул, шум, кричат: “идет”. Пролетает дама с нотами и мимоходом говорит: “L’impératrice fera une visite à Madame Schostak”[17]. Мы смутились, было, но скоро всё шествие прошло мимо нас. Я думала – тем и кончится, но Екатерина Николаевна крикнула: “Sophie, venez et[18] Таня”. Я подошла, она меня представила императрице, потом позвала Таню, и тут я сказала: “ma fille”[19]. Признаюсь чистосердечно, я была очень взволнована, но не растерялась. Она, т. е. императрица, спросила: “Il y a longtempts que vouz êtes arrivée”. Я говорю: “Non, Madame, depuis hier seulement”[20]. Потом пошли в залу. Императрица опять обратилась ко мне: “Votre mari se porte bien?”. Я говорю: “Votre Majesté est bien bonne, il se porte bien”. “J’espère qu’il écrit quelque chose”[21] Я говорю: “Non, Madame, pas en ce moment; mais je crois qu’il se propose d’écrire quelque chose pour les école, dan le genre de «Чем люди живы»”[22]. Екатерина Николаевна вмешалась, говоря: “Il n’écrira jamais des romans, il l’a dit à comtesse Alexandrine Tolstoy”[23]. Императрица говорит: “Est-ce que vous ne le désirez point, cela m’étonne”[24]. И обратилась ко мне. Я ей говорю: “J’espère que les enfants de sa Majesté ont lu les livres de mon mari”[25]. Она качнула головой и говорит: “Oh, je crois bien”[26]. Затем она села, началось пенье, и скоро она уехала».

Софья Андреевна была довольна собой. Она сумела и лицо сохранить, напомнив императрице, что она жена великого писателя, над «Севастопольскими рассказами» которого еще подростком рыдал ее венценосный муж (в этом, возможно, был двойной смысл вопроса: читают ли Льва Толстого их дети?); и поддержать великосветский разговор, не переступая границ приличий. Потому что если бы она переступила эти границы, она могла бы сказать Марии Федоровне, что именно в это время, зимой 1885 года, было запрещено к печати произведение Толстого «Так что же нам делать?». Оно было вырезано из готового набора в журнале «Русская мысль». Именно этой зимой в Париже в переводе на французский вышла книга Толстого «В чем моя вера?», тоже запрещенная в России. Да и сам приезд Софьи Андреевны в Петербург был связан с хлопотами в связи с цензурным запрещением двенадцатого тома собраний сочинений ее мужа.

Но Софья Андреевна повела себя правильно. Говорить об

этом императрице было бы и бестактно, и бессмысленно. Вопросы цензуры не входили в сферу ее влияния. Но можно не сомневаться, что Толстой морщился, читая это письмо жены.

В ответном письме Толстой отозвался об этой встрече иронически. «Костинька (К. А. Ислави́н – дядя Софьи Андреевны – *П. Б.*) был утром, только что Лёля прочел твое письмо, и Лёля, встречая его, говорит: Мама с Императрицей говорила. Костинька, ни минуты не задумываясь, сказал: Теперь могу спокойно умереть. Ныне отпущаеши раба Твоего».

Неудавшаяся встреча братьев Толстых с цесаревичем завершилась курьезом, впрочем, весьма опасным. Братья Толстые решили ехать за цесаревичем и его свитой до Оренбурга…

«Мы остановились в гостинице и начали день с осмотра знаменитой в городе мечети. Особенно интересовался ею наш башкирец Нагим, которого Сережа взял с собой как знатока лошадей. Выйдя из мечети, мы заметили каких-то странных людей, сидевших тут и там на площади и следивших за нами. Мы подошли к свободной скамейке и сели отдохнуть. Один из этих странных благообразных господ, чисто одетый, сидевший рядом с нами, вдруг обратился к брату Сергею и учтиво спросил его, зачем мы приехали в Оренбург.

– Бомбы бросать, – сердито бухнул Сережа, злобно глядя на него из-под очков.

Впечатление получилось необычайное, точно действительно разорвалась страшная бомба.

На площади произошло движение, люди бросились бежать куда-то, и когда мы вернулись в гостиницу, у подъезда ее и по лестницам стояли полицейские, а номер наш был запечатан печатью.

С нас потребовали подписку о немедленном выезде из города, которую Сережа дал, а я дать отказался, и мы, не успев посмотреть и купить лошадей, уехали на станцию.

Особенно огорчен был достойный и красивый Нагим, молча мотая головой, украшенной расшитой позолотой тюбетейкой.

– Ну, разве возможно, – шептал он, – та, та, та, та».

Вскоре после этого Лев Львович из Самары отправился в свое второе путешествие по России. Вернувшись в Ясную Поляну, он нашел, что там *невесело*. «Учение отца и отношение его самого к жизни продолжали отравлять ее атмосферу».

Граф, сын графа

Биограф Льва Львовича Валерия Абросимова пишет, что отец «пропустил момент наивысшей близости взрослеющего сына». Увы, это так Работа двух Львов на голоде стала и одной самых светлых страниц биографий отца и сына, и временем их первого серьезного, «взрослого» расхождения друг с другом. То, что должно было их сблизить, стало предметом спора.

Сын мог гордиться тем, что раньше отца понял необходимость помощи голодным. Вернувшись из второй поездки по России, он рассказал домашним о том бедствии, что надвигается на самарские степи. Да и приведенное выше письмо к матери, без сомнения, читал отец, потому что так было принято в семье Толстых (а если письмо предназначалось одному члену семьи, на это указывалось в начале: «Читай одна», например).

О том, что некоторым российским губерниям грозит массовый голод, знал, разумеется, не один Лев Львович. Это широко обсуждалось в обществе и было предметом оживленных газетных дискуссий. Все образованные люди в общем-то понимали, что крестьянам нужно помогать. Если не из нравственных, то практических соображений. Крестьянство было основой России, и всякий разумный помещик осознавал, что умерший от голода крестьянин не накормит самого помещика. Но у Толстого-отца была своя точка зрения на этот вопрос.

Это может показаться странным, но до осени 1891 года Толстой *не считал нужным спасать крестьян*. Его нравственный радикализм проявился здесь наиболее парадоксально. В народных бедствиях виновато образованное сословие, но именно поэтому образованное сословие не имеет нравственного права помогать голодным. Те, кто кормятся за счет крестьян, не имеют права кормить самих крестьян.

Когда в июне 1891 года Николай Семенович Лесков написал ему, что «теперь во многих местах обозначается большой неурожай хлеба, угрожающий голодом», Толстой ответил письмом, в котором впервые изложил свою позицию в этом вопросе. Она состояла в том, что собирать образованным «миром» деньги и покупать хлеб голодающим – это соблазн и прямой грех. «Если этот хлеб, который был и есть теперь, или ту землю, или деньги, которые есть, разделили так, что остались голодные, то трудно думать, чтобы тот хлеб или деньги, которые дадут теперь, – разделили бы лучше. Только новый соблазн представят те деньги, которые вновь соберут и будут раздавать…»

Но что же делать?! На это Толстой отвечал: «Доброе же дело

не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому, что можно кормить и не любить, то есть делать зло людям, но нельзя любить и не накормить…»

В это время он задумал большую статью «О голоде», которая была закончена в октябре 1891 года и отправлена в журнал «Вопросы философии и психологии». Это был очень популярный журнал того времени. Статья была набрана, но на номер журнала цензура наложила арест. Впервые она появилась на английском языке в январе 1892 года – в газете Daily Telegraph.

В этой статье Толстой образно изложил свой взгляд на помощь голодным.

«Грудной ребенок хочет кормить свою кормилицу; паразит – то растение, которым он питается! Мы, высшие классы, живущие все *им*, не могущие ступить шагу без *него*, мы *его* будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное.

Детям дали лошадь – настоящую, живую лошадь, и они поехали кататься и веселиться. Ехали, ехали, гнали под гору, на гору. Добрая лошадка обливалась потом, задыхалась, везла, и всё везла, слушалась; а дети кричали, храбрились, хвастались друг перед другом, кто лучше правит, и подгоняет, и скачет. И им казалось, как и всегда кажется, что когда скакала лошадка, что это они сами скакали, и они гордились своей скачкой…

Долго веселились дети, не думая о лошади, забыв о том, что она живет, трудится и страдает, и если замечали, что она останавливается, то только сильнее взмахивали кнутом, стегали и кричали. Но всему есть конец, пришел конец и силам доброй лошадки, и она, несмотря на кнут, стала останавливаться. Тут только дети вспомнили, что лошадь живая, и вспомнили, что лошадей поят и кормят, но детям не хотелось останавливаться, и они стали придумывать, как бы на ходу накормить лошадь. Они достали длинную палку и на конец ее привязали сено и, прямо с козел, на ходу подносили это сено лошади. Кроме того, двое из детей, заметив, что лошадь шатается, стали поддерживать ее; и держали ее зад руками, чтобы она не заваливалась ни направо, ни налево. Дети придумывали многое, но только не одно, что должно бы было им прежде всего прийти в голову, – то, чтобы слезть с лошади, перестать ехать на ней, и если они точно жалеют ее, отпрячь ее и дать ей свободу».

Вывод автора был прост: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты».

Когда отрывки из статьи в обратном переводе с английского были перепечатаны в газете «Московские ведомости», редакция сопроводила это комментарием, где говорилось, что статья

Толстого является проповедью «самого разнузданного социализма». При всем очевидно доносительском духе этого поступка редакция была по сути права. В статье Толстого несомненно была проповедь самого крайнего социализма.

Не случайно статью внутренне не принял даже желавший ее напечатать редактор «Вопросов философии…» Николай Яковлевич Грот, который писал автору: «Ваши письма все-таки полны раздражения, злобы и презрения к богачам».

Статьей был возмущен философ Николай Федорович Федоров. При встрече с автором он не подал ему руки. И можно понять его мотивы: отрицая право образованных людей на «кормление» у крестьян, Толстой отрицал право на культуру.

Статья отца смутила и сына Льва. «Во всем я с тобой согласен, – писал он, – исключая такие места, где, мне кажется, ты не соблюдаешь того, что сам предлагаешь в конце статьи – кротости и любви ко всем людям без исключения, в крахмальных рубашках и в посконниках».

И здесь таилось, пожалуй, самое главное расхождение сына с отцом. Молодой Лев готов был помогать голодающим. Но не готов был осуждать себя за то, что кормится работой этих самых голодных мужиков. Как в письме к матери он раздваивался в себе – христианине и помещике – так и в случае со статьей отца не мог признать его нравственного радикализма.

В процитированном выше письме Толстого к Лескову о народном голоде цепляет внимание фраза, которая опрокидывает предыдущие логические построения о том, что кормимые не имеют морального права кормить кормящих, «…дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, то есть делать зло людям, но нельзя любить и не накормить».

Но если нельзя любить и не накормить, значит, надо накормить! Иначе, в чем смысл этой любви?

И Толстой в действительности поступает именно так. Против того, что он утверждает в статье «О голоде».

Но происходит это вовсе не потому, что Толстой пересматривает свои убеждения на этот вопрос, как иногда говорится в литературе, посвященной этому моменту его жизни. Что значит пересмотрел свои взгляды? Толстой был далеко не мальчиком в этом вопросе. Еще в 1873 году он видел в своем самарском имении то, чем его сын будет потрясен двадцать лет спустя. И тогда же впервые принял самое живое участие в борьбе с голодом, не только не гнушаясь прибегать к помощи богатых людей, но и написав воззвание к ним через газету «Московские ведомости».

«Прожив часть нынешнего лета в деревенской глуши Самарской губернии и будучи свидетелем страшного бедствия, постигшего народ, вследствие трех неурожайных годов, в особенности нынешнего, я считаю своим долгом описать, насколько сумею правдиво, бедственное положение сельского населения здешнего края и вызвать всех русских к подаянию помощи пострадавшему народу».

Для того чтобы написать это письмо, Толстой объехал в радиусе семидесяти верст от хутора, где он жил со своей семьей, все деревни вокруг. Составив общее впечатление о грозившей катастрофе, он обошел и описал в цифрах состояние двадцати трех дворов ближайшего села Гавриловка. Это описание, заверенное старостой села, было послано в газету, но позже Толстой понял, что допустил ошибку. Он описывал каждый десятый двор, считая такую статистику достаточной, а в результате многие пожертвования приходили только на адрес упомянутых дворов.

Кроме воззвания в газете Толстой обратился к тетушке Александре Андреевне Толстой, фрейлине императорского двора,

имевшей большое влияние на императрицу. И в этом письме он взывал к совести богатых и влиятельных людей. «Если вы захотите и можете заинтересовать сильных и добрых мира сего, которые, к счастию, одни и те же, то дело пойдет».

Чем руководствовался Толстой? Только внутренним переживанием от увиденного и осознанием того, что может случиться в скором времени. «Я не люблю писать жалостливо, но я 45 лет живу на свете и ничего подобного не видал и не думал, чтобы могло быть. Когда же живо представишь себе, что будет зимою, то волос дыбом становится. Сейчас – уже письмо написано было – мы узнали, что заболел холериной молодой мужик – жнец. Есть нечего, кроме дурного черного хлеба, и если бы это не было около нас, то очень может быть, что этот человек бы умер от недостатка хорошей пищи для ослабевшего желудка. Особенно поразительно и жалко для того, кто умеет понимать эту терпеливость и скромность страдания русского человека – спокойствие, покорность. Нет хорошей пищи, так и нечего жаловаться. Умрет – воля Божия. Точно не овцы, но добрые, сильные волы выпахивают свою борозду… Упадут – их оттащат, другие потянут…»

И в этом же письме: «…людей простых, хороших, здоровых физически и нравственно, когда они страдают от лишений, жалко всем существом – совестно и больно быть человеком, глядя на их страдания».

Результаты стараний Толстого превзошли все ожидания. Всего было получено от частных лиц до одного миллиона восьмисот шестидесяти семи тысяч рублей деньгами и до двадцати одной тысячи пудов хлеба. Под влиянием тетушки супруга царя Мария Александровна также участвовала в этой помощи, что увеличило до астрономических размеров количество пожертвований…

В этой истории была одна тонкость. На самом деле инициатором письма в газету был не Толстой, а Софья Андреевна. Именно она, находясь с мужем на самарском хуторе, первая решила написать письмо к газету с просьбой о помощи голодающим. «Статью эту я показала Льву Николаевичу, – пишет она в воспоминаниях. – “Кто же тебе поверит без всяких данных”, – сказал он. И тут же решил объехать с братом Степой ближайшие деревни и сделать опись семей и едоков по избам…»

Это подтверждается и письмом Толстого к Страхову: «Письмо же о голоде было вызвано, с одной стороны, женою, которая порадовала меня живым и искренним сочувствием к народу, с другой, тем, что там глупый губернатор только принял губернию и нашел, что голод в народе есть неприличное явление для

губернатора, принявшего губернию, и не только не хлопотал о пособии, но с азартом требовал в нынешнем году сбора всех недоимок».

Любопытно, что это письмо Страхову было написано как бы в оправдание поступка, который совершил Толстой – письма в «Московские ведомости». Но еще более любопытно, что в письме самого Страхова, на которое отвечал Толстой, не было ни слова об этом письме в газету. Толстой не только не гордился своим поступком, но оправдывался за него. Любовью к жене, глупостью губернатора… Чем угодно, но не тем, что он, граф, решил спасти свой народ от голода. А ведь ни о каком духовном перевороте тогда речи еще не шло.

Та же ситуация повторилась осенью 1891 года. С той только разницей, что чувство *греха и стыда* перед народом переживалось Толстым уже в исключительной степени. И решиться, назовем вещи своими именами, на *благотворительную акцию* по отношению к русским крестьянам было для него мучительно. Более мучительно, чем переписать свою собственность на имя жены и детей. И опять, как в 1873 году, вышло, что инициатором этого решения вроде бы оказался не сам Толстой, а его друг – Иван Иванович Раевский.

Толстой и Раевский

История работы Толстого на голоде в имении Раевского Бегичевка Рязанской губернии Данковского уезда вызывает много вопросов. Во-первых, почему он отправился помогать голодающим в другую губернию? Во-вторых, почему «штабом» для борьбы с голодом был выбран не дом в Ясной Поляне, а усадьба Раевского? И, наконец, кому первому пришла в голову идея устраивать бесплатные столовые, или «сиротские призрения», как их называли в народе?

Когда летом 1891 года в обществе заговорили о надвигающемся на Россию бедствии («За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде…» – пишет Толстой в начале статьи «О голоде»), Лев Николаевич оказался в сложном положении. Он сочувствовал крестьянам и понимал, что единственным средством помощи голодающим может быть государственная поддержка через земства вместе с частной благотворительностью. Но по своим убеждениям участвовать в этом он не мог.

Как раз в это время он работает над книгой «Царство Божие внутри вас», где выступает противником государства. Именно в этом году делает всё возможное, чтобы остаться без денег: отказывается от собственности и конфликтует с женой по вопросу об авторских правах. И складывается парадоксальная ситуация. Чтобы помогать голодным, нужны деньги, и чем больше, тем лучше. А все его душевные усилия этого года ушли на то, чтобы от этих проклятых денег избавиться!

Казалось бы, что придумывать! Запроси у издателей солидный аванс под будущее произведение. Но на это он пойти не может. И остаться в стороне от голода не может. Получается замкнутый круг.

Буквально на следующий день после отправки письма с отказом от авторских прав в «Русские ведомости» в гостях у Толстого был сосед-помещик Евгений Владимирович Львов, и они говорили о голоде. После этого Толстой не спал до четырех часов ночи, «всё думал о голоде». «Кажется, нужно предпринять столовые», – пишет он в дневнике и говорит об этом с женой, но разговора у них не получается.

19 сентября, в день выхода номера газеты с отказом от авторских прав, Толстой с дочерью Татьяной отправляется в имение своего брата Сергея Николаевича Толстого Пирогово и едет по ближайшим деревням, чтобы ознакомиться с положением крестьян. Но идея столовых не вызывает энтузиазма у старшего

брата. Толстой пишет в дневнике: «Из столовых до сих пор ничего не выходит. Боюсь, что я ошибся». И здесь же мучительно размышляет, как решить проклятый вопрос о деньгах? «Можно так сказать: употребление денег – грех, когда нет несомненно нужды в употреблении их. Что же определит несомненность нужды? Во-первых, то, что в употреблении нет произвола, нет выбора, то, что деньги могут быть употреблены только на одно дело; во-вторых (забыл)… И мне нехорошо и телом и духом…»

Его раздражают публичные разговоры о голоде! «Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасать их. И как это противно! Люди, не думающие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему Тут или тщеславие – высказаться, или страх, но добра нет».

Добра нет. Но он понимает, что не желая сам иметь дело с деньгами и перекладывая это на жену и старшего брата, он ведет себя аморально. Нет других способов накормить голодных как только посредством ненавидимых им денег. Дочь Толстого Татьяна Львовна в дневнике назовет это состояние выбором между «first best» и «second best» (самое лучшее и не самое лучшее). Выбор «first best» диктуется завышенными моральными требованиями к людям, которые в целом живут неправильно. «Неужели люди, теперь живущие на шее у других, не поймут сами, что этого не должно, не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят?» – пишет он в дневнике. Да, но пока они слезут, от голода будут умирать люди. А спасти их могут только те, кто сидят у них на шее. И Толстой выбирает «second best».

Но при этом ему «грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно, виновато, мучительно. Отче, помоги мне делать волю Твою».

Может показаться, что Толстой заблудился в двух соснах. Но на самом деле он оказался перед серьезным и опасным для его мировоззрения противоречием. Подвергается испытанию всё, к чему он пришел за последние десять лет. В его новом миропонимании деньги и собственность это абсолютное зло, а с помощью зла нельзя творить добро. Но живое чувство сострадания к людям говорит обратное: как раз с помощью денег или обладая собственностью, можно совершить прямое христианское дело: накормить голодных. И он, Толстой, может сделать это дело, а может отказаться от него. Но соглашаясь на это дело, он способствует торжеству зла и несправедливости на земле. И потому это не выбор «second best», а прямой выбор *греха, сотрудничество со злом*.

Какое-то время он колеблется. Дела в окрестностях Ясной Поляны обстоят не так плохо. У крестьян, по крайней мере, есть

картофель. Но уже дальше, в Ефремовском уезде, он видит иную картину: «из 70-ти дворов есть 10, которые кормятся еще своим. Остальные сейчас, через двор, уехали на лошадях побираться. Те, которые остались, едят хлеб с лебедой и с отрубями, который им продают из склада земства по 60 копеек с пуда…»

Толстой знает, что это такое. «Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют».

И всё же неизвестно, как проявилось бы участие Толстого в борьбе с голодом, если бы на его пути не появился его старинный друг Иван Иванович Раевский, помещик села Бегичевка Рязанской губернии. В том нерешительном положении, в каком находился Толстой летом-осенью 1891 года, ему необходим был толчок извне. Этим толчком, этой «палочкой-выручалочкой» и оказался Раевский.

Раевский был одним из редчайших знакомых Толстого, с которым он был на «ты». Они познакомились в конце пятидесятых годов в Москве, когда Толстой вернулся с Севастопольской кампании. И сразу подружились. Раевский был старшим сыном Ивана Артемьевича и Екатерины Ивановны Раевских; отец его происходил из старинного дворянского рода. Жажа, как его звали в семье, родился 26 октября 1835 года и с детства удивлял всех своими умственными способностями. В возрасте семи лет он свободно говорил по-французски и по-немецки, отлично читал и писал по-русски и знал все четыре действия арифметики. После гимназии Иван поступил в Московский университет на физико-математический факультет, который успешно окончил кандидатом по чистой математике. Некоторое время он служил чиновником по ведомству народного просвещения, но затем его потянуло в деревню, где он погрузился не только в хозяйство, но и в общественную деятельность. Раевский стал одним из самых активных земских работников Данковского уезда Рязанской губернии.

Он принадлежал к просвещенным помещикам, которые стремились поставить хозяйство на научную основу. Он выписывал из-за границы машины и удобрения. Ему доставляли «гуано» из Чили, то есть, попросту говоря, чилийский навоз. Мужики смеялись над ним: «Барин наш молодой из-за моря теперь г…. покупает, видать, своего хватать не стало».

С Толстым они познакомились в зале гимнастического общества на Большой Дмитровке. Молодой Толстой был большой поклонник гимнастики. В некрологе памяти Раевского он вспоминал: «Мне было под 30, ему было с чем-то двадцать, когда мы встретились. Я никогда не был склонен к быстрым

сближениям, но этот юноша тогда неотразимо привлек меня к себе, и я искал сближения с ним и сошелся с ним на «ты». В нем было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровье, свежесть, молодечество, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование… Но больше всего влекла к нему необыкновенная простота вкусов, отвращение от светскости, любовь к народу и главное – нравственная чистота, теперь редкая между молодыми людьми, а тогда составляющая еще большее исключение. Я думаю, что он никогда в жизни не был пьян, не участвовал в кутеже, не говоря уже о других увлечениях».

Еще они сблизились на почве охоты, вместе участвовали в медвежьей охоте. Но впоследствии разошлись и почти не виделись друг с другом, отчасти из-за расстояния между Бегичевкой и Ясной Поляной, отчасти из-за того, что Толстому с его новыми взглядами Раевский стал казаться обычным помещиком. Сам Раевский не только никогда не пытался следовать взглядам Толстого, но и не разделял их. Да и натуры их были разные. Толстой имел за плечами бурную и страстную молодость, а Раевский, по убеждению его друзей, не знал в жизни ни одной женщины, кроме своей жены.

Раевский раньше Толстого начал бороться с голодом. Он искренне переживал несправедливость социального неравенства. Оправдание своему положению он искал в культурном влиянии на крестьян и в земской службе. С возникновением угрозы голода он пришел еще к одной мысли. Смысл существования помещичьего хозяйства заключается в том, чтобы быть «страховым капиталом народа». Это была вполне морально здравая идея: крепкое помещичье хозяйство как гарантия благоденствия народа и спасения его в неурожайные годы. Но она явно противоречила взглядам, к которым пришел Толстой. Тот факт, что Толстой не просто согласился сотрудничать с Раевским, но и на первых порах оказался в роли его помощника, гораздо больше говорит о Толстом-человеке, чем его статья о голоде. А то, что Раевский с готовностью уступил Толстому первенство в этом деле в своем собственном имении, многое говорит нам о характере Раевского.

Идея народных столовых была не нова. Но Раевский раньше Толстого решился на это. Когда летом 1891 года Толстой в Ясной Поляне еще только размышлял о голоде, о том, нравственно или безнравственно кормимым кормить кормящих, Раевский, по воспоминаниям учителя его детей Алексея Митрофановича Новикова, «уже раскинул ряд учреждений для кормления голодающих, хотя и в незначительном размере и на небольшом

пространстве».

«В августе, – пишет Новиков, – я приехал в Ясную Поляну. Здесь было гораздо тише; о голоде говорили редко, больше о нищих, о погорельцах. Лев Николаевич спросил о голодающих и стал говорить, что голодающих всегда много, что единственное средство помочь коню везти воз – это *слезть с него*. В этих словах для меня тогда слышалась скука и безжизненность. Я знал, что И. И. Раевский метался в верховьях Дона, в округе своих имений, из одного земского собрания в другое, а Л. Н. Толстой сидит у себя в Ясной Поляне и пишет, или собирается писать о голоде, что голод всегда есть и что безнравственно собираться кормить голодных и думать, что это хорошее и нужное дело, в то время как каждым шагом своим делаешь еще больше голодных. И как всё это было красиво, убедительно и замечательно верно, когда всё это нам излагал Лев Николаевич!»

Начало статьи Толстого «О голоде», задуманной летом 1891 года, расходится с финалом, написанном уже в октябре, после того, как Толстой посетил Епифанский уезд, встретился с Раевским и принял решение поселиться в имении Бегичевке, чтобы организовывать там столовые. Если в начале статьи он скептически относится к идее помощи голодающим, то в конце прямо выступает с призывом к молодым людям работать в народных столовых на «волонтерских», как сказали бы сегодня, началах. Фамилия Раевского в статье не упоминается, но понятно, о ком Толстой пишет: «Вот письмо, полученное мною от моего приятеля, земского деятеля и постоянного деревенского жителя, о деятельности этих сиротских призрений…» Далее приводится письмо Раевского о столовых.

Раевский назван в следующей статье Толстого 1891 года «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»: «В поездке моей в Епифанский уезд в конце сентября я встретил моего старого друга, И. И. Раевского, которому я передал мое намерение устроить столовые в голодающих местностях. Он пригласил меня поселиться у него и, не отрицая всякой другой формы помощи, не только одобрил мой план устройства столовых, но взялся помогать мне в этом деле и, с свойственной ему любовью к народу, решительностью и простотою приемов, тотчас же, еще до нашего переезда к нему, начал это дело, открыв около себя шесть таких столовых».

Но из этого можно сделать вывод, что инициатором открытия столовых в своем имении был не Раевский, а Толстой. А это расходится с воспоминаниями Новикова, утверждавшего, что еще летом 1891 года Раевский посетил Толстого в Ясной Поляне, «рассказал о картинах голодного края и уговорил Льва

Николаевича проехаться и посмотреть. Л. Н. любил такие поездки. И он поехал в голодный край, чтобы с наибольшим знанием дела написать статью о голоде. Поехал на 1–2 дня и остался там 2 года».

О посещении Раевским Ясной Поляны пишет и биограф Толстого Павел Иванович Бирюков. Об этой судьбоносной встрече вспоминает и Софья Андреевна: «Приезжавший к нам Иван Иванович Раевский был первый, который утвердил Льва Николаевича в его намерении ехать кормить голодающих в их краях посредством столовых. Он рассказывал, что исстари еще во время голодовок устраивали такие столовые, которые народ называл “сиротскими призреньями”».

Определенность в этот вопрос вносят воспоминания Веры Величкиной, которая в декабре 1891 года юной девушкой отправилась в Бегичевку помогать Толстому. «Начало открытия столовых в этом краю, – пишет она в книге “В голодный год с Львом Толстым”, – принадлежало, собственно, не Льву Николаевичу, а его хорошему другу, Ивану Ивановичу Раевскому, который на свои средства открыл шесть столовых, под названием “сиротские призрения”. Желая ознакомиться с положением дела, Лев Николаевич еще осенью объехал эти края, бывшие тогда центром неурожая, и тогда же решил поселиться здесь».

Когда Раевский был у Толстого? Это случилось в начале июля 1891 года, когда у Толстых гостила тетушка Александра Андреевна, между вторым и седьмым числами. В своих воспоминаниях она пишет: «Один из самых приятных вечеров был прерван приездом тульского предводителя дворянства[27] Раевского; это была пора наступающего в 1891 году голода; глубоко погруженный в мысли об этой напасти, Раевский не мог говорить ни о чем другом, и это раздражало Льва, не знаю почему; он противоречил каждому слову Раевского и бормотал про себя, что всё это ужасный вздор и что если бы и настал голод, нужно только покориться воле Божьей…»

И, наконец, точку в этом до сих пор не проясненном вопросе ставит письмо самого Толстого жене из Бегичевки от 2 ноября 1891 года, где он говорит: «Устройство столовых, которым мы обязаны Ивану Ивановичу, есть удивительная вещь».

Так или иначе, два старых приятеля, почти не видавшиеся последние тридцать лет, нашли один другого и вместе начали общее дело…

Для Раевского оно закончилось трагически. «В ноябре, в слякоть и непогоду, он возвращался с епифанского земского собрания в Бегичевку, – пишет Новиков. – Деревенская нищета бродила в это время по дорогам, перебираясь из деревни в

деревню за милостыней. И вот по дороге Раевский одного за другим неимущих сажает к себе. На гору ему приходится сойти с экипажа и взбираться пешком. Он промачивает ноги и с мокрыми ногами едет почти полдороги… На другое утро И. И. почувствовал, что ему нездоровится. Но надо ехать в Данков, на земское собрание – еще верст 40 в непогоду на тележке. Поторопившись вернуться из Данкова, он приехал уже больной с сильной инфлюэнцией…»

Последнее письмо Раевский написал жене в Тулу: «Мой милый ангел! Простишь ли ты меня? Первый раз в жизни я скрыл от тебя, не написав тебе, что я болен».

Он умер через несколько дней.

Толстой – остался в Бегичевке.

Толстые в Бегичевке

26 октября 1891 года Толстой с дочерями Татьяной и Марией и племянницей Верой Кузминской на поезде отправился на станцию Клекотки Рязанской губернии. 28 октября они были в усадьбе Раевского. Так начался малоисследованный двухлетний период жизни Толстого, когда были спасены от голодной смерти тысячи человеческих жизней – детей, стариков, женщин, крестьян России. Это был личный подвиг небольшой группы людей.

Но это не радовало Толстого…

Первые деньги на святое дело были «пожертвованы» его женой – шестьсот рублей. Это была часть тех денег, которые он сам же своей жене и отдал, отказавшись от собственности и от гонораров за свои произведения. Она без радости отдала ему эти шестьсот рублей, он без радости их принял. Во всём этом было что-то неправильное. Поездка в Бегичевку не вдохновляла не только Толстого, но и его старшую дочь Татьяну. Еще до отъезда она стала сомневаться в том, что отец поступает правильно. «Мы накануне нашего отъезда на Дон, – пишет она в дневнике 26 октября. – Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папа́ непоследовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мама, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что всё бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами – помещиками – и что всё дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папа́ сделал то, что он говорит: он перестал грабить. По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и желание сделать что-нибудь для голодных, более положительное, чем отречение самому от собственности».

«Чувство страха»?

Любящая дочь глубоко понимала своего отца. Толстой отправился спасать голодных не в сознании моральной силы и правоты, а в сознании своей слабости и нравственного поражения. Он, как богатырь, замахнулся на спасение всего человечества. Он предложил, как искренне думал, панацею от всех бед – в исполнении заповедей Христа и отречении от всего, что мешает исполнению этих заповедей. И ему поверили, за ним

пошли люди… Ему бы утвердиться на этой проповеднической высоте. Довершить начатое: уйти из дома, стать нищим, странником… Но возник выбор: отдать последнюю рубашку нуждающемуся или просить дарового сукна у богачей для сотен раздетых рязанских ребятишек? Поделиться последним куском хлеба с голодным или обратиться за помощью к богатым, не только русским, но англичанам и американцам, и принять помощь для десятков тысяч голодных крестьян под гарантию *имени Толстого*?

Софья Андреевна пишет в дневнике, что он «не спал ночь и на другое утро говорит, что голод не дает ему покоя, что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходить голодные питаться, что нужно приложить, главное, личный труд, что он надеется, что я дам денег (а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав… вот и пойми его!)».

И еще он сказал жене: «Но не думай, пожалуйста, что я это делаю для того, чтоб заговорили обо мне, а просто жить нельзя спокойно». Увы, она именно так и думала. «Всё один и тот же источник всего в этом роде: тщеславие и желание новой и новой славы, чтоб как можно больше говорить о нем».

Они расставались недружелюбно. Она подозревала его в том, что он просто бежит в Бегичевку от семейных проблем. И была по-женски права. Толстой тяготился семьей, где только дочери его беспрекословно поддерживали; их он и забирал с собой в Бегичевку.

Это было похоже на развод. Еще раньше он отказался переезжать с семьей на зиму в Москву, как у них было заведено с 1881 года. Десять лет в семье соблюдался этот принцип. Но вдруг Толстой взбунтовался.

«29-го августа вечером я начала с Львом Николаевичем разговор о переезде в Москву. Он решительно ответил:

– Я совсем не приеду.

Я говорю:

– Ну, и прекрасно, и я останусь.

– Нет, я этого не хочу; ты поезжай и отдай детей (в гимназию – *П. Б.*), потому что ты считаешь это нужным, – говорит Лев Николаевич.

– Да ведь это развод! Ты всю зиму не увидишь ни меня, ни пятерых детей.

– Детей я и тут не вижу, а ты будешь ко мне приезжать…

– Я? Ни за что! Приезжать как любовница для удовлетворения твоих потребностей, а жить врознь… Никогда и ни за что! – с негодованием вскрикнула я и расплакалась».

Отъезд в Бегичевку пришелся как нельзя кстати. Толстому не

нужно было ничего объяснять жене, а Софье Андреевне нечего было возразить.

Но и не было мира в их сердцах.

Картина голода в Данковском уезде была страшной! Шести столовых, что открыл Раевский, не хватало, чтобы накормить даже детей. Но самое главное – непонятно было, каковы вообще масштабы бедствия. Осенью у крестьян еще оставалось какое-то продовольствие, а что будет зимой, весной? Кому помогать в первую очередь? Спрашивать самих мужиков – бесполезно. Все будут просить о помощи! Никто не откажется от лишнего мешка муки.

Местная власть косо смотрела на появление Толстого в уезде. Когда голодает вся губерния – это понятно. Но когда в одном отдельно взятом уезде появляется знаменитый человек, и к нему тысячами текут деньги и вагоны продовольствия, – что будут говорить мужики в других уездах? Как будет выглядеть власть? Да это начало смуты!

Но даже не власть была главной помехой в работе добровольцев. Сам народ. Крестьяне не понимали, зачем приехали сюда *господа*, что у них на уме. И на всякий случай старались разжиться попрошайничеством. Меньше всего можно заподозрить дочь Толстого в нелюбви к народу. Но то и дело в дневнике Татьяны Львовны прорывается отчаяние.

«Как много жалких людей! Редкий день Маша или Вера не ревут…

Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же.

Тут много нужды не от неурожая этого года, а от того же, от чего наш Костюшка беден: от нелюбви к физической работе, какой-то беспечности и лени. Тут деньгами помогать совершенно бессмысленно. Всё это так сложно!

Может быть, Костюшка был бы писателем, поэтом, может быть, актером, каким-нибудь чиновником или ученым. А потому, что он поставлен в те условия, в которых иначе, как физическим трудом, он не может добывать себе хлеба, а физический труд он ненавидит, то он и лежит с книжкой на печи, философствует с прохожим странником, а двор его этим временем разваливается, нива не вспахана, а бабы его, видя его беспечность, тоже ничего не делают и жиреют на хлебе, который они выпрашивают, занимают и даже воруют у соседей».

Но и Толстой хорошо понимал, что даровая помощь народу это не помощь, а именно грех и соблазн. Это последнее унижение

крестьянского достоинства. В условиях неурожая и помощи голодающим со стороны богатого города в крестьянской среде развивалось профессиональное нищенство. Да так, что целые деревни стали превращаться в анклавы этого нехитрого «промысла».

Некоторые страницы бегичевского дневника Толстого кровоточат. Вот только одна картинка:

«Третьего дня было поразительное: выхожу утром с горшком на крыльцо, большой, здоровый, легкий мужик, лет под 50, с 12-летним мальчиком, с красивыми, вьющимися, отворачивающимися кончиками русых волос. “Откуда?” – “Из Затворного”. Это село, в котором крестьяне живут профессией нищенства. “Что ты?” – Как всегда, скучное: “К вашей милости”. – “Что?” – “Да не дайте помереть голодной смертью. Всё проели”. – “Ты побираешься?” – “Да, довелось. Всё проели, куска хлеба нет. Не ели два дня”. Мне тяжело. Все знакомые слова и все заученные. Сейчас. И иду, чтобы вынести пятак и отделаться. Мужик продолжает говорить, описывая свое положение. Ни топки, ни хлеба. Ходили по миру, не подают. На дворе метель, холод. Иду, чтобы отделаться. Оглядываюсь на мальчика. Прекрасные глаза полны слез, из одного уже стекают светлые, крупные слезы».

Пятак?! Он дает им пятак?! Но немногим раньше он записывает в дневнике: «Большие пожертвования – более 10 тысяч». И через шесть дней опять: «много денег, 3 300». А Толстой дает им пятак…

При желании он мог завалить Данковский уезд деньгами. 3 ноября 1891 года в газете «Русские ведомости» было опубликовано открытое письмо к обществу с просьбой о помощи голодающим не самого Толстого, а Софьи Андреевны. Оно заканчивалось словами: «Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души…»

В первое утро ей принесли четыреста рублей, а в течение суток она получила полторы тысячи. К 11 ноября было девять тысяч рублей. Всего во время голода на имя Толстого и его жены поступило более двухсот тысяч рублей…

Она писала мужу в Бегичевку: «Очень трогательно приносят деньги: кто, войдя, перекрестится и даст серебряные рубли; один старик поцеловал мне руку и говорит, плача: примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту. Дал 40 рублей. – Учительницы принесли, и одна говорит: “Я вчера плакала над вашим письмом”. – А то на рысаке барин, богато одетый, встретил в дверях Андрюшу и спросил: вы сын

Льва Николаевича? – Да. – Ваша мать дома? Передайте ей. В конверте 100 рублей. Дети приходят, приносят по 3, 5, 15 рублей. Одна барышня привезла узел с платьем. Одна нарядная барышня, захлебываясь, говорила: “Ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот возьмите, это мои собственные деньги, папаша и мамаша не знают, что я их отдаю, а я так рада!» В конверте 101 рубль 30 копеек”.

В московский дом Толстых и в Бегичевку посыпались письма со всей России…

«Старшая дочь моя Варвара, сделавшись невестой, просила меня устроить ей самую скромную свадьбу, но вместе с тем не отказать ей устроить перед свадьбой угощение бедняков, которым она хотела сама прислуживать. Дочь моя умерла, не дождавшись желанного дня. Пусть на посылаемые от ее имени деньги и будут накормлены несколько стариков и детей…»

«Ваше Сиятельство! Вы не поверите, если скажу, что, прочитывая строки о ваших и дорогих детей ваших подвигах в данном деле, у меня невольно покатились слезы из глаз при мысли, что если бы у нас хоть тысячная доля была таких сподвижников, как сей Высокопоставленный Боярин и его Благословенное семейство, то не было и десятой доли бедствующего в таких случаях народа…»

«5 рублей от старика Семена с женой и от читальщика по покойникам…»

«При этом считаю долгом добавить, что в числе присылаемых денег три рубля пожертвованы находящейся у меня в услужении молодой девушкой, что составляет ее месячное жалование».

Кто-то анонимно прислал бриллиантовое колье…

Неистовый духовный враг Толстого знаменитый священник Иоанн Кронштадтский прислал графине двести рублей вместе с сочувственным письмом.

Савва Морозов пожертвовал полторы тысячи аршин материи.

Вся Россия откликнулась на воззвание жены Толстого. Письмо графини было перепечатано за границей. Уже в начале ноября крупный английский издатель Ануин Фишер письменно просил Толстого быть доверенным лицом и посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и организациями в России, оказывающими помощь голодающим. В Соединенных Штатах также был организован сбор средств для голодающих России. 19 ноября из Америки были отправлены семь пароходов с кукурузой…

Софья Андреевна искренне восприняла это как момент семейного торжества. И Толстой с ней не спорил. В конце концов, общее участие в борьбе с голодом сблизило мужа и жену, и,

приехав в Москву по делам в декабре 1891 года, он пишет в дневнике: «Радостные отношения с Соней. Никогда не были так сердечны». А в письмах к ней признается: «Без ужаса не могу подумать, как тебе одиноко одной… Беспрестанно думаю о тебе и всегда с умилением».

Но душевное состояние Толстого во время борьбы с голодом не назовешь радостным.

В это время он почти не работает над художественными произведениями. Все свободное время отдает книге «Царство Божие внутри вас», статьям о голоде и отчетам «об употреблении пожертвованных денег», которые писал исключительно сам и которые публиковались в газетах. Тем не менее, интересно, какие художественные вещи занимали его в голодные года. В Бегичевке задуман рассказ «Хозяин и работник». Здесь же он работал над рукописью «Отца Сергия». В первом произведении хозяин спасает работника ценой собственной гибели, а во втором – ставится вопрос о тонкой и соблазнительной связи между святостью и тщеславием. Вопрос решается отшельником Сергием, бывшим князем Касатским, неожиданно. Ценой великого грехопадения, гадкого и постыдного (позволил себя соблазнить умственно неполноценной девице), Сергий *спасается от святости*, которая близка к тщеславию.

6 ноября 1891 года в Бегичевке Толстой записывает мысли к «Отцу Сергию»: «Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях Бога…»

Толстой и его помощники вели себя героически. На голоде Толстому помогали сын Илья, дочери Татьяна и Мария, племянница Вера Кузминская, три сына Раевского Иван, Петр и Григорий, их двоюродный брат Александр Цингер, родственники Раевских и Толстых Наталья и Владимир Философовы, муж сестры Раевского Иван Мордвинов, домашний учитель Алексей Новиков, двоюродные братья Раевского Дмитрий Оболенский и Рафаил Писарев и некоторые «толстовцы»: Алехин, Чистяков, Новоселов и другие. Бесценную помощь в закупке продовольствия и отправке его через Софью Андреевну в Бегичевку оказывал сын художника Ге Николай Ге.

И Толстой мог бы гордиться! Он объединил вокруг себя честных, бескорыстных, полных энтузиазма молодых людей! А он в то время страдает. Работа на голоде не приносит морального удовлетворения. Так отцу Сергию не приносила радости вера в

него людей. В письме к своему последователю Исааку Борисовичу Файнерману Толстой сообщает: «Я живу скверно. Сам не знаю, как меня затянуло в эту тягостную для меня работу по кормлению голодных. Не мне кормящемуся ими, кормить их. Но затянуло так, что я оказался распределителем той блевотины, которой рвет богачей».

Между тем система народных столовых, начатая Раевским и продолженная Толстым совсем в других масштабах (от шести столовых Раевского до двухсот сорока шести, организованных Толстым и его помощниками, в которых кормилось более двенадцати тысяч человек), была если не идеальной, то лучшей формой помощи голодающим. Она отличалась от деятельности земств и Красного Креста тем, что предполагала не раздачу продовольствия «натурой», а кропотливое личное участие добровольцев в кормлении голодающих. Причем в столовых работали сами бабы и мужики. В этом был нравственный стержень системы, практически исключавший злоупотребления пожертвованными деньгами и продовольствием. На столовые трудились сообща и благодетели, и благотворимые.

Система столовых была еще и средством борьбы со спекуляцией и попрошайничеством, которые неизбежно расцветают во время голода. Первыми в столовые отправляли детей и стариков, потому что трудно представить себе здорового мужика или женщину, которые первыми придут есть суп и хлеб, оставив за порогом детей и старых родителей. Одновременно столовые сближали крестьян в буквальном смысле. Во время вынужденного хозяйственного бездействия они становились центром крестьянского «мира». Наконец, это была саморазвивающаяся система, когда возникновение столовой в одной деревне притягивало голодных из других деревень, и таким образом сама собой выяснялась потребность в столовых на новых местах.

Главной проблемой, кроме постоянных трудностей с продовольствием (в голодных местах его невозможно купить за деньги и нужно закупать в других губерниях), было то, что эта система нуждалась в непрерывном контроле. Заниматься этим приходилось самому Толстому и небольшому кругу помощников, среди которых главной рабочей силой были девушки. Осенью и зимой, в дождь и метель, они разъезжались одиночками на десятки верст вокруг, не имея между собой никакой связи. И каждый раз их возвращение в Бегичевку ожидалось с трепетом и воспринималось как радостное событие.

В эти поездки отправлялся и шестидесятичетырехлетний Толстой. Сюжет «Хозяина и работника» навеян одной из таких

поездок: он сам заблудился в метель и едва не замерз. Из письма Файнерману может создаться ложное впечатление, что Толстой аристократически «брезговал» заниматься распределением «блевотины, которой рвет богачей». Но по воспоминаниям очевидцев, он лично торговал вещами, которые присылали богатые люди, не понимая, что эти дорогие вещи не спасут голодных и полураздетых крестьян. Причем торговался отчаянно, чтобы выручить побольше денег (из книги «Лев Толстой и голод». – Нижний Новгород, 1912).

Толстой входил во все мельчайшие тонкости, начиная с положения крестьянских дворов в каждой из деревень и заканчивая рационом, когда при минимуме продуктов должен был достигаться максимальный результат не только насыщения, но обеспечения необходимыми витаминами, иначе грозила цинга.

Позже, в 1894 году, в Ясной Поляне Мария Львовна Толстая рассказывала Душану Петровичу Маковицкому, как организовывались столовые. Он записал ее воспоминания.

«Толстые поступали так: приходили в деревню, с помощью старосты, священника или помещика переписывали нуждающихся, потом у какой-нибудь вдовы или кого-то из нуждающихся снимали дом для столовой и склада продуктов. В каждую деревню надо было приходить и всё контролировать. Прошло много времени, пока удалось выработать эту систему. За помощью являлись люди из далеких деревень. “Нам приходилось им говорить: ждите, когда мы придем в вашу деревню и там вас запишем. Но последовательно осуществлять этот принцип было невозможно: пришли люди из 40 деревень, в которых еще не было столовых; в каждую из них надо было идти, пока всё обойдешь, пройдут дни, а за это время многие – дети, старики – могут умереть от голода. Как это было ни досадно, приходилось разбираться в людях: одному верить, другому – нет. По деревням ходили по одному и еще без сопровождающего – зачем ему мерзнуть. Некоторые крестьяне поначалу не хотели от нас никакой помощи. Кое-где прямо умирали с голоду, а когда мы приходили к ним, говорили нам: «Ничего от вас не хотим». Даже дров для обогрева не хотели взять. Мы дивились, чем это объяснить. Потом мы узнали, что священник называл в проповеди нашего отца антихристом…»

«Вы думаете, – говорили некоторые священники, – что антихрист со злом придет к вам? Нет, он придет к вам с добром, с хлебом, как раз в то время, когда вы будете с голода помирать… Но горе тому, кто соблазнится на этот хлеб». О том же писала в своих воспоминаниях Вера Величкина.

При этом другие священники помогали Толстому в переписи

крестьян и организации столовых.

Что приходилось видеть молодым девушкам во время этих поездок? Из письма Татьяны Львовны:

«Ходим по деревням и кое-как открываем столовые. Особенно жалки везде дети, почти у всех у них то серьезное выражение лиц, какое бывает у детей, видевших много нужды. И одеты они все ужасно: у некоторых от самого локтя лохмотья и вся юбка такая же. Бабы рассказывают, что дети прежде не верили, когда им давали лебедовый хлеб, что это хлеб, и плакали, говорили, что это земля и кидали его».

Но были и отрадные картины…

Из письма Толстого: «Столовые расползаются, как сыпь. Теперь уже более 30 и идут хорошо. Я вчера вечером посетил две. Трогательно видеть, как ребята с ложками бегут толпой. Попался нищенка-мальчик из чужой деревни. Его пригласили, накормили и спать положили в столовой».

«Кроме столовых, – писала Величкина, – у нас было немало еще и других начинаний. Так, мы исполу раздавали лыко плести лапти, а также и лен, коноплю для пряжи. То, что получалось нами, раздавалось уже сиротам и неимущим. Материал нам жертвовали. На тех же условиях привозили к нам и дрова со станции. Дров для столовых покупать, кажется, тоже не приходилось, – всегда были пожертвованные. Так как коров в деревнях осталось очень немного, то мы повсюду устроили приюты для самых маленьких детей, где им давали молочную и гречневую кашу… Были приняты также меры для сохранения населению лошадей к весне. Часть их была устроена на корма тут же, неподалеку, а часть была отправлена в Калужскую губернию, откуда нам пришло предложение прокормить их бесплатно…»

Всего, по подсчетам Марии Львовны, в Данковском уезде были открыты сто двадцать четыре ясли для малолетних детей. Стараниями дочерей Толстого в Бегичевке было возобновлено обучение детей грамоте.

Это был каждодневный тяжелый труд. «Порой они очень уставали, – пишет Маковицкий со слов Марии Львовны. – С утра до 9–10 вечера надо было обойти иногда и 20 деревень, выслушать жалобы крестьян, подчас оказывать им и медицинскую помощь, контролировать, записывать, вести отчетность для общественности. «Однажды вечером отец, который в тот день имел дело со многими людьми, с крестьянами-возницами и прочими и писал (“Царство Божие внутри вас”), когда к нему пришли мы с сестрой, начал говорить и говорил бессвязно, потом рассмеялся, махнул рукой и замолчал. Мы не могли понять, что происходит с отцом. Утром после ночного отдыха он был вполне

нормальным. Всё это происходило от страшной усталости». Дочерям приходилось защищать его от излишнего волнения. “Помощники иногда приходили к отцу из-за “какой-нибудь картофелинки”. Мы их не пускали – они называли нас жандармами».

В это время начался серьезный раскол между Толстым и жившими в Бегичевке молодыми «толстовцами». Аркадий Алехин и любимец Толстого Михаил Новоселов склонялись к возвращению в православие. А Матвей Чистяков упрекал Толстого за то, что тот ввязался в благотворительность.

«Чистяков говорит, – пишет в дневнике Татьяна Львовна, – что от теперешней деятельности папа́ до благотворительных спектаклей и до деятельности отца Иоанна совсем недалеко, что он не имеет права вводить людей в заблуждение, так как многие идут за ним и ждут от него указаний и что за теперешнее его дело все будут хвалить его, тогда как оно не хорошее». Она пишет, что отцу «было больно. Он и сам прекрасно чувствовал и доходил до того, что это не то и незачем было ему это говорить».

Но что же не то? Спасать людей от голода *не то*?!

Читая письма Толстого периода его работы на голоде в Бегичевке, поражаешься двум вещам. Первая – с какой энергической тщательностью подходил он к своим обязанностям, им же самим на себя возложенным. Он входил в какую мелочь, в каждую цифру, не оставлял без внимания ничего и, кажется, не слишком доверял молодым и неопытным людям, которые его окружали, стараясь держать вожжи в своих руках. Так, вынужденно отъехав в Москву в январе 1892 года и оставив за себя в Бегичевке сына Илью, он немедленно пишет ему письмо:

«Одно прошу тебя, будь как можно осторожнее, поддерживай дело, не изменяя. И главное – заботься о приобретении, подвозе приходящего хлеба и правильном его размещении, и о том, чтобы в столовые не попадали могущие кормиться, получающие достаточную помощь от земства и, с другой стороны, чтобы отвергнуты были нуждающиеся.

Теперь надо помогать топливом самым бедным. Это очень важно и трудно, и тут, как это ни нежелательно, уже лучше, чтобы получили ненуждающиеся, чем чтобы не получили нуждающиеся.

Что сено от Усова? Я боюсь, чтобы Ермолаев тут не напутал. Они пишут про разбитые тюки. Надо поскорей поднять его и свезти к Лебедеву в Колодези. Приискивай картофель на местах, не продают ли где, и покупай. Много еще чего нужно, но нельзя распоряжаться перепиской, не зная, что и как. Полагаюсь на тебя. Пожалуйста: делай из всех сил».

Вторая вещь, которая поражает в письмах Толстого, это то, насколько искренне переживал он «ложность» своего положения. Вот он пишет семье художника Ге:

«Мы живем здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно быть, тут деньги Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед Богом и для Бога…»

Этим настроением он заражал и дочерей.

Так, в Бегичевке побывал корреспондент американской газеты Ионас Стадлинг, швед по происхождению. Он был потрясен условиями, в которых работали дочери Толстого. Отправившись с Марией в одну из инспекционных поездок, он задал ей вопрос: как она переносит это?! «“А разве не стыдно с нашей стороны позволять себе всякую роскошь, когда наши братья и сестры погибают от нужды и страданий?” – “Но вы пожертвовали всей роскошью и удобствами, свойственными вашему званию и положению, и снизошли до бедняков, чтобы помогать им”. – “Да, но взгляните на наше теплое платье и прочие удобства, не знакомые нашим братьям и сестрам”. – “Но какая была бы польза из того, если б мы одевались в лохмотья и стояли на краю голодной смерти?” – “Какое имеем мы право жить лучше их?” – спросила она. Я не отвечал, но удивленно посмотрел в глаза этой замечательной девушки и увидал дрожавшую в них крупную слезу».

Приезд в Бегичевку Стадлинга, который затем отправился к Льву Львовичу в Самарскую губернию, симптоматичен. Случилось именно то, чего боялся Толстой: в России и за границей вспыхнула новая *мода на Толстого*. Казалось, что права была Софья Андреевна, когда в сердцах написала в дневнике, что ее муж делает всё для того, чтобы о нем побольше говорили. Казалось, ничего нельзя было придумать лучше для своей славы. Между тем, в окружении Толстого умирали люди. После Раевского скончалась от тифа жена брата Софьи Андреевны, работавшая на голоде. Не случайно, написав вдохновенный некролог памяти Раевского, Толстой не стал его печатать. По-видимому, он чувствовал неделикатность этого поступка. Раевский умер, а он жив. И точно так же Толстой не написал воспоминаний о работе на голоде.

В Бегичевке иногда появлялись странные люди. Так, две

американки устроили состязание: одна поехала к Толстому через Европу другая – через Азию. Съехались в Бегичевке. «Приехали и стали меня спрашивать о моих взглядах на то или на другое, – говорил Толстой Величкиной. – И я ясно вижу что их совсем не интересует содержание того, что я говорю, а что они просто выслушивают и кивают головой, что всё, дескать, верно, – так и должен говорить Толстой. Точно они по Бедекеру прочли и приехали проверить».

Но всех превзошел другой швед – Абраам фон Бунге. Он приехал к Толстому в Бегичевку из Индии, где впервые услышал о нем. Приехав, решил остаться жить у него навсегда. 2 мая 1892 года Толстой писал жене: «Еще три дня тому назад явился к нам старик, 70 лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа, оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной) и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли без рабочего скота, одной лопатой… А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитает всё сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывает под голову бутылку и т. и.».

Отказ от молока швед объяснял так: «Моя мать давно умерла». То есть единственное молоко, на которое он имеет право, это молоко его матери. От чая отказывался потому, что видел труд китайцев на чайных плантациях: «Если бы люди знали, сколько крови и страданий заключается в каждой чашке чая…» Самовар называл «идолом».

Толстому швед нравился, но в то же время и смущал. Он увидел в нем своего двойника, пародию на себя. «Моя тень, – пишет он в дневнике. – Те же мысли, то же настроение, минус чуткость». Когда из Бегичевки швед захотел последовать за Толстым в Ясную Поляну, Толстой попросил Бунге приехать на следующий день после него. «Когда я езжу один по железной дороге, то меня стесняет то, что на меня обращают внимание, – объяснил он своим домашним. – А везти с собой своего двойника, да еще полуголого – на это у меня не хватило мужества!»

В Ясной Поляне фон Бунге продолжал преследовать Толстых. Он разгуливал голым по яснополянскому парку и просил Татьяну Львовну нарисовать его голым. «Его уроки физиологии, – вспоминала Татьяна Львовна, – сводились к тому, что он тыкал всякую женщину в бок, чтобы ощупать, носит ли она корсет, и если таковой оказывался, то он проповедовал о вреде его, а если

его не было, то он за это хвалил. Вообще он находил, что надо носить всегда как можно меньше одежды. Спал он под малиновым байковым одеялом, которое, как потом оказалось, он без всякого спроса увез от Раевских, носил только открытую до пояса рубаху и короткие панталоны, которые он то и дело подтягивал выше колен. Обуви он не носил и даже вовсе не имел».

Софья Андреевна просто возненавидела Бунге! В мае 1892 года он стал причиной ее экстренного приезда в Бегичевку. Швед накормил Льва Николаевича полусырой лепешкой собственного изготовления, так что тот едва не умер ночью от печеночных колик.

Софья Андреевна по-своему поняла «натурализм» Бунге: «Идеал этого шведа был “health”, то есть здоровье, и всё должно происходить во имя здоровья, вся теория жизни в этом. Нравственных и духовных идеалов у него не было никаких, и чувствовалось в нем что-то грубое, животное. Был когда-то богат, скучал, болел. Понял, что простота, первобытность в жизни дает здоровье и спокойствие, и достиг того и другого. Лежит весь день, бывало, на траве, как корова, или полощется в Дону; много ест. Покопается немного лопатой, придет в кухню и там лежит».

В Ясной Поляне она недвусмысленно сказала Бунге, чтобы он уезжал из имения.

«Хорошо, – сказал швед. – Если вам нужен этот клочок (spot) земли, то я отодвинусь и займу рядом такой же клочок. Ведь должен же и я иметь свое местечко на земле».

Любопытно, что фон Бунге действительно *практически* воплощал в жизнь некоторые идеалы Толстого. Например, «опрощение», безубойное питание, отказ от собственности на землю. А получалась пародия.

В конце концов, Софья Андреевна все-таки выдворила «тень» своего мужа из Ясной Поляны. «Уехав, Абраам забыл в Ясной Поляне свои часы с цепочкой, к которой были еще прикреплены компас и какие-то инструменты, – вспоминала Татьяна Львовна. – Мы отослали ему эти вещи в Швецию, по тому адресу, который он нам оставил. Через несколько недель мы получили посылку обратно за ненахождением адреса. Куда он уехал? Где он скитался? Долго ли еще прожил? Где сложил свои старые кости – всё это вопросы, на которые нам никогда не пришлось получить ответа».

Одиночество в степи

История работы Льва Львовича на голоде в Самарской губернии вызывает смешанные чувства… С одной стороны – глубокую симпатию к сыну Толстого. Все старшие сыновья писателя поработали на голоде. Илья – как помещик в Чернском уезде Тульской губернии, Сергей – как земский начальник того же Чернского уезда, где находилось его имение Никольско-Вяземское… Но только Лев Львович поплатился за это физическим, а главное – душевным здоровьем.

С другой стороны – участие отца и сына в борьбе с голодом наглядно обнаружило разницу их характеров. Толстой-старший как будто делал свое дело с отвращением. Тем не менее, оно принесло ему очевидную духовную пользу. И всё, что делал Толстой, приносило ему духовную пользу. Так была устроена его внутренняя система. А молодой Лев, повторяя поступки отца, приходил к духовному результату, который даже невозможно в точности определить. Понятно одно: работа на голоде духовно закалила Толстого-отца и… надломила Толстого-сына.

«Этот поступок, – пишет он своих воспоминаниях, – почти стоил мне жизни и был главной причиной наступившей после этой зимы многолетней моей болезни».

Беда была не в том, что он подражал отцу. Подражали отцу скорее дочери. Но они и понимали ограниченность своих возможностей. Им и в голову не приходило состязаться с отцом. Не думали об этом и старшие сыновья Сергей и Илья. А Лев Львович, как бабочка на огонь, стремился к образу «второго Льва Толстого», который, по-видимому, зародился в его душе еще в ранние годы.

Толстой-отец пришел к борьбе с голодом не спеша, медленно раскачиваясь и сомневаясь, обкатывая в душе все за и против. И, наконец, поступил как раз против.

Да, он начинает помогать голодным, руководимый непосредственным нравственным чувством, а не головными идеями. Но и в этом была своя стратегия и тактика. Да, он отправляется в Бегичевку, понимая, что по своим убеждениям совершает грех. Но это-то ему и нужно! Он не святой, он грешный. Как отец Сергий в его будущей повести. При этом его поступок упрочивает образ «святого Льва» в сознании общества. Но и это идет ему в духовную пользу! Попробуй-ка выстоять против тщеславия. Попробуй-ка – по совести – делать хорошее дело, которое служит твоему возвеличиванию и не поддаваться гордости!

Толстой-сын бросается в дело помощи голодным, как в омут. И нельзя понять, что им при этом движет. Сострадание к народу? Возможность под благородным предлогом оставить университет? Желание состязаться с отцом? Скорее всего, все эти чувства вместе. Но какое было главным? Мы никогда этого не поймем. Сам Лев Львович этого не понимал.

В начале сентября 1891 года он приезжает из Ясной Поляны в Москву как будто для того, чтобы продолжить учебу в университете. Он вроде полон желания заниматься, «…учиться, учиться и учиться», – пишет он матери 25 сентября…

Но, узнав, что отец с дочерями собирается в Бегичевку, он начинает сомневаться. «Милые друзья, Таня, папа́ и Маша… Когда я прочел ваше письмо с планами о народной столовой у Раевских, конечно, я почувствовал сейчас же сочувствие к вам и к этому делу. Мне захотелось и самому принять в этом участие».

Но против этого мама. И он не знает, как ему поступить. «Так что за вами дело. Я пока остаюсь при своем старом решении о себе, т. е. сидеть всю зиму здесь и заниматься».

Опять он оказывается между отцом и матерью. Но отец как раз не настаивает на его участии в борьбе с голодом. Он здесь скорее заодно с женой. А Лев Львович хочет поступать, как отец и сестры. И он решается действовать один. Показать свой характер. Испытать себя. Еще до переезда Софьи Андреевны с младшими детьми в Москву на зиму он предупреждает мать почтовой карточкой: «…поеду в Самару. Я сделаю это во что бы то ни стало…»

Этим он тоже, как отец, решает в том числе и свои личные проблемы. Бежать, бежать! Во что бы то ни стало куда-нибудь бежать! Как князь Оленин в повести отца «Казаки».

«Он стремится всеми силами куда-то, – пишет Софья Андреевна мужу, – и почему-то ему кажется, что в Самаре он может что-то сделать. Впечатление то, что учиться он в университете, главное, не хочет, а, может быть, и не может, что ему нужны впечатления и разнообразие их. Поездка его совершенно неопределенная… Просил он 200 рублей, стало быть только на дорогу и на прожитье. Сам он весел, как будто доволен всем, и мне очень жаль, что он уезжает; он единственный у нас элемент возбуждающий, веселящий и имеющий влияние на мальчиков».

Мать тяжело расставалась с любимым сыном… 25 октября 1891 года она пишет мужу: «Уезжает и Лёва; метель сегодня и холод страшный, и все эти отъезды и жизнь врознь, конечно, хуже всего для несчастной меня, сидящей, как прикованная к своим гостиным и без всякого дела, а только с беспокойством о всех.

Для голодающих физическая мука, а для нас, грешных, худшая – нравственная. Авось как-нибудь переживется это тяжелое время для всех, а без жертв не обойдется…»

Конечно, под жертвами она имела в виду не только народ. Что-то она чувствовала…

О чем он думал, когда отправлялся на голод с двумястами рублями? Ведь еще из летней поездки в самарское имение он мог представить себе масштабы грядущей катастрофы. Впрочем, и отец поехал в Бегичевку со скудным стартовым капиталом. Но у отца были помощники – дочери и большая семья Раевских. В Бегичевке к приезду Толстых уже были открыты первые народные столовые… А Лев Львович помчался в голую степь один-одинешенек с неотчетливыми мыслями о том, как спасать голодных и даже как он сам проведет зиму в заснеженной степи. «Он отбивался от всего и ничего не хотел брать», – вспоминала Софья Андреевна. Вообще в поездке было что-то невзаправдашнее. Он даже не стал выходить из университета, взял месячный отпуск.

До того, как отправиться в Самару, он посетил отца в Бегичевке. Но можно предположить, что с самого начала идея народных столовых не грела его. Так, еще 19 сентября он писал матери: «Народные столовые – мысль отличная, но вряд ли устроят это практично наши помещики. И сомнительно также, чтобы Поляковы, Гагарины (крупные банкиры и помещики – *П. Б.*) и т. д. – от чистого сердца – взялись бы за это. Конечно, для того, чтобы заговорили о них, для папа́ они согласятся, и выйдет то, что и требуется доказать, – деньги и хлеб».

Он понимал, что не ровня своему отцу. Отцу деньги и хлеб дадут, а ему – нет. А ведь в то время, когда Лев Львович поехал в самарскую степь, отец, как царь Салтан, еще продолжал «чудесить» в отношении денег. Письмо-обращение к обществу, о котором сказано выше, было написано Софьей Андреевной не по его инициативе. Ее убедили сделать это Фет и Страхов. Но и это обращение появилось в печати только 3 ноября, когда Лев Львович уже находился в самарской глуши в состоянии полного отчаяния…

Жарким летом, когда он посетил самарское имение перед поездкой по стране, весь ужас предстоящей зимы еще не так бросался в глаза. Но теперь это была не Россия, а какая-то внутренняя Индия или Африка, где племя людей было предоставлено само себе на очевидное вымирание. Это была не Бегичевка, где просвещенный помещик Раевский со своим другом великим писателем Толстым открывал столовые. Где по меркам самарских степей до Москвы было рукой подать и где поблизости

были губернии, не до такой степени затронутые неурожаем. Где для мужиков был возможен отхожий промысел, извозчиками или грузчиками в Москве. Здесь же воистину – от колоса до колоса не слышно было человеческого голоса. До Бога высоко, до царя далеко.

Только 17 ноября 1891 года император Александр III распорядился учредить Особый Комитет для помощи *нуждающимся* (слова «голод», «голодающие» высочайше публично не произносились) в неурожайных местностях под председательством наследника цесаревича. Хотя о том, что грядет «печальный год», министр финансов Вышнеградский предупреждал его уже в ноябре 1890 года.[28]

К счастью Льва Львовича, губернатором Самары был Александр Дмитриевич Свербеев, «просвещенный консерватор» и знакомый Толстых. Он любезно принял Льва Львовича, «но когда узнал, что я приехал с крайне жалкими средствами, выразил сомнение, чтобы я мог что-либо существенное сделать с моими несчастными двумя сотнями рублей…»

В тот же день Лев Львович присутствовал на заседании губернского попечительства Красного Креста: «Обсуждали всевозможные вопросы о хлебе, о работах, о корме скота, о врачебной помощи больным; но беда была в том, что нужда была настолько велика, что каждый просил в свое попечительство больше, чем оно могло получить, и потому всё сводилось на заседании уже не к тому, чтобы получше облегчить бедствие в известном месте, а только к тому, чтобы каждому просившему уделить хоть немножко, хоть что-нибудь на нужды его участка…»

В тот же день он посетил базар, где возле хлебной лавки стояла толпа крестьян. «Многие покупали хлеб; другие стояли подле, завистливо смотря на счастливцев… Некоторые из покупавших хлеб тут же принимались его есть. Я подошел к лавке и купил несколько фунтов хлеба, чтобы подать мужикам и бабам, показавшимся мне особенно жалкими. Но не успел я сделать этого, как толпа народа окружила меня, прося и ей купить хлеба. Я стал покупать и раздавать – пока не удовлетворил многих».

Так первый поступок сына Толстого на голоде обнаружил его полную неопытность в этом деле. Он совершил именно то, против чего восставал его отец. Он стал раздавать хлеб попрошайкам, потратив на это свои и без того «жалкие средства».

На хуторе знакомого помещика Бибикова, где временно остановился Лев Львович, его приняли как посланца небес. Сам Бибиков уже отчаялся раздавать милостыню народу. Сколь бы щедро он ее ни раздавал и сколько бы ни кормил нищих на своей кухне, прокормить всех было невозможно. Приезд нового

«господина» взбудоражил всю округу! «На хуторе Б. день и ночь стояла толпа голодающих; не успел я приехать, как дом был окружен ими. Но разговоры с ними отложили до утра. Тем не менее, всю ночь, которую я почти не спал, слышны были голоса под окнами, просившие нараспев милостыню: “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, подайте Христа ради!”

Утром, когда он вышел на крыльцо, весь двор был полон народом. “Он?! он, что ли?!” – шептались в толпе. “Они уже верили в меня, как в своего избавителя. И вдруг все шапки снялись с головы, и вся толпа стала кланяться мне… Тогда я решился заговорить и объяснить им, чтобы они не надеялись на меня, что я приехал с малыми средствами и вряд ли смогу облегчить их бедствие”. “– Не вы, так кто же? – заговорили на это голоса в толпе. – Умираем голодной смертью, по три дня не едим, ребятишки кричат; не дай, кормилец, умереть голодной смертью!” “Они не хотели верить в мое бессилие…”

Не выдержав даже не самого голода, но ожидания голодной смерти всей семьи, здоровые мужики кончали с собой. В декабре 1891 года Лев Львович побывал в избе одного из таких, пытавшегося ночью перерезать себе горло. Он описал это в письме к матери:

«На лавке у окна сидит мужик. Лицо у него землисто желтоватого цвета, глаза мутные с бессмысленным выражением. Шея его повязана белым платком. Мой приход очевидно ему совершенно безразличен. Жена его, держась за лавку, бледная, измученная, смотрит на меня и стонет. Она совершенно больная. Мальчик лет 14-ти затапливает печь… Я спросил у мальчика, как всё случилось с его отцом, и он обстоятельно рассказал мне следующее:

“Мама встала ночью ребеночка покормить, да лампочку и засветила, смотрит на него, на отца-то, а он лежит на лавке, ножик в руке держит, а по вороту кровь сочится. Она подскочила к нему, он подает ей ножик: на, говорит, дорежь меня, я не осилю. Мама стала ножик отымать, а он не отдает ей, тут я подсобил, с печки соскочил – отняли. Мама выбежала в сенцы, ножик в сено схоронила, вон лежит…”

– Что же, ничего теперь? – спрашиваю я, обращаясь к Степану, у которого выражение стало осмысленнее…

– Ничего, – отвечает мальчик, – он только самую мякоть прорезал, до горла не дошло, ножик-то тупой был».

Этот ли или другой мужик, уже с именем Семен, был описан в книге Льва Львовича «В голодные года» и стал героем его рассказа «Вечер во время голода». Семен пытался перерезать себе горло в тифозном бреду. «Конечно, он сделал это не от одной

только горячки. Кроме того, что он был сам болен, что жена только что встала от тифа, что ему есть было нечего, – ему всюду отказывали в помощи. Земство отказывало ему как “странному” (пришлому – *П. Б.*), Красный Крест отказал за неимением денег… Не удивительно поэтому, что он даже и не в бреду думал и желал покончить с собой».

Вот жилище Семена: «Мазанка его – это логовище зверя скорее, чем человеческое жилище. Хуже логовища, потому что грязнее, зловоннее, нездоровее. Но, говорят, что человек – это животное, которое ко всему привыкает. Не думаю, однако, чтобы я, например, мог прожить в Семеновой мазанке дольше недели».

Найти работу можно было только в Самаре. И местная власть делала, что могла. Например, велись круглосуточные работы по расширению русла реки Самарки. «Однажды, поздно вечером, я навестил место этих работ, – вспоминал Лев Львович. – Что-то особенное, волшебное, непривычное глазу было в этих черных, копавшихся в темноте человеческих фигурах, освещенных огнями».

Но город не мог прокормить всю губернию. Основной статьей «промысла» становилось нищенство. Но как нищенствовать здоровым мужикам? Главной «рабочей силой» оказывались дети, которые кормили… отцов. «У Андрюшки, – пишет Лев Львович об одном таком ребенке, – был отец, здоровенный мужчина, спавший на печке всю голодную зиму и заявивший, что он никуда с печки не тронется потому, что всё равно работы нет…»

Так Андрюшка стал виртуозом нищенства, искусством которого кормилась вся семья.

«– А милостыни ты много собираешь? – спрашивали мы его.

– Будет с нас, – отвечал он скороговоркой, – сыты все: и отец, и мать, и ребята. Слава Богу, не оставляют добрые люди.

– Как же ты милостыню просишь?

– Как? – Андрюшка начинал лукаво улыбаться.

– Приду в избу, стану, – продолжал он, – да и скажу: подайте ради Христа хлебца кусочек голодному человеку…

Эту фразу он протягивал жалобным голосом.

– А если не подадут, – добавлял он, – скажут: Бог подаст, – я обернусь к ним, да и скажу повеселее: ну, дайте хоть кусочек с ноготочек! Засмеются и подадут!

– Ну, а мать, отец здоровы?

– Мать нездорова, всё кровью харкает, – отвечал он наивно.

– А отчего ты в школу не ходишь учиться? – спросил я его как-то.

Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом.

– Вишь, побираюсь – наконец ответил он почти сердито,

хмуря свой лобик…

Андрюшка еще любил рассказывать о том, кто умер и сколько столов было при поминках умершего. В тот год покойники многих нищих прокормили. Помрет кто, сейчас пироги, т. е. хлебы пекут и народ кормят».

«Умирали ежедневно, – вспоминал Лев Львович свою жизнь уже в селе Патровка Бузулукского уезда. – Батюшка, отец благочинный, разъезжал день и ночь по больным, напутствуя их…

– Что, батюшка, больных всё прибавляется? – спрашивал я его иногда, встречая на улице.

– Беда чистая, – отвечал он своим басом, – затаскали совсем, нынче 18 раз напутствовал. Да, главное, беднота-то какая. Всё так уж и езжу за ничего. Там когда-нибудь сочтемся с ними.

Ежедневно провозили в санках гробы, или проносили их на шестах по направлению к церкви».

Во время работы на голоде Лев Львович пришел к идее, которая была противна взглядам отца:

«…в первый раз я понял силу и могущество нашей церкви, ее деятельность и значение, понял до какой степени народ наш крепко слит с ней».

Интересно, что столовыми, которые он открывал в самарской степи, в основном заведовали священники. Вообще, с местным священством у него наладились самые теплые отношения.

Лев Львович иначе, чем отец, относился к нищенству. По его мнению, нищенство стало главным «комитетом» для спасения голодающих. Настоящим «страховым капиталом народа» (выражение Раевского), как считал Лев Львович, были не помещичьи хозяйства, а христианская совесть крестьян, веками воспитываемая православной церковью.

Когда земства и Красный Крест уже не справлялись с масштабными вспышками голода, которые случались в 1877–1878, 1891–1892 и 1898–1899 годах, только сами нищие могли прокормить нищих. Только через совестливое перераспределение имевшихся скудных запасов могли продержаться крестьяне в основной массе. Внешняя помощь поступала с опозданием и неравномерно – плохие сообщения, метель, распутица и т. д. Не все «господа» были такие добрые, как Лев Львович. Вот в этих-то «мертвых зонах», где не работала ни государственная, ни частная помощь, нищие выживали за счет нищих, делясь друг с другом последними запасами.

«Христовым именем утешаются, живут, им же и кормится половина народа, и в года голодовок и бедствий не мы с нашими сравнительно мелкими средствами спасаем голодающих и кормим их, а кормят и спасают друг друга сами эти голодающие,

делясь между собой последним хлебом. Совесть бедняка, совесть крестьянина, у которого немногим больше, чем у бедного соседа, который сам может завтра дойти до положения нищего, – чутче и отзывчивее нашей совести, совести богачей… Совесть народная – тот главный “комитет”, который открывают в своей среде голодающие в года бедствий, широко и свободно располагая им. Без этого “комитета” голодовки наши, без сомнения, были бы в тысячу раз страшнее и в материальном и в духовном отношении», – писал Лев Львович.

Но всё это он поймет позже… А пока он возвращается в Москву с двумя задачами: найти деньги и товарищей по работе. Он еще не знает, что в своем обращении к обществу его мать указала и его самарский адрес и деньги на его имя уже пошли в самарскую губернию. «Вскоре после приезда в Москву я получил от Б. уведомление, что в Бузулуке лежат кучи денежных пакетов на мое имя. Кроме того, к отцу шли довольно дружные пожертвования, и он обещал мне уделять часть их для самарских голодающих».

Проблема с деньгами были отчасти решена. Гораздо хуже вышло с товарищами. «О наступившем голоде уже не говорили, а кричали теперь, как о страшном, давно не бывалом бедствии; отовсюду сыпались пожертвования; воззвание за воззванием печатались в газетах…» Но от поездки со Львом Львовичем на работу на голоде отказались все товарищи по Московскому университету.

Один управляющий Ясной Поляной Иван Александрович Бергер, человек «молодой, веселый, приятный», выразил желание составить ему компанию. Затем к нему присоединились Бирюков и швед Стадлинг. Последний ехал как журналист, а не помощник. Бирюков поселился в соседней волости, в селе Покровка, за двадцать пять верст от Патровки, где остановился Лев Львович. Бибиков жил на своем хуторе. Таким образом, единственным реальным компаньоном сына Толстого в Патровке оказался Бергер.

Льву Львовичу в это время исполнилось двадцать два года. Молодой и неопытный, он оказался один на один с гигантской массой страдающего народа, который стекался в Патровку из всех деревень, куда дошел слух о «добром барине». То, что он видел на хуторе Бибикова, повторялось возле его дома в Патровке на протяжении всей зимы. Каждое утро у крыльца его ждала толпа коленопреклоненного народа. Они вставали с колен только тогда, когда он тоже вставал перед ними на колени. Женщины верили в него как в святого, Божьего человека. Некоторые из них просили его хотя бы войти в их избы и взглянуть на умиравших от голода

и тифа детей и мужей, веря, что его взгляд обладает целительной силой.

Но он уже научился отказывать. Он уже понимал, что он не Христос, раздающий хлебы, как он делал на самарском базаре. Он вошел в отношения с новым губернатором Александром Семеновичем Брянчаниновым, который заменил Свербеева, и с другими полезными людьми. И он старался раздавать помощь осмотрительно, прежде всего выяснив настоящую нужду по дворам.

Тем не менее, поначалу он отказался от системы столовых, на которой настаивал его отец. В этом его убедила вторая поездка на Дон, в Бегичевку. «…нужда народа на Дону мне показалась ничтожной в сравнении с тем, что я видел в Самаре…» – писал он.

На Дону не было тифа. На Дону не вешались и не резали себе горло. Впечатлительный Лев Львович решил, что система столовых, которая требует людей и времени, в его условиях была бы безнравственной. «Здесь все поголовно без хлеба, и, пока мы будем заниматься открыванием столовых, рядом будут резаться и умирать с голода, от тифа и т. д.» – пишет он отцу.

Письмо сына – возмутило Толстого!

«Самое неприятное впечатление произвели на меня письма Лёвы, – пишет он жене 24 декабря 1891 года. – Легкомыслие, барство и нежелание трудиться. – Я очень боюсь, что он совершенно бесполезно потратит там деньги жертвованные, чужие. Он свел теперь дело на то, чтобы покупать и раздавать муку, т. е. делать то же самое, что делает земство или администрация. Купить же рожь и раздать сделает земство или чиновники не хуже его, так что ему незачем и быть там. Проще передать деньги земству. Очень мне это жалко: и то, что деньги тратятся даром, и главное то, что он так легкомыслен и самоуверен».

Это было очень жестоко со стороны Толстого! И как отца, и как мужа. Он прекрасно знал, что Лёвушка – любимчик Софьи Андреевны. «А Лёва пропадет в этом море самарских степей, и о нем тоскливее всего, а удержать невозможно», – писала она мужу 25 октября 1891 года.

«…легкомыслие, барство и нежелание трудиться». Это были те же слова, что он говорил о поездках сына по России, считая это только развлечением.

В письме к сыну от 24 декабря он был сдержанней. Подробно объяснил преимущества столовых перед простой раздачей хлеба. Привел необходимые цифры. Но в середине письма не сдержался:

«Так отчего же ты делаешь такие…[29] с таким упорством? Думаю и не могу придумать. Неужели одно, даже не самолюбие, а

амбиция – нежелание сознаться себе, что ошибся, может руководить тобой и испортить всё дело, которому ты служишь».

Все-таки в конце письма Толстой сменил гнев на милость: «… Бог с ними, с столовыми, и наши отношения дороже всего. Если ты находишь, что так и надо делать, как ты делаешь, и делай так. Я уж довольно говорил об этом. И мне это очень тяжело. И, пожалуйста, не будем больше об этом говорить. Помогай тебе Бог делать как лучше перед Ним».

Но Лев Львович обиделся!

«Милый папа́, – пишет он 3 января 1892 года, – письмо твое меня очень огорчило. Ты сам теперь должно быть раскаялся в нем, потому что оно вызвало во мне чувства, которые пришлось укрощать. Я не стану оправдываться и защищать свои действия; если ты захочешь, ты разубедишь себя когда-нибудь в том, что ты так зло и несправедливо сказал мне; ты сделаешь это и без моих аргументов. Кроме того я боюсь впасть в неприятный тон и потому замолкаю. Люблю тебя всей душой и нисколько не сержусь на тебя».

По воспоминаниям Софьи Андреевны, Лев Николаевич заплакал, прочитав это письмо. В других письмах к жене он больше не ругал сына, а в письмах к посторонним людям и вовсе старался отметить его как лучшего из своих сыновей. Так, в письме к лондонскому издателю Фишеру Унуину он с гордостью сообщал: «Один из моих сыновей трудится для той же самой цели в восточных губерниях, из которых Самарская находится в самом худшем положении». А в апреле 1892 года писал князю Дмитрию Александровичу Хилкову: «Вот у меня еще почти неожиданная радость – сын Лев очень приблизился к Христу, т. е. понял всё безумие жизни вне его учения».

В свою очередь Лев Львович вскоре осознал правоту отца и стал работать по его методу. Уже в январе 1892 года он сообщил отцу, что открыл первые столовые.

«…мы идем вширь столовыми», – пишет он матери 9 марта 1892 года. «Теперь мы пошли вширь столовыми очень шибко, их уже около 70 и думаем дойти до 100 очень скоро, т. е. до распутицы» (15 марта). «Столовые идут по старому в количестве 150, и мы теперь увеличим еще их число, когда установится дорога» (16 апреля). «Столовых, кроме устроенных для больных мучащихся, более 200…» (6 мая).

Упоминание больных заслуживает отдельного внимания. После тревожных сообщений Льва Львовича в степь были присланы два санитарных отряда, которые привез князь Петр Дмитриевич Долгоруков. Впрочем, врач был только один (потом стало двое). Но были фельдшеры и фельдшерицы, которые

ухаживали за больными в специально отведенных избах. В Самарской губернии свирепствовали эпидемии тифа и цинги. В одной Патровке ежедневно умирало семь-восемь человек. Лев Львович лично инспектировал больницы, сам заразился тифом, который перенес на ногах.

Мария Львовна рассказывала Маковицкому, что ее брат однажды зимой прошел девяносто верст пешком, сопровождая обоз с мукой, присланной из Америки. Об этом заокеанском подарке Лев Львович писал матери 23 марта 1892 года: «Пришла американская мука – 9 вагонов. Качество ее замечательное, даже страшно…»

В конце концов, он подорвал здоровье и психику. Ведь, по сути, он один возглавлял дело, более сложное и масштабное, чем то, которым занимался в Бегичевке его отец.

Былые мечты о натуральной жизни помещиком в своем имении были разбиты о неприятную правду жизни, «…страшно и дико в деревне», – жаловался он в письмах матери. А ближе к лету стал тосковать по Ясной Поляне: «Милая Ясная Поляна, но опасная для душ наших, Ясная Поляна с романсами Глинки, с кофеями на крокете, с Фомичем и Родивонычем… Мне видно суждено жить здесь еще».

Он долго не мог вырваться из степи. Сначала из-за болезни одного из докторов, которого они с товарищем выхаживали и спасли от тифозной смерти. Потом остался для собственного лечения кумысом, но вскоре разочаровался в нем.

1 июля 1892 года он пишет матери из Самары, где ожидает поезд на Тулу: «Много переживаем мы интересного. Я верю, что это к лучшему, что скоро должна настать светлая пора в нашей истории, что за всеми этими голодами, холерами уже близко что-то новое, светлое, зарождающееся. И я представляю себе это новое…»

3 июля 1892 года Лев Львович находился в Ясной Поляне. Физически и душевно надломленный совсем еще молодой человек. Начиналась затяжная неврастения. Об учебе не могло быть и речи. Но в таком случае его ждала воинская повинность – простым солдатом. Однако, согласно принятым от отца убеждениям, он должен был от службы отказаться. И сесть за это в тюрьму.

Глава пятая
«Я зыть хочу!»

Не могу вспомнить без боли эти черные, болезненные глаза Лёвы, с каким упреком и горем он смотрел на отца, когда тот упрекал ему его болезнь и не верил его страданиям.

Из дневника С. А. Толстой

Случай на станции Богатое

Между окончанием работы на голоде и возвращением в Ясную Поляну со Львом Львовичем случилось событие, обычное для молодого человека, но вовсе не обычное для сына Толстого ввиду того душевного состояния, в котором он тогда находился. Оказавшись 1 июля 1892 года на железнодорожной станции в ожидании поезда на Тулу Лев Львович, выражаясь языком его отца, *пал*.

Говоря определенно, у него была первая плотская связь с женщиной. Случайная, скоропалительная и ни к каким последствиям не приведшая. И на нее можно было бы не обращать внимания, если бы сам Лев Львович в то время до такой степени не мучился этим «вопросом» и если бы сам не вспомнил об этом много лет спустя, и когда писал «Опыт моей жизни», и когда на отдельном листе составил (и сохранил) список «Мои 12 Любовей», где под номером четыре стоит не имя, а слово «Вокзал».

В воспоминаниях он описывает этот случай так:

«По пути со мной случилось странное происшествие. В большом физическом возбуждении от жары и кумыса я с хутора Бибикова доехал в трясучей плетушке до железнодорожной станции Богатое, отстоявшей в девяноста верстах от хутора. Я боялся не поспеть на поезд, но оказалось, что он запаздывал на целых три часа вследствие разрыва полотна дороги после недавних ливней. Старичок начальник станции пригласил меня подождать у него на пустой квартире, так как семья его уехала куда-то на лето.

Я вошел в квартиру и в уютной гостиной сел в кресло, покрытое белым чехлом.

Рядом дверь была открыта в спальню, где стояла широкая кровать с голым матрасом.

В кухне возилась кухарка, белолицая благообразная женщина лет тридцати, чисто одетая и очень живая.

Я закурил папиросу, потом другую и, сильно возбужденный, не знал, как проведу целых длинных три часа в одиночестве.

В это время кухарка быстро прошла мимо меня в спальню и нервными движениями стала, без всякой надобности, переворачивать матрасы на кровати.

Я встал с кресла и стал ходить по комнате. Она еще раз прошла совсем близко около меня и вернулась назад в спальню.

Я быстрыми шагами пошел вон из квартиры, спустился по черной лестнице и выбежал в поле. Было совсем темно, и кругом

не было ни души.

Я увидел перед собой лощину, в которой росла густая трава, и быстро сбежал в нее. Она, улыбаясь, бежала рядом со мной, сильная и красивая. Я остановился и бросил ее на траву.

Вернувшись в квартиру начальника станции, я больше удивился, чем огорчился тем, что случилось.

Подошел поезд, я занял верхнее место в вагоне третьего класса и заснул как убитый».

В этой истории есть что-то литературное и даже подражательное. Вспоминаются и эротическая проза Серебряного века, и «Митина любовь» Ивана Бунина, написанная в двадцатые годы. Но не забудем, что эротическая проза Серебряного века (Сологуб, Арцыбашев, Леонид Андреев) и бунинская «Митина любовь» многим обязаны «Дьяволу» и «Крейцеровой сонате» Толстого. Максим Горький был недалек от истины, когда 3 июня 1925 года писал Константину Александровичу Федину из Сорренто: «Бунин переписывает “Крейцерову сонату” под титулом “Митина любовь”…» Но правильнее было сказать: «переписывает “Дьявола”». «Митина любовь» есть не что иное как «ремейк» (переделка) «Дьявола» Толстого. Хотя в двадцатые годы ни о каких «ремейках» еще не слышали.

Сексуальная страсть как наваждение, как дьявольское искушение и, в конечном итоге, как преступление, воспринималась Толстым и Буниным по-разному, но с равной степенью надрыва в переживании. Пусть бунинский Митя стреляет себе в рот «с наслаждением», а толстовский Иртенев в одном из вариантов «Дьявола» убивает себя в порыве морального отчаяния, эмоциональный порыв этих повестей один и тот же. Бунин – эстет, Толстой – моралист, но в обоих случаях сексуальная страсть завершается трагедией. «Герой» же воспоминаний Льва Львовича «больше удивился, чем огорчился». И в этом нет ничего странного. Это ощущение нормального молодого человека, который ждал от первого полового соития чего-то «такого», а получилось как обычно.

Самая обыкновенная история. В ней нет ни глубокой морали, ни яркого эстетического переживания. Но ведь в то время сын Толстого еще находился под влиянием отца и только что опубликованных «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней. Согласно взглядам Толстого, такой грех, да и то лишь отчасти, может быть искуплен только браком с той, с которой ты впервые «пал». Но в таком случае Лев Львович должен был жениться на кухарке начальника железнодорожной станции. В противном случае его ожидала неизбежная череда «падений», включая и «падение» с будущей женой, а в конечном итоге – несчастная

жизнь.

Беда в том, что его отец оказался прав.

Страсти рядового Толстого

Когда Лев Львович вернулся в Ясную Поляну, отец тоже находился там, временно прервав работу на голоде. Отчасти его приезд был связан с тем, что нужно было подписать подготовленный формальный акт отказа от собственности в пользу жены и детей.

И вновь в семейной атмосфере сгустились тучи. Душевная тяжесть от подписания документа ощущалась всеми членами семьи. Во-первых, это было похоже на вступление в наследство при живом муже и отце. Ведь, по словам Толстого, он отказывался от собственности, «как если бы я умер». Все понимали, что юридически с этого момента великий Толстой оставался нищим, ибо он отказывался не только от собственности, но и от денежных доходов от сочинений.

В этом состоянии он заканчивал работать над книгой «Царство Божие внутри вас» и писал своему другу художнику Ге:

«Никогда я так не был занят, как теперь. Всё работаю свою 8-ю главу, 5 часов сижу над ней, выпущу весь дух и ничего уже не остается. А тут текущие дела и отношения. Кажется, что кончил, но кажется. Не осуждайте за это, милый друг отец. Вы знаете, как для зрителей и читателей кажущееся неважным важно для нас. И важно потому, что читатель говорит о себе одном, а я должен приготовить такое, что годилось бы, подействовало – если я верю в себя – на миллионы разнообразных людей».

И вот с одной стороны – миллионы людей, которые ждут его слова, а с другой – семья, «текущие дела и отношения». И еще возвращается сын, который бросает университет и должен идти служить в армию рядовым. Под влиянием отца он собирается отказаться от воинской повинности и за это может попасть в тюрьму или в дисциплинарный батальон. А он физически слаб и душевно надломлен. Перспектива страданий сына за отказ от службы ввергает в ужас его мать. Она настаивает на том, чтобы он не ради себя, но *ради нее* пошел в армию. В одном из застольных разговоров сын шутливо напоминает ей о древней римлянке Корнелии, матери Тиберия и Гая Гракхов, которые погибли за свои взгляды. Но такие шутки не нравятся Софье Андреевне.

Отец открыто не убеждает Лёву отказался от воинской повинности. Тем не менее, между отцом и сыном происходит какой-то скрытый от других разговор, из которого сын понимает, что отец *хотел бы*, чтобы он пострадал за свои (по сути, отца) убеждения. Посетивший в это время Ясную Поляну судебный деятель Александр Владимирович Жиркевич пишет в дневнике:

«Во время моей вечерней прогулки с графом Львом Николаевичем последний подтвердил рассказ графини про колебания в сыне, дал мне понять, что насиловать его убеждения никогда не будет, хотя желает для сына страданий в дисциплинарном батальоне для его же блага».

Но только ли для *его* блага? Ведь откажись Лев Львович от воинской повинности, это стало бы громадной поддержкой для отца! Когда за те же убеждения страдали посторонние семье люди, их сажали в тюрьмы, у них отнимали детей, старшие сыновья Толстого Сергей и Илья, благополучно отслужив в армии, жили помещиками, работали земскими начальниками… И вот один-единственный сын, кажется, готов *пострадать* за идеи своего отца!

И вновь мы имеем дело с роковым обстоятельством в судьбе Льва Львовича. Что бы он ни делал, какие бы решения ни принимал, всегда в глазах окружающих это выглядело не как самостоятельный выбор, но как потворство воле отца или матери. Как будто у него не было своего ума, своей души, своих убеждений, а были два магнита, которые разрывали на две части. Как будто он всегда должен был отвечать на вопрос: он *Берс* или *Толстой*?

Лев Львович пожалел мать. И поступил разумно. Он мог выдержать, пусть и ценой нездоровья, героическую работу на голоде, но тюремных унижений он бы не выдержал. Впрочем, был возможен и еще вариант, в котором его убеждали «толстовцы». А именно: его бы не стали серьезно наказывать как *сына Толстого*. Но это было бы самое крайнее унижение.

В «Опыте моей жизни» Лев Львович скрыл тот факт, что пошел служить в армию под давлением матери и вопреки желанию отца. «Когда я объявил родителям об этом решении, мать огорчилась, но отец не сказал ничего. В сущности, ничего не интересовало его, кроме его личной жизни, даже судьба собственных детей».

Это была неправда. Софья Андреевна писала своей сестре Кузминской о Лёве: «Пошел в солдаты с камнем на *своем* сердце, но снял его *с моего*». А в другом письме она прямо просила сестру Татьяну и ее мужа Кузминского, живущих в Петербурге, устроить сына в конную артиллерию: «Ваша помощь и участие мне особенно дороги, потому что уговорить Лёву мне было страшно трудно, опять всё мое сердце перевернулось, и слез и боли душевной мне много стоило. Надо скрутить его решение как можно скорее, а то опять кто-нибудь собьет».

«Кто-нибудь» – это не отец, который никогда откровенно не давил на сына. Это «толстовцы» во главе с Чертковым. В то время

они имели на Льва Львовича сильное влияние. И недаром впоследствии он так их ненавидел. Особенно Черткова! Но в конце сентября 1892 года, за месяц до того, как идти в армию, Лев Львович был близок к мысли отправиться не в армию, а в Воронежскую губернию, чтобы помогать Черткову трудиться на голоде и с холерными больными. А отец? Отец… был рад! «Лёва хочет съездить к вам, – пишет он Черткову 27 сентября 1892 года. – Я этому очень рад…»

В письме к Черткову Лев Львович извинялся за то, что приехать не может: «Я всё еще не успокоился духом после воинской повинности и физически очень слаб и плох. Это причина, отчего я не еду сейчас к вам. Но, Бог даст, поправлюсь и приеду». Это письмо написано до отбывания воинской повинности. Вероятно, он имел в виду что не успокоился духом после семейных разговоров об этом.

Софье Андреевне стоило огромных усилий преодолеть и мужа, и его учеников в борьбе за сына. Настояв ценой слез и как раз нескрываемого психологического давления на слабого, колеблющегося Лёву на его службе в армии, она спасала его жизнь, поскольку не сомневалась, что крестного пути «толстовца» он не выдержит.

И она тоже была права.

Страдания в Царском Селе

Вспоминая о своей несчастной службе в армии, Лев Львович писал, что, «в сущности, остался в дураках» и с тех пор «заболел долгой нервно-желудочной болезнью».

Но кто был в этом виноват? Только он сам! В результате бесконечных колебаний между волей матери и желанием отца он принял худшее из возможных решений. Он согласился пойти служить в армии, но при этом собирался публично отказаться от воинской присяги. Принимать присягу не позволяло «толстовство»: согласно учению Христа нельзя произносить клятву («А Я говорю вам: не клянитесь вовсе…», Мф. 5:34).

Отказ от присяги был худшим преступлением, чем отказ от службы. Трудно понять, чем было продиктовано это безумное решение. Здесь может быть одно объяснение: Лев Львович просто не знал, как ему поступить, чтобы и мать не расстраивать, и отца порадовать, и самому себе не быть противным. А в итоге стал головной болью уже не для отца с матерью, а для военного начальства.

Отбывать повинность (с отказом от присяги!) он решил в Лейб-Гвардии 4-м Стрелковом Императорской фамилии батальоне, где когда-то служил старший брат отца Сергей Николаевич. Позже он сам признавал нелепость этого решения: «Теперь только я вижу до какой степени всё это было нелепо и в корне нечестно. Делаться солдатом добровольно и вместе с тем собираться отказываться от присяги и, благодаря материальным средствам, облегчать себе эту службу наполовину». Но тогда он объяснял это желанием «познакомиться ближе с петербургской средой, окружавшей Двор и правительство».

Батальон был расквартирован в Царском Селе. Его командиром был полковник Евреинов, приятель старшего брата Софьи Андреевны. Кроме того в Царском Селе служил лейб-гусар Иван Эрдели, муж племянницы Софьи Андреевны Маши Кузминской. На их квартире и остановился Лев Львович. Он сшил себе форму, купил стрелковую шапочку с крестом и четырьмя рожками и стал ждать срока принесения присяги, чтобы отказаться от нее. Была холодная осень 1892 года.

«В ту осень уже в ноябре завернули лютые морозы выше 20 градусов по Реомюру[30], и я, как несчастный, в моей легкой шинели мерз, как никогда прежде. Каждое утро я ходил в казармы на ученье, а по вечерам уезжал в Петербург». 16 ноября он писал матери: «Сегодня первый день моей службы. Было очень тяжело нравственно. Хотя я и ожидал неприятного, но это гораздо

хуже того, что я воображал. Со мной продолжают быть очень деликатны и предупредительны, так что с этой стороны ничего не могло быть лучше. Но самое дело это, то, что заставляли меня проделывать сегодня, – повертывание на одном месте, как волчок, отдавание чести и как становиться во фронт, и как отвечать начальству, – всё это отвратительно и противно, и глупо, и так и ёжится совесть».

Молодому Льву было «тяжело, по-настоящему тяжело и трудно орать “громким и бодрым” голосом: “Здравья желаем Вашему Высокоблагородию” и, укротив свой дух и сделавши безучастное тупое выражение лица, поворачиваться “в полуоборот на-ле-во” и в то же время в глубине души таить чувство бесконечной скорби о всем этом зле и мраке людском».

И еще он не мог отлепиться душой от Ясной Поляны! Тосковал по ней, как и в самарских степях. Ему шел уже двадцать четвертый год, а он всё еще душой оставался тем же Лёлей, Яшей Поляновым, баловнем семьи и всей дворни. Все идеалы и светлые чувства принадлежали Ясной Поляне – всегда, всю жизнь, до глубокой старости! Но Ясная Поляна принадлежала отцу. Даже после отказа от владения ею. Даже после его смерти. В этом был тяжелейший парадокс всей жизни Льва Львовича. Только он сам этого не понимал. Или не хотел в этом себе признаться.

Его письма к матери из армии дышат нежностью. Он и бодрится, и жалуется, но с ней он откровенен. (Впрочем, он знает, что эти письма читает отец). Он рассказывает все подробности своего быта, все свои переживания. Он в курсе всех дел семьи. Он знает, что мама́ пишет повесть «Чья вина?», которая направлена против «Крейцеровой сонаты», и это ему не нравится.

«Милая мама… Бросьте Вы писать свою повесть. Это недостойно Вас, Вы себя портите. Что Вы хотите? Отомстить. За что? Кому? Как это непонятно. Ужасно мне это неприятно и за Вас обидно, потому что я люблю Вас. Вы хотите сказать, что папа́ был чувственный мужчина уже в 35 лет, когда Вам было 18. Да все это знают давно, папа́ сам себя в “Крейцеровой Сонате” за это осудил довольно (всякое писание есть лучший показатель внутреннего содержания его автора), что же еще? Просто у Вас какая-то накопившаяся личная досада к нему, которую Вы, вместо того чтобы заглушить и уничтожить, развиваете незаметно для себя самой».

Но уже в следующем письме он извиняется перед ней: «Милая мама. Меня всё мучит письмо, которое я написал Вам. Пожалуйста, не обижайтесь на меня и простите: я напрасно послал его».

Военное начальство разгадало его «маневр» с присягой,

пожалело его, пожалело себя и решило отпустить сына Толстого с миром домой, признав его негодным для несения службы. А что прикажете делать с молодым новобранцем, который и офицеров не узнает, не отдает им честь, и даже государыню императрицу в карете не узнал, не встал перед ней во фронт!

Наконец, полковник Озеров вызвал Льва Львовича и объявил, что придумал способ отделаться от него. Присяга была назначена на 1 января. За неделю до Рождества врачебная комиссия осмотрела Льва Львовича и выдала «синюю бумажку», навсегда освобождавшую от военной службы. «Поезжайте себе домой к празднику, – добродушно сказал полковник, – дай вам Бог всякого счастья!»

31 декабря 1892 года в Москве в доме Толстых отмечали Новый год. «И вот в то время как в зале горела елка и дети, веселясь, получали свои подарки, – вспоминала Софья Андреевна, – кто-то позвонил, послышались шаги на лестнице, дверь отворилась, и вошел Лёва. Это был не человек, а привидение. Как только я на него взглянула, так и замерла на месте. Всё веселье погасло сразу. Он был худ ужасно. Когда он улыбался, зубы были как-то особенно видны, щеки вваливались и делалось жутко… «Да, я что-то не совсем здоров, – говорил он. – Но теперь меня отпустили, всё хорошо, я поправлюсь, – говорил он…»

Мешок с костями

Сцена с внезапным появлением Льва Львовича посреди новогоднего праздника взята из воспоминаний Софьи Андреевны. Однако нет никаких других свидетельств, что он приехал в Москву именно на Новый год. Валерия Абросимова считает, что приезд состоялся 31 января 1893 года, а до этого, покинув Царское Село во второй половине декабря 1892 года, Лев Львович находился в Петербурге и жил у Кузминских.

Видимо, так и было. Впервые о приезде сына Софья Андреевна сообщила мужу в Ясную Поляну 31 января. И без особых эмоций: «Приехал Лёва, всё такой же худой; не хочет лечиться и пить воды, а я думаю, что ему необходимо». Из этого письма создается впечатление, что куда больше приезда сына ее заботило предстоящее замужество племянницы Толстого Леночки, внебрачной дочери Марии Николаевны Толстой. Юрист Иван Васильевич Денисенко сделал Леночке предложение в Петербурге. Об этом матери рассказал приехавший Лёва, и Софья Андреевна спешит поделиться радостью с мужем: ведь судьба его родственников волнует ее не меньше своих – они одна семья!

Вид больного Лёвы удручает, но еще не пугает мать. Повторяем, вероятнее всего, Льва Львовича не было на новогоднем празднике в Хамовниках. А вот Толстой-отец в это время находился в Москве. 22 января он уехал в Ясную Поляну чтобы оттуда вместе с дочерью Машей вернуться в Бегичевку. Через месяц он вновь был в Ясной Поляне, и там впервые увидел сына после службы в армии.

«…мне жалко смотреть на него, – пишет он жене 25 февраля 1893 года, – как из такого жизнерадостного, красивого мальчика сделался такой болезненный».

В январе 1893 года Лев Львович находился в Петербурге, устраивая свои дела после выхода из армии. Там он, между прочим, раньше отца познакомился с Чеховым. Они до такой степени понравились друг другу, что решили вместе совершить кругосветное путешествие. Сначала – в Америку, на Всемирную выставку в Чикаго, а обратно в Россию – через Японию.

«Познакомился с Чеховым, с которым думаю ехать вместе в Америку, – писал Лев Львович матери 23 января, – славный, кажется, человек, во всяком случае интересный спутник».

Идея совместной поездки с Чеховым вокруг земного шара не покидала его до середины весны 1893 года, пока он окончательно не понял, что сил для путешествия у него нет. Видимо, до той поры всю серьезность и опасность его положения не понимали и

родные.

Чем он заболел? Определенного ответа на этот вопрос не дал ни один из врачей. А ведь им занимались светила московской медицины – Захарьин, Кожевников, Белоголовый; а в Париже – Потэн и Бриссан, ученик знаменитого Шарко. Все находили, что болезнь связана с расстройством нервной системы, которое влияет на работу желудочно-кишечного тракта, а тот в свою очередь оказывает влияние на нервы. Это был замкнутый круг.

Казалось, из него не было выхода. Он стремительно терял в весе и, пребывая в состоянии постоянной тревоги, порывался куда-нибудь *бежать*. Идея поездки с Чеховым, возможно, была вызвана той же причиной. Но не исключено, что это началось в нем гораздо раньше. Поэтому он оставил университет и бросился помогать голодающим, затем хотел отказаться от службы в армии, потом мечтал уйти из армии.

В дневнике сестры Татьяны 1894 года есть запись о брате: «Бедный, он хочет убежать от своей болезни, и на каждом новом месте ему кажется, что ему хуже, потому что надежды обманываются…»

Что за странная была болезнь! Она не ослабляла его волю к жизни. Напротив, усиливала! В самые критические минуты он *страстно хотел жить*. И страдал больше всего из-за того, что болезнь не позволяла этого. Всей душой он стремился *к жизни*! Он писал отцу:

«Милый папá, мне очень жалко и горько, что у нас вышло так нехорошо с тобой. Не сердись на меня и прости мне, если я доставил тебе страданий. Но это вышло против моей воли. Не думай также, что я когда-либо подделывался под твои взгляды, если я разделял их, то это было всегда совершенно искренно. Но отчего ты не понимаешь перемены моего настроения и не прощаешь мне. А то, что я огорчил тебя, меня мучает больше всего. Я не хотел этого. Но ты всегда будешь огорчаться на нас, пока будешь так строго требовать и вместе с тем не входить в нас.

Ты идешь своим путем, каждый из нас – своим…

…И потому я лучше, погибший, может быть, буду кататься на велосипеде, есть бифштексы в гусарском мундире, чем обманывать себя, тебя и других. Но знай, пожалуйста, и верь мне, ради Бога, что ты и то, что ты говоришь и чем живешь теперь, мне дороже всего на свете. Это правда и я не обманываю себя».

И что же отец? Он возмутился на «велосипед» и «гусарский мундир»? Нисколько! «От Лёвы вчера получил письмо, – пишет он жене, – и очень благодарен ему за него…»

Проще всего представить дело так. Упрямый, своенравный отец гнул сына в сторону своих убеждений, а тот, не справляясь с

давлением отца, заболел. Но Толстой не насиловал волю сына. Он не стремился к тому, чтобы сын стал его двойником. Просто само существование *такого* отца убивало в сыне способность к самостоятельной жизни. Впоследствии, пытаясь дать название своей болезни, Лев Львович не найдет других слов, кроме как *«продолжительная толстовская болезнь»*. Это была тяжелая форма душевной зависимости от отца. И это была проблема не одного Льва Львовича.

Писатель Скиталец (псевдоним Степана Гавриловича Петрова), водивший дружбу с сыновьями Толстого, вспоминал, что в беседах с ним Илья «проклинал свое происхождение от знаменитого отца; по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию».

На велосипеде стал кататься не Лев Львович. На велосипед в возрасте шестидесяти шести лет сел его отец. Это случилось весной 1895 года. Сначала он катался в Манеже, потом – по московским улицам и, наконец, – по дорожкам Ясной Поляны. Об этом событии писали даже американские газеты: «Граф Лев Толстой теперь катается на велосипеде, приводя в изумление крестьян в своем поместье».

Это увлечение пожилого мужа возмущало Софью Андреевну тем более что это случилось через месяц после смерти Ванечки. Негодовали «толстовцы», потому что это бросало тень на святость их учителя и вступало в противоречие с его проповедью отказа от роскоши. Велосипед в то время стоил весьма дорого[31].

И что же Толстой? Он пишет в дневнике: «Евгений Иванович отговаривал меня и огорчился, что я езжу, а мне не совестно. Напротив, чувствую, что тут есть естественное юродство, что мне всё равно, что думают, да и просто безгрешно, ребячески веселит».

В это время его сын уже находится в подмосковном санатории для нервных больных доктора Михаила Петровича Ограновича. Положение его было настолько плохо, что знаменитый русский невропатолог Алексей Яковлевич Кожевников объявил Софье Андреевне, что она не молодая мать и потому может «более спокойно принять известие, что Лёва выздороветь не может и ему грозят или смерть, или сумасшествие». Разводил руками и выдающийся терапевт Григорий Антонович Захарьин, тоже фактически «приговоривший» Льва Львовича к близкой смерти.

Софье Андреевне снились ночные кошмары: «Не то сплю, не то нет, вижу входит Лёва. Я ему обрадовалась, обняла его, а у

него в коже все кости сложились в кучку под моими руками; я чувствую, как они болтаются в коже и стучат, а лицо Лёвы улыбается и худое такое».

Трудно сказать, чем бы это всё закончилось, если бы во Льве Львовиче не была до такой степени развита *воля к жизни.* Много лет спустя в письме к своему племяннику уже находившемуся в эмиграции, его тетушка Татьяна Андреевна Кузминская писала: «Будь здоров, не унывай, в тебе было когда-то много жизненной энергии, когда ты кричал: Тетенькая, я зыть хочу! (выговариваю, как ты)».

Легко, просто и радостно

Нельзя сказать, чтобы отца совсем не волновала болезнь сына. Он думал о его душевном состоянии. Больше того, Толстой стал бояться за него даже раньше, чем его поразила болезнь. Это началось еще до службы Льва Львовича в армии. В письмах к жене и другим людям 1892 года Толстой часто пишет, когда разговор заходит о Лёве: «Я постоянно за него боюсь…» «Я всё боюсь за него…»

Болезнь Лёвы сблизила Софью Андреевну с мужем. «Последнее время наше горе о Лёве было так одинаково, что это нас связывало еще больше», – писала она ему из Москвы в Ясную Поляну в 1893 году.

Но странно: в ее дневнике этого времени звучит и совсем другая тональность. В том же 1893 году она пишет о муже чудовищные вещи! (Впрочем, впоследствии она раскаивалась за эти слова.)

«Я верю в добрых и злых духов. Злые духи овладели человеком, которого я люблю, но он не замечает этого. Влияние же его пагубно. И вот сын его гибнет, и дочери гибнут, и гибнут все, прикасающиеся к нему. А я день и ночь молюсь о детях, и это духовное усилие тяжело, и я худею, и я погибну физически, но духовно я спасена, потому что общение мое с Богом, связь эта не может оборваться, пока я не под влиянием тех, кого обуяла злая сила, кто слеп, холоден, кто забывает и не видит возложенных на него Богом обязанностей, кто горд и самонадеян. Я еще не молюсь о меньших, их еще нельзя погубить. Тут, в Москве, Лёва стал веселей и стал поправляться. Он вне всякого влияния, кроме моей молитвы».

В дневнике жены Толстой предстает душевным вампиром, бессердечным гедонистом. «Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает, пользуясь всем: услугами дочерей, комфортом жизни, лестью людей и моей покорностью и трудом. И слава, ненасытная слава, для которой он сделал всё, что мог, и продолжает делать. Только люди без сердца способны на такую жизнь. Бедный Лёва, как он мучился тем недобрым отношением отца к себе всё это последнее время. Вид больного сына мешал спокойно жить и сибаритствовать – вот это и сердило отца…»

Противоречие между письмами, дневниками и воспоминаниями Софьи Андреевны заставляет относится к ее словам предельно осторожно. Это тот случай, когда очень легко найти виноватого там, где его нет. Дневниковые записи Софьи

Андреевны продиктованы ее отчаянным положением. Болезнь сына свалилась прежде всего на ее голову. Болезнь эта во многом была вызвана попытками Лёвы следовать за отцом, буквально подражать ему. Но мог ли отец в этой ситуации чем-то помочь сыну?

Это возможно в обычной семье, где повторение сыном «матрицы» жизненного поведения отца при условии их взаимопонимания может стать источником семейной гармонии. В таких случаях говорят: «вылитый отец». Однако повторять поведение Толстого-старшего было не только опасно, но и бессмысленно. Толстой сам всю жизнь справлялся с самим собой и при этом не имел перед глазами никакого образца для подражания. Его работа на голоде была таким же стихийным и эмоциональным жестом, как и поступок молодого сына. Но Лев Львович на голоде все-таки чувствовал себя героем, а его отец – грешником. В это время Толстой признается в дневнике: «…нет жизни своей, которую бы я любил. Японцы, китайцы, малайцы, мои дети, моя жена – и все люди… Среди всех людей я один и одинок. И сознание этого одиночества, и потребность общения с людьми, и невозможность этого общения достаточна, чтобы сойти с ума».

В завершенной в это время религиозно-философской работе «Царство Божие внутри вас» Толстой выделяет три ступени жизнепонимания. Первое – личное, или *животное*. Второе – общественное, или *языческое*. И третье – всемирное, или *Божеское*. Толстой осознавал, что всякий человек (и он в том числе) в лучшем случае находится одновременно на всех трех ступенях и обречен находится на них всю жизнь. Личное, или животное, имеет свои не только отрицательные (похоть, чревоугодие и т. п.), но и положительные стороны: любовь к *своей* жене, *своим* детям, *своему* семейному очагу… Есть достоинства и в общественном, или языческом, миропонимании: любовь к *своей* родине, *своей* нации, *своему* обществу.

Но в человеке, считал Толстой, всегда заложено стремление к идеалу, который он обретает лишь в полном единении с Богом. «Ибо Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20–21). Поэтому смыслом человеческой жизни является максимальное преодоление «животного» и «языческого» миропонимания и приближение к «Божескому».

Процесс бесконечный, недостижимый, без известных результатов, ибо что происходит с человеком после смерти, мы не знаем. Но гарантией верности этого пути является «радость жизни», которую приносит этот процесс. А единственным свидетельством того, что ты находишься на этом пути, является

расширение любви к людям, всем без исключения, «японцам, китайцам, малайцам, моим детям, моей жене…»

Здесь-то и заключалось, быть может, самое серьезное противоречие в мировоззрении Толстого.

В 1907 году он написал своего рода духовное завещание молодежи под названием «Любите друг друга». В нем он доказывал, что любовь к людям есть самое радостное, самое естественное состояние души.

«Желать же блага всем людям значит любить людей. Любить же людей никто и ничто помешать не может; а чем больше человек любит, тем жизнь его становится свободнее и радостнее».

«Милые братья, зачем, за что вы мучаете себя? Только помните, что вам предназначено величайшее благо, и возьмите его. Всё в вас самих. Это так легко, так просто и так радостно».

«Да, милые братья, положим нашу жизнь в усилении в себе любви и предоставим миру идти, как он хочет, т. е. как определено ему свыше… Ведь это так просто, так легко и так радостно».

Но отчего *ему* было не радостно?

«Всё то же: то же упорство труда, то же медленное движение и то же недовольство собой. Впрочем, немного лучше. Нынче ездил на Козловку думал в первый раз: как ни страшно это думать и сказать: цель жизни есть так же мало воспроизведение себе подобных, продолжение рода, как и служение людям, также мало и служение Богу Воспроизводить себе подобных. Зачем? Служить людям? А тем, кому мы будем служить, тем что делать? Служить Богу? Разве Он не может без нас сделать, что Ему нужно. Да Ему не может быть ничего нужно».

В самый разгар работы на голоде старшая дочь Татьяна влюбляется в последователя отца Евгения Попова. Беда в том, что он женат. Начинается череда душевных терзаний, обмена дневниками, надрывной переписки… Татьяна испытывает чувство вины перед отцом и разрывает сердце матери, которая видит, что дочь надломила себя на голоде и вдобавок влюбилась в женатого человека. А ей уже тридцать лет, а она еще девушка.

Вторая дочь, Маша, самая духовная, оказалась и самой любвеобильной. Некрасивая внешне, похожая на отца, она обладала каким-то смертоносным обаянием. В нее влюблялись все молодые «толстовцы». И не «толстовцы» тоже. Маше это нравилось. Татьяна сердито пишет в дневнике: «Всякий мужчина так ее возбуждает, что просто смотреть неприятно. Хоть бы она скрывала это. Третьего дня она целый день была вяла и скучна, и жаловалась, что “зеленая” (тоска – *П. Б.*) навалила, а стоило приехать кому-нибудь, как она возбуждена и весела. Хотя бы она

вышла замуж поскорее, а то это киданье на шею каждому, кто возле нее поживет, – это безобразно. Как это смотреть людям в глаза, когда так испачкана, со столькими мужчинами была на “ты”, целовалась».

В Бегичевке она вскружила голову молодому Ване Раевскому. Затем, в Ясной Поляне, жертвой ее обаяния стал учитель музыки Николай Зандер. Если увлечение Маши Раевским встревожило родителей, то перспектива замужества с Зандером, безродным немцем, представлялась прямо-таки ужасной! Скрепя сердце Лев Николаевич написал Зандеру два письма, отговаривая его от женитьбы. Самой Маше он писал: «Милая, голубушка, хоть я в письме скажу то, что часто хочу сказать, но совестно: как ни больно тебе, но надо вынуть эту занозу, признаться себе, что на тебя нашла какая-то болезнь… Против него не хочу говорить. Для меня одно, это то, что я пишу ему: самый нелепый, не имеющий никакой основы, брак: ни рассудочной, ни страстной, ни разумной. А какая-то уродливая выходка».

Софья Андреевна (сама – полунемка) в письмах к мужу куда откровеннее: «…зачем ты дал себе расчувствоваться и написал письмо Зандеру? Ведь ты, по-видимому, в отчаянии, что всё это возобновилось; так, если твое прямое чувство противится этому, то прямо надо действовать. Ведь нельзя же пустить Машу в ее ненормальном состоянии броситься на шею этому жирному немцу только потому, что он сумел написать сантиментальное письмо? Нельзя себе представить Машу в этой немецкой, буржуазной среде с красноносым отцом, с ходьбой на рынок за сосисками и пивом, – с размножением белых Зандерят… Просто мерзость!»

И как, скажите на милость, третья, *Божеская*, ступень могла сочетаться с первой, *животной,* на которой как раз и кипели нешуточные страсти?!

И в это самое время заболел Лёва. Как всякий душевный больной, не понимающий причин своей болезни, он эгоистически требовал повышенного внимания и одновременно раздражался от этого внимания.

«Лёва опять мрачен и дергает меня за сердце, браня и доктора, и меня, и воды, и приходя в отчаяние. Мечется он ужасно, и мне тяжело, а помочь не умею и не знаю, как», – жалуется Софья Андреевна.

Сначала он загорелся желанием приобрести имение где-нибудь поблизости Ясной Поляны. Но ни к одному из них, кроме самой Ясной Поляны, у него не лежала душа.

«Лёве как будто лучше, но он всё мечется, не знает, на что решиться; хочется ему купить Дубны, но и не особенно ему

нравится это имение. Я думаю, на всё судьба, и теперь уже предопределено, где ему жить. Я ничего не советую ему, боюсь вмешиваться в дела судьбы…»

На четыре года болезнь сына стала кошмаром для матери. Он требовал к себе внимания, но при этом жестоко мучил мать, которая больше всех проявляла к нему внимание и любовь.

«Враждебность ко мне Лёвы увеличивается очень быстро и так непонятно почему, что никто, наверное, не нашел бы тому никакой причины. Даже то, что называется приставать с своими заботами и нежностями – и того теперь совсем нет. Описывать все подробности его придирок – я не могу, но вчера, когда я носила ему во флигель твое письмо, он довел меня до слез: я убежала, чтоб он не мог еще сказать, что я ему сцены делаю. – Сейчас он пришел, тихий, жалкий, – он так занят своими страданиями, бедный, что не чуток уж, как прежде, на всё окружающее. Вчера он не обедал у нас, а во флигеле, опять один, мы уже отобедали…»

Находясь в Москве, Лев Львович не жил в большом доме, которого являлся юридическим хозяином. Переселился один во флигель и даже питался в одиночестве. Может быть, его раздражала суета, царившая в доме. Но возможно, это была и своего рода болезненная демонстрация своей ненужности, никчемности.

«Вечером пошла посидеть к Лёве, – с горечью пишет Софья Андреевна, – я нечаянно упомянула о его нервах, повторив слова доктора Белоголового, что всё дело в нервах. Лёва неожиданно вскочил, начал страшно браниться: дура, злая, старая, вы всё врете!.. Каково переживать такие вещи! Всё меньше и меньше делается его жалко, так он беспощаден и зол, хотя всё это от болезни, и за болезнь все-таки его жаль».

И все эти годы Лев Львович продолжал оставаться поклонником учения своего отца. Он высказывал матери претензии, что она неправильно воспитывает младших детей, в точности повторяя мысли отца.

Раздражаясь на мать, хлопотавшую вокруг него, как встревоженная самка возле больного детеныша, он в то же время писал жившему в Ясной Поляне отцу самые нежные письма. «Милый друг папа́, нет дня, чтобы я не думал о тебе, потому что нет человека, который бы тебя больше любил и знал и чувствовал. Пожалуйста, когда вспоминаешь обо мне, пиши, хоть немного. Не вини меня за то, что я всё жду здоровья. Я удовлетворюсь очень маленьким, коли оно придет, а пока его нет совсем, нет жизни, как я ее понимаю и какой хочу жить. Обнимаю тебя. Что ты делаешь и как чувствуешь себя? Здесь мне хорошо, и

я все-таки живу немного, но не как я хочу, а как ты велишь».

Ответные письма отца оставляют сложное впечатление. Он старается выражать любовь к сыну, заботу о нем, но чувствуется, что это непросто ему дается. Болезнь Лёвы мешает ему жить привычной жизнью, вторгается в процесс его творческих переживаний и философских размышлений как нечто ненужное и постороннее. Но самое главное, заболев, Лёва в глазах отца стремительно опустился на первую ступень, животную, эгоистическую, а это отца интересовало меньше всего.

«Ужасно то, что это cercle vicieux[32], – пишет он сыну из Ясной Поляны, – от нездоровья ты думаешь о своем здоровье, а от думы ты делаешься нездоров. Нужнее всего и полезнее всего тебе было бы увлечение сильное мыслью и делом. И этого я желаю тебе, зная, что этого нельзя заказать».

Но Лев Львович оттого ведь и мучился, что он страстно хотел жить «мыслью и делом», но его физическое состояние не позволяло этого. В совете отца был свой «порочный круг»: тебе плохо потому, что ты не можешь увлечься чем-нибудь сильно, а увлечься ты не можешь потому, что тебе плохо.

В письмах отца к сыну слишком много морализаторства. «Болезнь многому научила тебя, но далеко еще не всему, и если проживешь здоровый, и даже больной, еще пятьдесят лет, всё будешь учиться и всё всего не узнаешь».

Самое удивительно, что письмо это было написано в конце октября 1894 года, а скончался Лев Львович 18 октября 1945 года, то есть прожил еще именно 50 лет!

«…неверно ты говоришь, что для служения нужны внешние силы. Это неправда, здоровья и внешних сил не нужно. Этим-то и поразительна для меня благость и мудрость Бога, что Он дал нам возможность блага, независимо от всех каких бы то ни было материальных условий… Это как крылья у птицы. Жить можно и должно всей материальной жизнью, работая в ней; но как только препятствие, так развернуть крылья и верить в них и лететь».

Всё это было мудро, и сравнение с птицей звучало, пожалуй, очень красиво… Но это было написано человеку, который, находясь на лечении в Париже и взвесившись, выяснил, что весит чуть более двух пудов, то есть тридцати двух килограмм. В связи с этим он горько шутил в письме к родным: «Из костей моих выйдет пакет небольшой…»

«Еще я хотел спросить тебя: веришь ли ты в Бога? – В какого? – ты спросишь. – В такого, по воле которого существует всё, что существует, и существует так, как существует, и, главное, явился ты с своей разумной, любовной, бессмертной душой, заключенной на время в этом теле… Надо верить в такого Бога, и

хорошо верить в такого Бога. Такому Богу можно молиться, разумеется не о том, чтобы изменилось что-нибудь в материальном мире, чтоб прошла болезнь, не пришла бы смерть и т. и., а можно молиться о том, чтобы Он помог познавать и исполнять волю Его, чтоб Он приблизил меня к Себе, чтоб Он помог откинуть то, что отделяет меня от Него. “Приди и вселися в ны”, как сказано в прекрасной молитве…»

Это тон проповедника, а не родного отца. Тем не менее, Лев Львович всё старался, что называется, *соответствовать* той религиозной высоте, которую задавал его отец. «Чем я живу? – пишет он отцу. – Стараюсь выздороветь, надеюсь, стараюсь помогать мальчикам, стараюсь не раздражаться на мама́ и входить, насколько могу в интересы ее солений и корректур, стараюсь не осуждать никого, видеть до конца и с новых сторон жизнь и людей, стараюсь смириться и быть довольным настоящим. Достигаю всего этого, насколько могу. Стараюсь иногда не желать выздороветь и кротко терпеть и слушать страдания и тогда понимаю, что их нет».

Одно из писем к отцу, было продиктовано им сыну художника Ге Колечке. Видимо, у Льва Львовича в ноябре 1894 года рука уже не держала перо. «Отвечаю на твое письмо, дорогой друг папа́, я знаю, что есть что-то в жизни людей, что двигает их по пути к истине… это что-то, совесть или разум, против нашей воли ведет нас куда-то, к чему-то лучшему, и вот в это что-то, в этого Бога я верю. И часто повторяю: да будет воля Твоя, думая, что так надо, так лучше. Молиться о том, чтобы вернулось здоровье, я перестал и прошу только сил и уменья переносить свое положение… Повторяю молитву Ефрема Сирина и еще свою выдумал…»

Невольно возникает мысль, что не только из-за своей болезни, но и под влиянием учения отца он к концу 1894 года дошел до полного отрицания воли к жизни, смирился со своим положением и готовился к смерти.

И здесь нужно смотреть правде в глаза. Отца меньше всего заботило физическое состояние сына. Он даже не пытался скрыть этого чувства. Куда больше он сочувствовал своей жене: «…Лёва тебя, как видно, теперь более всего мучает». В письме к Черткову Толстой писал о сыне: «Здоровье его не лучше. И странное дело, это физическое нездоровье нисколько не беспокоит меня. То, что он прибавил или убавил веса, оставляет меня совершенно равнодушным, тогда как всякая малейшая часть золотника его нравственного веса чувствительна мне и трогает меня».

И надо же так случиться, что в это время похожей болезнью заболела жена Черткова Анна Константиновна (Галя). И вот по

одним письмам Черткова, Толстой делает вывод, что нравственное состояние Гали гораздо выше его сына: «Разница между Лёвой и ею та, что в ней больше смирения и потому больше силы духовной». Толстой вместе с дочерью Машей искал фельдшерицу для больной Гали, чтобы отправить в воронежское имение Чертковых. «Всей душой сочувствую вам, – пишет он Чертковым, – т. е. вам обоим, вам и Анне Константиновне… Очень хочется посмотреть на вашу жизнь и вместе с вами понести и тяжесть и радость ее. Я не отчаиваюсь приехать к вам. Наши – Таня с Лёвой, который всё мечется, едут назад из Парижа. Должно быть будут здесь около 20-го и тогда, если ничто не помешает и буду жив, постараюсь съездить к вам».

Попытка Льва Львовича по совету докторов вылечиться в Канне не увенчалась успехом. В начале 1894 года он переехал в Париж, но там ему стало так плохо, что он вызвал к себе старшую сестру Таню панической телеграммой.

В отправленном затем письме был крик отчаяния: «Я жду тебя, милая Таня, если ты еще не уехала по телеграмме. Возьми меня, свези домой и свяжи и лечите. Мне нужны люди свои, обычная тихая и скучная жизнь и нянька или я лягу в московские клиники».

Реакция отца была поразительной! «Папа́… нас окатил холодной водой, сказав, что ехать мне безумно, что Лёва сам раскается в том, что выписал меня…» – пишет в дневнике Татьяна по дороге в Париж. Там же она объясняет, в чем состояла любовь отца к Лёве: «…папа́ вчера говорил о своей любви к Лёве. Что малейшее изменение его внутренней жизни, взглядов, ему чувствительно, он следит за ним и видит всякое колебание, и ему больно за отступление и радостно за приближение его к истине, но что о его физическом состоянии он совсем не думает и не может заботиться. И говорил о том, что есть другая любовь, которая заботится о том только, чтобы человек был здоров, одет, сыт, – иногда эти два рода любви сходятся, но следовало бы ко всем относится так, как он к Лёве. Потом засмеялся и говорит: “А вот меня огорчает, что у Тани зубы падают”».

Ну можно ли это назвать любовью?!

Возращение больного Льва с Таней из Парижа досадно мешает отцу с Машей поехать к Чертковым. Между тем от Черткова тоже приходит паническая телеграмма: «Гале сегодня было совсем плохо. Думали, что умирает. Теперь немного ожила, но очень плоха. Хотела видеть вас».

«Не могу вам выразить, дорогой, милый друг, как я люблю вас и как желал бы быть теперь с вами. Теперь мне невозможно ехать. Лёва только нынче приехал и жалок, говорит, что

чувствует, что всё кончено, что не выздоровеет и рад только тому, что умрет дома среди своих. Думаю, что это в большой степени следствие четырех ночей в вагоне, но всё-таки не могу оставить его теперь, тем более, что все восстают против моей поездки. Но как бы они не восставали, через дня два, три, когда он, как я надеюсь, окрепнет немного, я поеду, если буду жив, и буду иметь радость с вами разделить ваше горе, надежды и радость», – отвечает Толстой. А спустя шесть дней Чертковым летит телеграмма: «Завтра курьерским выезжаем; есть ли проезд? Отвечайте. Толстой».

Такое отношение отца обижало сына. Позже он напишет: «Когда профессор по нервным болезням в Московской клинике Кожевников, осмотрев меня, объявил родителям, что мне остается по большей мере два года жизни, отец пришел ко мне и стал “утешать”, говоря, что *“каждому дан свой круг жизни*: одному – сто лет, другому – два года, третьему – двадцать пять”. Никогда не забуду, с каким ужасом я взглянул на него, не веря, что он может быть таким жестоким. До сих пор я не понимаю, как мог он сказать это. Вероятно, чтобы утешить самого себя в случае моей смерти…»

В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна пишет: «Лев Николаевич никогда не мог жить в атмосфере страданий других, особенно близких ему людей, и умышленно, а скорее, даже инстинктивно отрицал их, бежал от них. Так было всегда и со мной. Это я записала в своем дневнике в 1894 году, а в 1910 году случилось именно это. Я заболела нервно, и Лев Николаевич не вынес моего состояния и ушел».

В ноябре 1894 года состоялась встреча Толстого с лечащим его сына профессором Николаем Андреевичем Белоголовым, известным терапевтом, наблюдавшим в свое время Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. Профессор не стал скрывать серьезность положения Льва Львовича и заявил, что единственный выход – это помещение в лечебницу с самым жестким распорядком дня, где больной «так сказать, дрессируется в строжайшей дисциплине, где место этого характерного безволия заменяет строгая воля врача; где каждый день в назначенный час является к нему то баде-мейстер, то гимнаст и проделывает то, что предписано врачом, где еда строго регулирована и где главное больной знает, что за всякое нарушение предписаний врача он будет немедленно удален из лечебницы». Реакция на это Толстого была такой:

«Да, – перебил граф, – это я вас понимаю, это в роде того, что и мне иногда представлялось: взять его с собой на тройке, завести далеко и вывалить в снег и самому уехать; выбирайся – дескать,

голубчик, как сам знаешь».

Нет, это была не жестокость. Это была слабость Толстого. Слабость не только характера, не способного переносить страдания близких людей и стремящегося от них спрятаться, убежать. Это было и самое слабое звено его мировоззрения. Одно дело сказать: «Любите друг друга! Ведь это так просто, так легко и так радостно!» И совсем другое – искренне полюбить слабого, больного сына, на время превратившегося в жалкое, эгоистическое существо, которое раздражало не только отца, но порой и мать, и старшую сестру, примчавшуюся спасать его в Париже. «Лёва всё плох и ужасно духом низко пал. Избави Бог мне его осуждать: я, может быть, была бы гораздо хуже его; но грустно видеть человека, который так снял с себя всякие нравственные обязательства… И ужас как много во мне эгоизма: я совсем не умею отдаться другому, мне часто обидно отношение Лёвы ко мне, когда он забывает, что я не ела, что я устала, что не здорова и т. п. Почти каждый день, когда я готовлю обед или завтрак, он мне говорит: “Зачем так много?” Мне совестно отвечать “это мне”, точно я могу жить не евши…»

И выходит, здесь и была проверка на любовь. На первой, самой низкой, *животной* ступени.

Судьба Хохлова

Невесело и мутно начался 1895 год в хамовническом доме Толстых. Толстой тяготился жизнью в Москве. Возможно, из-за болезни Лёвы, который продолжал страдать, капризничать и мучить родных.

В декабре 1894 года в доме собрали консилиум докторов по нервным болезням. Состояние больного обсуждали виднейшие невропатологи того времени Владимир Карлович Рот и Алексей Яковлевич Кожевников. «Они нашли Лёву очень плохим, – писала Софья Андреевна сестре Татьяне Андреевне Кузминской, – мало дали надежды на полное выздоровление, нашли болезнь кишок и крайнее нервное расстройство. Советовали электричество, но Лёва уперся и говорил, что вместо ухода за ним я мучаю его докторами, рыдал, сердился, жаловался, говорил о самоубийстве…»

Она писала, что страшно устала. Кроме Лёвы, ей приходилось много заниматься младшими детьми Андреем, Мишей, Сашей и Ваней. Старшие дочери после работы с отцом на голоде, по мнению матери, выглядели утомленными и к тому же переживали безнадежные «романы».

«Неужели мои дочери не выйдут замуж?» – жалуется в дневнике встревоженная мать.

1 января 1895 года Толстой вместе с дочерью Таней уехал в гости к своим друзьям Олсуфьевым в подмосковное имение Никольское. Это опять было похоже на бегство. Уезжали ночью, на санках. А в четыре часа утра в доме раздался звонок. Накинув халат, Софья Андреевна вышла в переднюю и к ужасу своему увидела одного из последователей мужа – Петра Хохлова, полуодетого, растрепанного и уже несомненно сумасшедшего. В последнее время он постоянно преследовал Таню, так что она боялась выходить на улицу. Предлагал стать его женой.

Увы, судьба Хохлова была характерной для некоторых «толстовцев».

Петр Галактионович Хохлов, студент Высшего технического училища, из семьи биржевого маклера, против воли отца стал последователем учения Толстого, решил бросить училище и жить своим трудом на земле. Отец написал Толстому письмо с упреками в гибели своего сына. «Мы, его родители, я, отец, старый и больной человек, и мать его, жена моя, слабая, болезненная женщина, и он у нас единственная опора». Толстой ответил на это своим письмом:

«Учение Христа есть учение о благе и потому, если

последствие учения Христа нарушает благо людей, то надо предполагать, что в понимании учения Христа есть ошибка и надо искать эту ошибку до тех пор, пока не будет найден такой путь, при котором не нарушается ничье истинное благо. Позвольте дать вам совет… Совет мой вот в чем: постарайтесь не сердиться на вашего сына, подавить в себе чувство оскорбления, если вы его испытываете, вызовите в себе самые лучшие чувства ваши к сыну и только в таком миролюбивом и любовном настроении говорите с ним. Вы покорите его любовью».

Самому Петру Хохлову он писал: «Дорогой друг Петр Галактионович, сейчас получил ваше письмо, и слеза прошибла меня, и теперь пишу со слезами на глазах. Друг мой. Как бы я счастлив был, коли бы мог помочь вам, но то, что предстоит вам решать, вы решите тем лучше, чем более будет один, т. е. с Богом. Мне-то хочется видеть вас, и потому, в отношении приезда ко мне, делайте так, как Бог на сердце положит».

Впрочем, в следующем письме Толстой пытался отговорить молодого человека от поспешного шага: «Дорогой Петр Галактионович. Я сейчас получил письмо от вашего отца, которое очень тронуло меня. Это не шутка, милый друг, надежды и труды, направляемые этими надеждами, в продолжении 20 лет. Ему должно быть больно, больно, ужасно больно. И не могу примириться с тою мыслью, чтобы учение о благе, исполняемое в жизни, могло иметь такие последствия. Что-нибудь тут не так».

Хохлов бросил училище, оставил родителей и последовал за Толстым в буквальном смысле. Он появлялся в Ясной Поляне и Бегичевке, совершая с учителем путешествия по другим «толстовцам», занимавшимся сельским хозяйством. «Христообразный», как определил его Валентин Булгаков, он скорее смущал Толстого. Великий психолог догадался, что ничего хорошего из этого не получится. «Жутко, знаю, что не выйдет то, чего он жаждет…» – пишет он в дневнике после первого же знакомства с ним.

В начале 1895 года Хохлов сошел с ума и был помещен в московскую Преображенскую психиатрическую клинику. Толстой навещал его, «возился» с ним, как он замечает в дневнике. В больнице с Хохловым обращались как с обычным сумасшедшим. Толстого это возмущало. «Не ожидал такой подлости и жестокости от врачей», – пишет он в дневнике. Но временами Хохлов и сам понимал, что «запутался». «Я и право стал сумасшедший», – сказал он Толстому во время его последнего визита. «Не знаю, как помочь ему», – сетовал в дневнике Толстой.

31 августа Хохлов сбежал из психиатрической клиники и пропал. Его отец вновь обратился с письмом к Толстому в

надежде, что сын находится в Ясной Поляне. Но его не было там. «Милостивый государь, Галактион Иванович, – ответил Толстой. – Я слышал уже прежде получения вашего письма о том, что Петр Галактионович ушел из больницы. К сожалению, он не появлялся у нас, няне знаю, где он. Если бы он пришел к нам, сейчас извещу вас. Очень соболезную и ему и вам и сам душою страдаю о нем».

В 1896 году Петр Хохлов скончался.

Толстой как болезнь

В то время, когда Хохлов находился в психиатрической больнице, сын Толстого Лев Львович тоже проходил курс лечения в Санаторной колонии доктора Ограновича. Так называлось это заведение, расположенное в селе Аляухове Звенигородского уезда Московской губернии.

Мать с отцом навестили его в конце марта 1895 года и вроде бы даже прожили там несколько дней. Но об этом имеются лишь косвенные свидетельства: воспоминания знаменитого тогда писателя и журналиста Александра Валентиновича Амфитеатрова (который перепутал год, назвав 1894-й) и очень позднее письмо сына Ограновича биографу Толстого Николаю Николаевичу Гусеву. Судя по письму Толстого дочери Марии от 18 марта 1895 года, поездка родителей в Аляухово состоялась 20 марта. Однако в дневнике Толстого она не обозначена, в отличие от посещения больного Хохлова и другого последователя, Николая Трофимовича Изюмченко, который за отказ от военной службы находился в тюрьме. Об этих двух посещениях Толстой пишет 28 марта 1895 года как о важных событиях.

В воспоминаниях Софьи Андреевны значится другая дата посещения больного Лёвы – 22 апреля – но при этом не упоминается, что с ней был и Лев Николаевич. «Застала я его лежащим на постели, около дома, на дворе, закрытым меховой шубой. Он поправился и прибавил тогда весу двадцать два фунта[33]. Но был очень плох своим мрачным настроением, эгоистичным, хотя спрашивал о всех, и особенно о Ванечке».

Невольно создается ощущение, что или поездка к больному сыну не оставила глубокого впечатления в памяти его отца (также, как посещение отцом сына не запомнилось его матерью), или Толстой просто не знал, что писать о ней в своем дневнике.

К тому же в это время случилось важное событие. В ночь на 21 февраля 1895 года скончался Николай Семенович Лесков. В своей записке «Моя посмертная просьба» он просил похоронить его «по самому низшему, последнему разряду». Это завещание, опубликованное в газетах, впервые заставило Толстого задуматься о собственной посмертной воле. 27 марта он пишет в дневнике первое неформальное «завещание».

Среди этих событий и волнений состояние здоровья больного сына оказалось в стороне от главных мыслей и переживаний отца.

Как в свое время, по словам Валерии Абросимовой, он «пропустил момент наивысшей близости взрослеющего сына», как позднее не придал серьезного значения началу его душевной

болезни, так и теперь не обратил внимания, что сын стал хотя и медленно, но выздоравливать.

«Из всех докторов, лечивших меня в те годы, наконец нашелся один, советы которого вывели меня на путь здоровья. Это был Огранович – доктор моей тети, графини Марии Николаевны Толстой, сестры отца, – который имел в то время санаториум возле Москвы, в чьей-то помещичьей усадьбе, которую он нанимал», – вспоминал Лев Львович.

Михаил Петрович Огранович (1848–1904) – выдающийся русский врач, отец-основатель санаторно-курортного дела в России, которым он занялся после изучения лечебных пансионов в Швейцарии. Так, им был открыт один первых санаториев в России вообще и первый в Крыму – в западной части Ялтинской бухты в селе Чукурлар. Санаторная колония близ Звенигорода была основана им в имении графа Шереметева. Здесь лечились многие известные люди: писатели Станюкович, Эртель, Амфитеатров, Гиляровский, Андрей Белый, публицист и общественный деятель Михайловский, художники Нестеров и Левитан. Сын Толстого поступил сюда в критическом состоянии…

«Огранович заставил меня по три, четыре раза в день есть гречневые каши на воде, так называемые “размазни”, для оживления кишечника и лежать целыми днями в саду прямо на снегу. Он находил, что моя болезнь не что иное, как застарелая форма малярии, от засевших во мне микробов тех самых лихорадок, которыми я болел в детстве…» – вспоминал он.

С диагнозом Огранович неожиданно согласился и Толстой-старший, скептически относившийся к любым методам лечения Лёвы. 15 февраля 1895 года он пишет в дневнике: «Вчера Огранович помог мне отнестись справедливее к Лёве. Он объяснил мне, что это скрытая форма малярии – гнетучка[34]. И мне стало понятно его состояние и стало жаль его, но всё не могу выразить живого чувства любви к нему».

Огранович выбрал правильный метод обращения с больным. Тот самый, на котором настаивал и доктор Белоголовый. *Полное подавление личной воли* и подчинение строжайшей дисциплине. Есть «размазню» – значит есть! Лежать на снегу целый день – значит лежать! О том, что именно это ему необходимо, инстинктивно догадывался и сам Лев Львович, когда в уже цитированном паническом письме из Парижа умолял отвезти его в Россию и «связать». Но интереснее всего то, что об этом догадывался и его отец.

В дневнике 1895 года Толстой называет сына «тяжелым испытанием». Лёва действительно стал испытанием для семьи. Проблема его была в том, что он не справлялся с собственным

«я». Его внутренний мир представлял собой катастрофическое столкновение ценностей и ориентиров. Он искал и не находил в себе самого себя, *Льва Толстого*, потому что это место уже было занято отцом. Но мириться с этим не хотелось, и это вело его к новым поискам и разочарованиям. И возникает деликатный вопрос. В самом ли деле Толстой-отец, как считал Лев Львович, *недобро* относился к своему сыну? Не любил его? И даже презирал?

Или в какой-то момент он понял, что главная беда Лёвы состоит в том, что он не способен жить и реализоваться как личность *без отца*, а в то же время не способен на это как раз по причине *существования отца.* Но если это было так, то это была нерешаемая проблема. Тот самый порочный круг, о котором он намекал в письме к сыну. Что мог сделать Толстой-отец, чтобы разорвать этот порочный круг?

Читая письма отца к сыну, замечаешь, как в них постепенно меняются тональность и акценты. Сначала он сердится, негодует на сына, когда тот, по его мнению, отклоняется от истины, от пути освобождения духовного, Божеского из материального, эгоистического. И наоборот, радуется, когда духовное начало в сыне побеждает. Но с какого момента он начинает прямо советовать ему *отказаться от собственной воли*. Но для преодоления в себе материального и воспитании духовного нужна несокрушимая воля, железная самодисциплина! Вспомним, как в одном из писем он убеждал сына доверчивать все внутренние винты до конца, а если у него нет такой отвертки, пусть возьмет ее у него. Но, возможно, когда сын заболел, Толстой понял, что Лёва сорвал в себе эту внутреннюю резьбу. Настолько она была слабой и ненадежной. И тогда тон его писем изменился.

22 октября 1893 года он пишет дочери Татьяне в связи с ее беседой о брате с доктором Захарьиным: «Спасибо тебе, милая Таня, за обстоятельное письмо о Лёве. Всё одно, и всё мы знаем, и всё ему тяжело, и всем нам тоже. На что, в самом деле, доктора, когда они всегда, когда что-нибудь нужно знать, ничего не знают? Совершенно, как фокусы с картами, когда как будто угадывают, а в сущности только повторяют то, что он сам ему сказал, только запутавши ответ. А притом лапис и бром. Ну, да главное дело надо отрешиться от своей воли. Авось лапис и бром не сделают слишком много вреда. Скажи Лёве, что я продолжаю ему советовать подчинение».

21 февраля 1894 года он пишет сыну, когда тот лечится в Париже: «Ты не конфузься за свою слабость, что не перенес одиночества и отчаивался. Я не только не осуждаю тебя, но

радуюсь видеть, что ты и больной живешь, не спускаешь нравственных требований к себе».

Софье Андреевне – 26 марта 1894 года: «Что Лёва? Лучше ли ему, чем в тот день, когда мы уезжали? Скажи ему, чтобы он тебя не обижал, а слушался».

Больше всего в этих письмах смущает то, что его как будто совсем не волновало тяжелое физическое состояние сына. Он с самого начала был убежден, что болезнь Лёвы пройдет сама собой, без какого-либо лечения.

«Здоровье его меня мало беспокоит, – пишет он Софье Андреевне, когда мать сходит с ума, видя, как Лёва превращается в «мешок с костями», – я как-то уверен, – дай Бог не ошибиться, – что оно в свое определенное время восстановится совершенно независимо от докторов и климата…»

Та же уверенность звучит в письме к сыну: «Болезнь твоя, по моему мнению, пройдет не от лечения, не от докторов, не от климата даже, а от того, что придет время ей пройти…»

И ведь в конечном итоге он оказался прав! Болезнь прошла, когда Лев Львович, утратив последние физические силы, вынужден был отказаться от «Толстого» в себе. Он (по крайней мере, на некоторое время) вылечился от того, что сам называл «толстовской болезнью». Об этой опасной болезни знала и его мать Софья Андреевна.

«Отличительная черта сына моего Льва, – писала она, – была общая с отцом. Она состояла в вечном искании, вечной неудовлетворенности. Конечно, искании всего лучшего, полезного и доброго. На этом пути трудно найти удовлетворение, так как всякое совершенство недостижимо, и вечное стремление и борьба в конце концов утомляют. Сколько раз в жизни, глядя на мужа и на сына, хотелось бы дать им хотя бы временного счастья и удовлетворения… Но это было невозможно…»

Об этой болезни знал и Толстой-отец… Ценой огромного внутреннего напряжения он не только научился с этой болезнью справляться, но сделал ее главным содержанием жизни, мощным рычагом духовного развития и самосовершенствования. Внимательный читатель его дневников обратит внимание на то, до какой степени сам Толстой был подвержен тяжелым депрессиям. Они сопровождали его всю жизнь. Врачи объясняли это плохим состоянием печени и желчного пузыря. Что ж, в таком случае печень и желчный пузырь тоже были использованы Толстым как рычаг духовного развития. Преодолевая свои физические недомогания, он и здесь нашел пользу и закалялся духовно. В этом было его отличие от своего сына. Но именно поэтому он не мог испытывать «живого чувства любви к нему».

Это означало бы полюбить свою болезнь.

В 1895 году он пишет в дневнике: «Всё та же апатия, лень. Ничего не работаю. Велосипед. Приехал Лёва… Он тяжелое испытание…» И в том же году: «Здоровье всё плохо. Очень слаб. Желчь наполняет желудок и мутит. Я боюсь, что начинаю вдаваться в лечение себя и слежение за собой, то самое, что я так осуждал в Лёве».

Смерть Ванечки

Но все события зимы и весны 1895 года померкли на фоне того, что случилось вечером 23 февраля. В три дня от скарлатины умер младший из детей Толстых – шестилетний Ванечка. Самый любимый ребенок Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Душа и сердце многочисленной семьи Толстых.

Это был тринадцатый и последний ребенок. До него родители пережили смерть нескольких младенцев – Вари, Петра, Николеньки и Алеши. Но ни одна из этих смертей не переживалась так болезненно, как смерть Ванечки. Это было, наверное, самое страшное семейное потрясение, сравнимое только с уходом Толстого из Ясной Поляны в 1910 году.

Сын Толстого Илья Львович писал, что «кто знает, может быть, если бы Ванечка был жив, многое и многое в жизни отца произошло бы иначе. Быть может, этот чуткий и отзывчивый ребенок привязал бы его к семье, и у него не явилась бы навязчивая мысль уйти из Ясной Поляны».

Это верное предположение, потому что в 1910 году Ванечке было бы двадцать два года, и он мог бы разумно примирить отца и мать.

Ванечка родился 31 марта 1888 года. Софья Андреевна приближалась к своему сорокачетырехлетию, а Льву Николаевичу было без малого шестьдесят лет. Но с самого начала Толстой видел в этом сыне своего *духовного наследника*. Когда Ванечка только родился, Софья Андреевна писала сестре: «Лёвочка взял его на руки и поцеловал; чудо еще невиданное доселе…» Сам Лев Николаевич заметил в дневнике: «К нему странное чувство “ай”, благоговейного ужаса перед этой душой, зародышем чистейшей души в этом крошечном и больном теле».

Ванечка рос болезненным ребенком. Как-то, взглянув на него, брат Лев сказал в присутствии Софьи Андреевны: «Не жилец он на этом свете». Это, видимо, чувствовали все члены семьи и даже посторонние. Побывавший однажды у Толстых известный публицист Михаил Осипович Меньшиков писал Софье Андреевне после смерти Ванечки: «Когда я видел вашего маленького сына, то думал, что он или умрет, или будет гениальнее своего отца». Задатки *нового Льва Толстого* увидел в Ванечке и Николай Николаевич Страхов, который писал Толстому: «Он много обещал, может быть, наследовал бы не одно ваше имя, но и вашу славу».

Всех поражало внешнее сходство Ванечки с отцом. В чем тут было дело, понималось не сразу. Отец становился стариком, у

него выпадали волосы на голове, нос делался «картошкой» и появилась известная всему миру седая борода. Ванечка был бледен, белокур, локоны до плеч. Но достаточно было внимательно посмотреть на него…

«На этом детском личике поражали глубокие, серьезные серые глаза; взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углубленным, проникающим, и тогда сходство со Львом Николаевичем еще более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, постепенно уходящий из жизни, другой – ребенок, а выражение глаз одно и то же, – вспоминал поклонник Толстого Гавриил Андреевич Русанов. – Лев Николаевич был убежден, что Ваня после него будет делать “дело Божье”».

К старости Толстой всё меньше и меньше занимался своими детьми. «Без руля и без ветрил» росли младшие сыновья Андрей и Михаил. Особенно Андрей, который рано пристрастился к алкоголю, пропадал ночами на деревне, целыми днями играл на гармошке и напугал родителей тем, что после гимназии собрался жениться на яснополянской крестьянке Акулине Макаровой. В связи с этим в октябре 1895 года отец написал сыну письмо, где справедливо указывал, что «питье водки» и «игра на гармонии не имеют ничего общего с женитьбой» и что «человек никак не может жениться, будучи в таком состоянии».

Старшие дочери продолжали служить отцу, но мечтали о замужестве. Толстой понимал, что рано или поздно они его оставят. Старшие сыновья Сергей и Илья жили врозь с родителями. Илья женился рано, Сергей – поздно, в том же 1895 году. Лев болел, а младшая дочь Саша, которая в будущем окажется самой преданной последовательницей отца, была еще мала, в 1894 году ей исполнилось десять лет. К тому же мать по сложным причинам не любила младшую дочь.

Ванечка душевно объединил всю эту непростую, многоликую семью. Отличительной чертой его характера было *миротворчество*. Это дитя не выносило семейных ссор и старалось всех немедленно помирить. У него было врожденное чувство справедливости. Он сразу вступался за слабого, будь это сестра Саша, которую обижали старшие братья, или няня, на которую могла накричать мама. И это не было испугом, обычным для ребенка во время домашних ссор, но очень ранним проявлением доброты и любви к людям. Он мог расцеловать руки кухаркиного сына Кузьки просто от радости, что видит его. Он любил устраивать праздники и готовить подарки. «Он волновался за несколько дней, у всех спрашивал, кто что подарит няне, и сам готовил ей чашку, платочек, шкатулочку или что-то еще», –

вспоминала Софья Андреевна.

Возможно, Толстой не просто любил Ванечку, как старый отец любит позднего ребенка, но испытывал к нему определенный духовный интерес. Ванечке легко давалось то, что сам Толстой добивался в себе с огромным трудом. У него от рождения было то, к чему отец так стремился. Поэтому он любил проводить с ним время, часто играл с ним и в то же время вел самые серьезные разговоры о добре, любви и справедливости. И трудно сказать, кто кого учил. Он говорил отцу: «Папа́, никогда не обижай мою маму». А матери: «Не сердись, мама. Разве не легче умереть, чем видеть, когда люди сердятся…»

Однажды Ванечка все-таки обиделся на отца и запретил ему входить в свою комнату. Толстой оскорбился и нарочно вошел. Потом он записал в дневнике: «Трудно нам, порченным гордецам, прощать обиду, забывать ее, любить врагов, даже таких, как милый 3-летний В.». Работая над «Катехизисом» (кратким изложением своей веры), Толстой писал Попову: «Проверка одна – доступность младенцам и простым людям – чтобы было понятно Ваничке и дворнику».

Ванечка обладал выдающимися способностями. В шесть лет свободно говорил по-английски (и даже учил английскому старого художника Ге, который говорил о нем: «Это мой учитель»), понимал немецкий и французский языки. Он хорошо рисовал, был очень музыкален, сначала диктовал, а затем сам писал письма родным и, не прожив на свете и семи лет, оставил художественный рассказ «Спасенный такс», напечатанный Софьей Андреевной после его смерти.

И умирал он как-то необычно… Незадолго до смерти спросил мать, правда ли, что дети, умершие до семи лет, становятся ангелами. Да, ответила она. «Лучше и мне, мама, умереть до семи лет». У него не было страха смерти («Не плачь, мама, ведь это воля Божья»), но при этом на смертном одре испытывал тоску. Последними словами были: «Да, тоска…» (По версии Льва Львовича, последние слова младенца: «Вижу… Вижу…»).

Его похоронили рядом с братом Алешей на кладбище села Никольское близ Покровского-Стрешнева, где родилась Софья Андреевна. В 1932 году здесь прошла трасса строительства канала Москва-Волга, и останки детей перезахоронили в селе Кочаки в нескольких километрах от Ясной Поляны, где покоятся многие члены семьи Толстых. Как рассказывала свидетельница, «гробы были выкопаны из сухого песчаного грунта, и при вскрытии гроба Ванечки поразило, что его голова с локонами была как живая, но буквально на глазах, от соприкосновения с воздухом, кожа лица стала темнеть и волосы осыпались».

Софья Андреевна не могла оправиться от потрясения многие годы. Именно с этого началось ее серьезное психическое расстройство. Ее мучили ночные галлюцинации, в Ясной Поляне она уходила в сад и беседовала с мертвым Ванечкой на сокровенные женские темы. Но и Толстой, много видевший в жизни разных смертей, сначала не мог определить отношения к *этой* смерти. «Похоронили Ванечку. Ужасное – нет, не ужасное, а великое душевное событие. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя».

За что он благодарил Бога? За смерть сына? За новое испытание? Или за новое понимание смысла жизни? Несколько позже он записал в дневнике: «Смерть Ванечки была для меня, как смерть Николеньки (старшего брата Толстого – *П. Б.*), нет, в гораздо большей степени, проявлением Бога, привлечением к Нему. И потому не только могу сказать, что это было грустное, тяжелое событие, но прямо говорю, что это (радостное) – не радостное, это дурное слово, но милосердное от Бога, распутывающее ложь жизни, приближающее меня к Нему событие».

И затем: «Смерть детей с объективной точки зрения: природа пробует давать лучших и, видя, что мир еще не готов для них, берет их назад. Но пробовать она должна, чтобы идти вперед. Это запрос. Как ласточки, прилетающие слишком рано, замерзают. Но им все-таки надо прилетать. Так Ванечка. Но это объективное дурацкое рассуждение. Разумное же рассуждение то, что он сделал дело Божие: установление царства Божия через увеличение любви – больше, чем многие, прожившие полвека и больше».

И еще: «Да, жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок. Он и умирает всегда. Всегда умираю и я».

На третий день после смерти сына Толстой сказал: «В первый раз в жизни я чувствую безвыходность…»

А Софья Андреевна утверждала, что именно после смерти Ванечки Лев Николаевич стал стариком.

Завещание младенца

С февраля по апрель 1895 года Лев Львович лечится в подмосковной санатории Огрaновича, а затем по его совету уезжает в Ганге – городок на юге Финляндии с большинством шведского населения. Здесь он пробудет до осени, а в сентябре переедет в Швецию, в Энчёпинг, к врачу Эрнсту Вестерлунду.

Весь 1895 год Лев Львович всё еще остается «толстовцем» и очень нуждается в поддержке отца. «Милый друг папа́, нет дня, чтобы я не думал о тебе…» – пишет он ему из Гангё.

Отец же озабочен совсем другим. 1895 год – одновременно и тяжелое, и очень насыщенное разными событиями время в жизни Толстого. Смерть Ванечки, начало душевной болезни жены, ее увлечение музыкантом Сергеем Ивановичем Танеевым, которое рождает в шестидесятисемилетнем Толстом чувство ревности, поведение младших сыновей Андрея и Михаила, женитьба старшего Сергея и другие семейные волнения отвлекают Толстого от творческой работы, но все-таки не настолько, как во время помощи голодающим. В этом году написана одна из его лучших повестей «Хозяин и работник», пишется «Воскресенье», задумана пьеса «И свет во тьме светит».

Этот год – начало театрального триумфа Толстого. 18 октября на сцене Александрийского театра состоялась премьера «Власти тьмы». Успех был невероятный! Из семьи Толстых на премьере были Софья Андреевна с дочерью Таней и сыном Михаилом. Толстой в Петербург не поехал.

«Вызывали неистово автора, – пишет Софья Андреевна мужу, – целый антракт кричали, пока сказали, что автора в театре нет. К нам в ложу нагрянуло столько народу, баронесса Икскуль, Репин, Григорович, дамы разные – просто ужас».

На премьере пьесы в Малом театре в Москве 29 ноября Толстого тоже не было. Но он пришел на генеральную репетицию спектакля.

«Поставили “Власть тьмы” превосходно, – в тот же день в письме к Льву Львовичу поделилась радостью Софья Андреевна. – Декорации так сделаны, особенно двора, что полный престиж и можно забыть, что это театр, а не действительность. Играют тоже хорошо, хотя желательно бы лучше. Когда кончилась сцена Митрича с девчонкой, которая сыграла удивительно, – весь театр плакал… Папа не очень показывал, что с ним происходит; он усиленно сморкался и молчал. Только сказал, что жалко, что такую девочку маленькую играть заставили такую ужасную вещь и что совестно это. А это-то и трогательно, по-моему, что девочка

маленькая».

С этого времени «Власть тьмы» с успехом шла во многих театрах. Но слава Толстого-писателя не мешала власти продолжать и даже усиливать гонения на «толстовцев». Кроме Хохлова и Изюмченко за отказ от военной службы пострадали публицист Михаил Аркадьевич Сопоцько и друг Толстых, театральный деятель Леопольд Антонович Сулержицкий – одного посадили в тюрьму и сослали в Олонецкую губернию, другого отправили на принудительное психиатрическое обследование.

В июне 1895 года начинаются гонения на секту духоборов, которой сочувствовал Толстой. Поводом стало торжественное сожжение духоборами оружия в Елизаветпольской и Тифлисской губерниях. Если в первой – это прошло сравнительно спокойно, то в Тифлисской – губернатор Шервашидзе с казаками устроили настоящее побоище. «Так били, так раскровянили лица, что брат брата не узнавал: трава была не видна от крови», – вспоминали очевидцы. Рассказывали страшные подробности о постое казаков в духоборческом селе: «Казаки откровенно грабили, секли мужчин и насиловали женщин, предварительно заперев мужчин в сараи».

На Кавказ с целью выяснить положение дел отправляется соратник Толстого Бирюков. Толстой пишет первое письмо руководителю духоборов Петру Васильевичу Веригину, которое начинается обращением «Дорогой брат!», а заканчивается словами: «Не могу ли чем-нибудь служить вам? Вы меня очень обрадуете, если дадите какое-либо поручение». С этого момента начинается деятельное участие писателя в судьбе духоборов, которое завершится их переселением (около 8000 человек) в Канаду в 1898–1899 годы. Чтобы финансировать это переселение, Толстой, вопреки своему отказу от авторских прав, все-таки продаст права на издание романа «Воскресение» издательскому магнату Адольфу Федоровичу Марксу.

В свете этих событий отец просто не мог глубоко входить в положение больного, но все-таки уже выздоравливавшего сына. Поэтому пять писем, написанных им Лёве с мая по декабрь 1895 года, это совсем не мало, но очень много.

«Соскучился по тебе, дорогой Лёва, давно не имея известий о тебе и зная, что ты один. Не знаю, как на тебя, – и в болезненном состоянии, – но я любил и молодым и теперь люблю быть один. Ближе к Богу, не развлекают от Него. А это очень хорошо всем нам и тебе в особенности, в твоей болезни».

В подробности физического состояния сына он не входит и о них не спрашивает. Его волнует только его духовное настроение. «Одно, что бы я желал для тебя, это то, чтобы ты хоть немного

верил, что основа твоей жизни в душе, а не в теле».

С большей озабоченностью он пишет о болезни Софьи Андреевны. Но и здесь Толстой неумолим: «Душевное состояние мама́ лучше в том смысле, что горе менее остро, физически лучше, но нехорошо тем, что она не может подняться на религиозную точку зрения и прямо страдает о том, что дорогое ей существо, бывшее живым, зарыли в землю, и от существа этого ничего не осталось…»

А в дневнике замечает: «Соня всё так же страдает и не может подняться на религиозную высоту… Причина та, что она в животной любви к своему детищу привила все свои духовные силы».

Впоследствии Софья Андреевна прочитает эти слова и оскорбится. «Почему *животной* любви? – спрашивает она в “Моей жизни”. – Много у меня было детей, но именно к Ваничке в наших обоюдных чувствах преобладала духовная любовь. Мы жили с ним одной душой, понимали друг друга и постоянно уходили, несмотря на его возраст, в область духовную, отвлеченную».

Отношение к смерти Ванечки выявило разницу в понимании супругами не только материальных, но и духовных вопросов. Для отца мертвый сын – «существо, бывшее живым», которое «зарыли в землю». Для Софьи Андреевны – источник непреходящей боли, часть ее самой, которую «зарыли в землю». Толстой это в общем-то понимает, но отказывается признать это *духовными переживаниями*. Точно так же он беспощаден к Лёве, когда тому элементарно плохо, когда он нуждается в ласке, «няньке», а вместо этого получает моральные наставления.

Но не будем спешить с выводами… Как ни странно, но именно в 1895 году Софья Андреевна в отношении к Лёве занимает позицию, в чем-то сходную со взглядами мужа. А в чем-то еще более беспощадную…

С мая по декабрь она часто пишет сыну, переживая за его одиночество вдали от родных. Сохранилось двадцать одно письмо Софьи Андреевны к Льву Львовичу 1895 года, хранящиеся в рукописном отделе Пушкинского Дома и опубликованные в 2010 году в журнале «Октябрь» Тамарой Бурлаковой. Эти письма – история болезни одновременно и сына, и матери. В этих письмах она особенно откровенна с Лёвушкой (сыном), возможно, потому, что Лёвочка (муж) уже не может быть ее собеседником в каких-то интимных вопросах.

Но в этих письмах постоянно присутствует как бы третий участник переписки – *мертвый Ванечка*. Именно он в глазах матери является судьей в решении этих вопросов.

«Милый Лёва, пишу тебе главное, потому что хочется

отозваться на твои ласковые слова нам, старичкам. На вид всякому покажется, что ты только думаешь о своем нездоровье, а я знаю, что ты своей чуткой душой чувствуешь всех нас больше, чем кто-либо, и любишь нас, и ждешь своего выздоровления, чтоб пожить с нами и даже для нас, если это понадобится. А я, с своей стороны, молюсь, как Ваничка, его словами, о твоем здоровье и надеюсь на твое выздоровление и на то, что еще твоя жизнь будет и полна, и счастлива, и полезна людям» (письмо от 8 мая).

Ванечка, со смерти которого прошло чуть больше двух месяцев, сразу становится главным героем этих писем. И всё, что происходит с третьим сыном, мать понимает только как проекцию судьбы Ванечки. Буквально – как исполнение *его* воли. Это уже не рациональный подход отца к «душе» и «телу» в их противоречии, а безумный взгляд больной матери на сыновей как на «вампира» и «донора». В одном убывает, в другом прибавляется. Один умер, другой обязан жить.

«И в тебе, как и в Ваничке, много было духовного, и это большое несчастье, что ты заболел и невольно должен был обратить внимание на свое тело. Бог даст, ты окрепнешь и будешь такой, каким был, т. е. выйдешь из материального опять в духовный мир. Ты часто на меня сердишься, но никто тебя так всего не понимает и не чувствует, как я» (письмо от 8 мая).

Еще в колонии Ограновича она заметила, что сын прибавил в весе. Но, как и муж, она решила, что дело тут не в докторах. «Странное было совпадение, – вспоминает она в “Моей жизни”. – Целый год этот маленький Ваничка, не пропуская ни одного дня, молился по вечерам со мною об исцелении брата Льва… И вот с той недели, как умер Ваничка, Лев стал прибавлять весу, сначала с первого дня смерти Ванички он прибавил 2 фунта, а к концу апреля – 22 фунта… Точно Ваничка исполнил свою миссию и отошел к Богу, пославшему его».

«Очень я потупела, милый Лёва, от горя», – признается она сыну 28 мая.

На Лёву, таким образом, ложится громадная ответственность. Мать осталась без своего любимца и самого *духовного* сына. И то же самое случилось с отцом, он лишился *духовного* наследника. Перед смертью Ванечка вымолил у Бога жизнь для Лёвы. Даже больше: пожертвовал собой, чтобы его брат продолжал жить. Ванечка стал ангелом, а что остается Лёве? Только исполнять завещание младшего брата, стать его духовным наследником! И всё это она всерьез пишет сыну, который только-только начал избавляться от четырехлетней «гнетучки»!

«Еще я хотела сказать, что лечение и выздоровление, несомненно, на свете существует, но я в *твое* лечение не верю, а

знаю *наверное*, что выздоравливаешь ты от молитвы Ванички; *он* тебе завещал жить и любить меня, как он любил, на что у тебя такие же задатки, какие были в нем. Он два года, со мной вместе, неустанно и ежедневно молился о тебе по вечерам, так горячо и сознательно, и в тот день как он ушел из жизни – ты стал поправляться. Он молился словами, которым его научила няня: «Господи, исцели раба твоего Божьего Льва от болезни и немощи, и пошли ему здоровья и крепости. Мы с ним страдали, глядя на твое состояние; он видел мое горе и страдал со мной. Теперь он радуется» (25 августа).

Но самой Софье Андреевне не радостно, «…любуемся красотой осени, которая теперь мне ближе весны, т. к. полюбила я смерть, а разлюбила возрождение» (29 сентября). «В душе у меня монастырь, и жизнь всё – суета и пустота» (18 декабря).

Папа учится кататься на велосипеде, начал учить итальянский язык и пишет «Воскресение», которое не нравится Софье Андреевне: «Насколько “Хозяин и Работник” *свежий плод*, настолько этот рассказ *лимбургский сыр*[35]». Младшие сыновья гибнут на глазах: «Андрюша нас совсем сокрушил. Болтается на деревню, с мужиками и девками пьет водку, курит и ничем не занимается…» «Знаешь, у меня чувство о нем, почти как о Ваничке, что он тоже умер…» «Миша тоже вступил в плохой период. Животного видно в нем больше, чем духовного. Если не будет над собой работать, пропадет, как и Андрюша».

Вся надежда на Лёву! «Ты, верно, переменился еще с тех пор, как уехал. То есть морально, а не телесно. Ведь люди растут, если они не пошляки. А ты, если я не обманусь – ты даже не такой, как все, а лучше и содержательнее…»

Со смертью Ванечки в самой Софье Андреевне происходит «духовный переворот»: «Мне часто кажется, что я в этот год совсем переродилась душой. Это оттого, что на минуту передо мной открылись двери в вечность, через которые ушел Ваничка и в которые за ним я пройду с радостью, когда эти двери откроются и для меня».

Она стала ближе к мужу, что он замечает в дневнике: «…она поразила меня. Боль разрыва сразу освободила ее от всего того, что затемняло ее душу. Как будто раздвинулись двери и обнажилась та божественная сущность любви, которая составляет нашу душу». Однако, пишет он, «время проходит, и росток этот закрывается опять, и страдание ее перестает находить удовлетворение, vent[36] в всеобщей любви, и становится неразрешимо мучительно. Она страдает в особенности потому, что предмет любви ее ушел от нее, и ей кажется, что благо ее было в этом предмете, а не в самой любви. Она не может

отделить одно от другого; не может религиозно посмотреть на жизнь вообще и на свою…»

Всё лето 1895 года в Ясной Поляне гостит музыкант Танеев. Увлечение его игрой перерастает у Софьи Андреевны в болезненное увлечение самим Танеевым, о котором он, возможно, даже не догадывался. «Последнее время совсем одурела от музыки, но очень наслаждалась», – признается она в письме к Лёве.

И он понимает: в Ясной Поляне для него нет места! Ему двадцать шесть лет. И он «зыть» хочет, а не нести на себе тяжелый русский крест, который ему навязывают, пусть и по-разному, отец и мать. Он должен принять *свое* решение. Свое маленькое решение. Возвращаться в Россию – значит умереть. И он, может быть, впервые делает правильный выбор.

Швеция!

Глава шестая
Болезнь – Россия

…я переехал в Финляндию, а из Финляндии в Швецию, где поправился окончательно, совершенно отбросив безвыходное мировоззрение, внушенное мне отцом… Я вышел из тупика на большую дорогу.

Л. Л. Толстой «Правда о моем отце»

Изгнание Ивана

В Финляндии, в Ганге, а затем – в Швеции, в Энчёпинге, куда Лев Львович отправился в сопровождении слуги Ивана, у него было много времени обдумать свое положение, в котором он оказался, как он сам потом был уверен, под влиянием «вредного учения» отца. А положение было таково, что не только русские врачи не надеялись на его выздоровление, но и родная мать писала сестре после выписки сына из подмосковного санатория: «…застала в Москве Лёву очень потолстевшего, но как-то вяло и пухло, без мускулов и силы. Духом же он вовсе нехорош: апатичен, тяжел, всё только думает о своем нездоровье и кишках, ничего не читает, не говорит, ото всех удаляется. Страшно за то, что он впадет в апатию или идиотизм, а это хуже смерти».

Сопровождать Льва Львовича в Финляндию вызвался младший брат Андрей.

Тяжелый для всей семьи 95-й год, казалось, не обещал просвета. Дочь Маша внезапно собралась замуж за Николая Оболенского. Его мать, племянница Толстого, Елизавета Валериановна, была настолько бедна, что должна была с большой семьей уехать из Москвы. Старшего сына Колю попросила взять на содержание в дом Толстых. Коля был неглуп, недурен собой, имел тихий характер, но решение Маши выйти за него замуж поразило семью как громом. «Отогрели его, держали в доме всё время его студенчества, и вдруг, не имея гроша за душой и никакого положения, он не только брал на себя непосильную роль, но оставался у нас же на шее, – писала Софья Андреевна в воспоминаниях. – Он был чрезвычайно ленив и неподвижен, совсем не разделял мыслей и направления Маши, напротив, любил барствовать и ничего не делать. Когда впоследствии, несмотря ни на что, Маша все-таки вышла за него замуж, Лев Николаевич с грустью говорил про Машино замужество: “Точно породистую лошадь впрягли в телегу навоз возить”».

В «Опыте моей жизни» Лев Львович откровенно признавался, что при всей любви к семье он, по сути, бежал от нее в 1895 году в Финляндию. Семья Толстых в это время представляла из себя узел нераспутываемых проблем. В этом узле он, Лев Львович, оказывался лишь одной из ниточек. Он со своей несчастной болезнью нуждался в строгом уходе и мудрой заботе, а вместо этого сам, как самый старший из сыновей, оставшийся в доме, вынужден был входить в положение семьи. Сочувствовать матери, потерявшей Ванечку, учить уму-разуму младших братьев, с которыми не справлялись отец и мать, переживать из-за романов

сестер и сострадать отцу в его тяжелых духовных исканиях.

Уезжая в Финляндию, Лёва решал сразу два вопроса. Он избавлял мать и отца от своего присутствия, от депрессивного вида и невыносимого характера человека, непрерывно озабоченного своими «кишками». И сам избавлялся от семейных проблем.

Прибыв в финский городок Ганге, он быстро отпустил Андрея домой, потому что толку от него не было никакого. А вот молодой слуга Иван, позаимствованный Толстыми из имения Раевских, пришелся ему по душе. Иван был расторопен и стряпать умел не хуже кухарки. Кроме того, он забавлял барина своим поведением. В первый же день приезда, впервые оказавшись на море, он напился морской воды, и у него прихватило желудок. Но объяснение, что морскую воду не пьют, Ивана не устроило. «Нет, ваше сиятельство, это не от воды, а климат превращает», – важно сказал он. Вечером он отправился гулять по городу с финской молодежью, хвастал Россией, за что был побит и назван «хвастливым сатаной».

Вообще этот Иван, мелькнувший в воспоминаниях Льва Львовича как незначительный персонаж, представлял из себя интересное явление. Патриотизм уживался в нем со смердяковщиной. «Мнения его были самые решительные», – вспоминал Лев Львович. Как-то он спросил слугу, что тот думает о русском народе. «Безусловно, дикий народ, ваше сиятельство», – заявил тот.

Именно Иван оказался последним звеном, связующим больного Льва Львовича с родиной. Расставаясь с ним уже в Швеции, он внезапно понял, что расстается-то он… с Россией. С Россией в самом себе… как болезнью. Любопытно, что на изгнании Ивана настоял шведский врач Вестерлунд, взявшийся лечить Льва Львовича в Энчёпинге. Это было одно из его условий – отказ от русского слуги. Вторым обязательным условием было прекращение переписки с родными.

Едва ли в намерения Вестерлунда входило «излечение» пациента *от родины*. Просто методом его лечения была полная изоляция больного от волновавших его прежде раздражителей. Но сам Лев Львович воспринимал это так: «Вылечил меня доктор Вестерлунд, но помогло ему главное, то, что я отделился от семьи и России и порвал с их влиянием» («Опыт моей жизни»). А в книге «Правда о моем отце», говоря о «безвыходном мировоззрении» отца (тоже символа России, как и крестьянин Иван), от которого он излечился как от болезни, он пишет: «Передо мной открылись новые горизонты жизни, европейская культура, имеющая много изъянов, но всё же, в основе своей, разумная и жизненная».

Таким образом Лев Львович, по собственному ощущению, стал как бы первым «европейцем» в семье. Его братья и сестры редко выезжали за границу. Отец бывал дважды, но в молодости. Софья Андреевна за всю жизнь ни разу не выезжала за пределы родины. И в голове Льва Львовича возник новый внутренний «проект». Он, Лев Толстой-младший, – соединит свою великую фамилию с великой европейской культурой!

Кровь Рюрика

В отличие от Парижа, где Лев Львович впал в смертельную тоску и панику, в Финляндии он почувствовал небольшой, но всё же прилив сил. Огранович не ошибся в климате, и морской воздух Ганге подействовал на больного оживляюще, «…я сразу же почувствовал, что попал именно в тот климат и ту обстановку, которые мне были нужны. Ежедневно я выходил на парусах в море на два-три часа, продолжал есть свою гречневую кашу, ходил на далекие прогулки, рано ложился, и силы мои стали постепенно возвращаться», – вспоминает он в «Опыте моей жизни».

10 сентября 1895 года, перед отправкой в Швецию, он пишет из Ганге важное письмо к отцу, в котором еще робко, но уже начинает с ним спорить. Это какой-то новый взгляд Льва Львовича на жизнь, бодрый и «материальный», возникший у него под влиянием финских шведов.

В начале письма он сообщает, что несколько месяцев пребывания в Ганге «ровно ничего не делал», то есть не читал и не писал. «Но несмотря на это узнал гораздо больше, чем если бы прочел тысячу книг. Новое узнал в отношении к миру и людям».

В этом письме он очень хвалит образ жизни шведов. «Прекрасно живут тут люди. Есть настоящие счастливые, каких у нас не видал. Хорошо едят, спят здорово, довольны и всю жизнь благодушествуют. И горе принимают как-то спокойно и радостно».

«И всё это, т. е. очень многое в их характере от климата, – настаивает он. – Климат – это великое дело, и ты напрасно не приписываешь ему значения…»

В предыдущем письме он намекает, что хочет отказаться от вегетарианства, хотя сам, будучи в Москве, приучал к нему младших братьев. И пусть мясо по-прежнему ему «противно, как яд», но «по климату людям здесь трудно быть вегетарианцами».

Глубокий психологический подтекст этих писем будет понятен лишь тому кто представляет себе семейную атмосферу Толстых в 1895 году. В это время семья несчастна. И вот Лев Львович покинул эту несчастливую семью, избавив ее и от толики собственного несчастья. Отправив домой Андрея, он пишет матери: «Мне дорого одиночество». С чужими ему легче, чем со своими.

К тому же эти чужие показались ему роднее русских. Приближаясь на пароходе к Стокгольму, Лев Львович начинает мечтать и фантазировать. Он вспоминает, что в его жилах «течет

кровь древнего Рюрика». Это правда, ибо род Толстых по линии князей Волконских соединился с Рюриковичами. Но все-таки пафос его мыслей о возвращении на «историческую родину» избыточен и несколько смешон. Он может быть оправдан только нервным состоянием молодого человека, жаждущего выздоровления.

«Наконец-то, промучившись на свете двадцать пять лет, я вижу настоящую мою древнюю родину. Да-да, именно такими были дома, такими были люди в моем прошлом существовании, именно такой была тогда общая атмосфера жизни, и таким был чистый и мягкий морской воздух, которым я дышал… – пишет он. – Никогда не испытанная глубокая радость зашевелилась в моей душе, и голоса нордических предков заговорили во мне с неожиданной силой…»

«А Россия? – как бы смутно припоминает он. – Ведь я же родился в ней, там, в далекой глухой Ясной Поляне?.. Да, но я отсюда, я принадлежу сюда, и здесь моя истинная родина…»

Память о России становится неприятной.

«Когда-то русские войска были в Швеции, перейдя по льду Ботнический залив, и сожгли все прибрежные шведские города[37]. Но вот уже сто лет, как шведский народ мудро избегает войн и живет в мире со всеми нациями… Неужели когда-нибудь опять он будет воевать и еще столкнется с Россией? Надо надеяться, что не посредством войны он сблизится с ней…» («Опыт моей жизни»)

В этих строках тоже есть своеобразный психологический подтекст. Лев Львович отправился в Стокгольм для того, чтобы поехать в Энчёпинг, маленький городок в четырех часах езды от столицы Швеции, к врачу Эрнсту Вестерлунду. Об этом докторе ходили настоящие легенды, что он излечивает неврозы в самой глубокой стадии благодаря способности влиять на пациентов. Доктора Верстерлунда порекомендовал ему знакомый швед Ионас Стадлинг, тот самый, что вместе с ним работал на голоде в Самарской губернии. Живший в Стокгольме Стадлинг посетил Льва Львовича в Ганге и взялся устроить его лечение. Это было первое счастливое стечение обстоятельств. Вторым – было то, что Вестерлунд имел двух дочерей, причем старшая вышла замуж за норвежца, пациента ее отца. Еще в Ганге Лев Львович узнал о существовании семнадцатилетней младшей дочери. И почему-то вообразил, что именно эта девушка станет его женой.

Никакого рационального объяснения у этой странной фантазии не было. Но Лев Львович ведь недаром происходил из литературной семьи. Женитьба на Доре Вестерлунд представлялась ему венцом *скандинавской мечты*, в которой он

представлял себя связующим звеном между Русью древней и Россией будущей.

Между тем, в Москве Лев Львович оставил девушку которую ему прочили в невесты. Это была Вера Северцова, видимо, обозначенная в списке «Мои 12 Любовей» как «Верочка». Но в ней, считал Лев Львович, «недоставало тех сил и физического здоровья, которых я инстинктивно искал в моей будущей жене». К тому же ее отец сошел с ума, что могло грозить плохой наследственностью. Однако, Верочка, очень религиозная девушка, уже выбрала церковь, в которой они должны были обвенчаться. На «толстовство» своего возможного жениха она смотрела с недоверием. Когда умер Ванечка, Вера первая поспешила в санаторий Огрaновича, чтобы сообщить Льву Львовичу эту новость. Вообще, в Верочке было что-то больное, декадентское…

«Я никогда не целовался с Верой, раз только гладил ее маленькую белую ручку, глядя в ее светлые глаза».

Это был еще один символ той несчастливой России, с которой он расставался на пути к своему здоровью.

Его отец был болен своим учением. Сестры – рабской зависимостью от отца. Младшие братья – русской деревней с ее водкой и гармошкой. Мать болела после смерти Ванечки. Именно так он, вероятно, думал в это время, когда писал матери: «К Вам не приеду… Увидеть только Москву и т. д. для меня то же, что болеть сначала…»

Но поразительно, что именно в этом состоянии им вдруг овладели стихийные мессианские надежды. Женитьба на иностранке, инославной, была довольно смелым шагом. Но только так, через разрыв с больной, «отсталой» Россией он собирался побороть в себе жестокую болезнь. Однако это вовсе не означало, что он порывал с Россией навсегда. Нет, он собирался вернуться! Но другим человеком – здоровым, полным сил и бодрости. И с новым мировосприятием, которое шло вразрез с учением отца, *ослаблявшим волю нации*.

Всё это туманно брезжило в его голове, продуваемой морским ветром. На пути к здоровью и счастью…

Вестерлунд

Первое, на что он обратил внимание, когда доктор Вестерлунд посетил его в гостинице Энчёпинга: «Фигурой и позой он был похож на Наполеона: держался прямо, немного выпучив живот, а руку держал между петлицами». Тогда Лев Львович еще не знал, что культ Наполеона исповедует его будущая жена, младшая дочь Вестерлунда Дора, или Доллан, как называли ее в семье.

«Его орлиный нос, тонкие губы и сухие крепкие руки выражали энергию и волю», – вспоминал Лев Львович.

Первое, на что обратила внимание Софья Андреевна, взглянув на фотокарточку будущей невестки: «рот и подбородок показывают решительный характер» (из письма к сыну от 4 марта 1896 года).

Курортный городок Энчёпинг с тремя тысячами населения был на берегу речки, впадающей в озеро Меларен, у восточной оконечности которого находится Стокгольм. Своими размерами, неспешным образом жизни он напомнил Льву Львовичу уездный городок Одоев в семидесяти пяти километрах от Тулы на берегу Упы.

Лев Львович приехал в Энчёпинг в конце сентября 1895 года и остановился ночевать в городской гостинице. Тем же вечером его посетил Вестерлунд, не дожидаясь визита к нему больного. Это говорило не только о том, что Вестерлунд был заранее извещен о приезде сына Толстого, но и о том, что слава *сына Толстого* сопровождала его и в Швеции. «Тебя очень любят и знают довольно хорошо», – сообщает Лев Львович отцу.

Вестерлунд сразу вызвал симпатию у Льва Львовича. Через несколько дней после приезда он пишет домой: «Доктор Вестерлунд – человек особенный. 57 лет, на вид – 40-ка[38], небольшой, коренастый, с красными щеками и большими, широко расставленными глазами, которые щурит. Он умен, добр и, что объясняет его силу, умеет влиять на больных, входя в их души и попадая именно на те места, откуда и где мучит болезнь».

Мы не знаем, какую именно болезнь определил Вестерлунд у сына Толстого, но он заявил больному, что не нашел «никаких органических повреждений» и пообещал абсолютное выздоровление. Это было именно то, что хотел услышать Лев Львович, который инстинктивно сопротивлялся и в России, и во Франции любому физическому вмешательству в свой организм и твердил одно: нужны не лекарства, а мудрая «нянька». «Очень оригинальное место, – пишет он домой. – Больных выхаживают.

Строго, добро, мудро, терпеливо…»

«Лечение мое началось с того, что меня уложили в постель и стали, как на убой, кормить пять раз в день» («Опыт моей жизни»).

Главные методы лечения, которые применял доктор, были моцион и трудотерапия. Сын Толстого стал вышивать подушечки (что покоробило его мать – не графское это дело!) и переплетать книги – сын писателя и сам писатель должен научиться это делать. Так решил Вестерлунд. Гулять он выходил в любую погоду даже в проливной дождь, по одному и тому же маршруту: поднимаясь на гору где стояла церковь, и спускаясь обратно. Зимой он катался на коньках, и здесь на льду Энчёпингского катка, по семейным преданиям, и встретил семнадцатилетнюю Дору, которая была в маленькой меховой шапочке и с руками, спрятанными в муфту[39]. (Сам Лев Львович писал, что впервые увидел будущую жену в доме Вестерлундов, куда пришел на третий день Рождества уже не как пациент, а как гость, и на ней была голубая шелковая кофта и коричневая юбка.)

По убеждению Льва Львовича, основной секрет успеха Вестерлунда в лечении больных в крайне запущенной степени невроза был не в методах лечения, а в нем самом.

Эрнст-Теодор Вестерлунд был родом из шведского городка Эрегрунда на берегу Балтийского моря. Он вырос в семье священника и воспитывался настолько строго, что ребенком не смел во время обеда садиться за стол в присутствии родителей и должен был есть стоя. Священники в Швеции относились к низкому сословию, к так называемой «третьей категории», и Эрнсту Вестерлунду пришлось претерпеть немало трудностей, чтобы выучится на медика. В 1864 году как военный врач он принимал участие в датско-прусской войне и был взят в плен пруссаками. Затем служил учителем в небогатой помещичьей семье Флодерусов, где сделал предложение дочери хозяина Нине. В 1867 году, поселившись с женой в Энчёпинге в качестве городского врача, он вскоре достиг известности в лечении неврозов и открыл частную практику. К нему приезжали лечиться со всей Скандинавии и даже из Европы.

У них с Ниной было трое дочерей, одна из которых умерла, вторая была замужем за норвежским журналистом, а младшая училась в Стокгольме, где для практики английского языка проживала в шведско-американской семье.

Своих девочек Вестерлунды тоже воспитывали строго. Так, за первое непослушание младшая Доллан была самолично выпорота отцом розгами, затем он предоставил это дело своей жене (в семье Толстых никогда не пороли детей). В то же время у девочки

было семьдесят две больших куклы, каждую из которых она каждый вечер укладывала спать к неудовольствию матери, однако терпеливо дожидавшейся конца этой детской игры, прежде чем уложить в постель свою дочь.

Заработав средства, Вестерлунд стал еще и помещиком, купив и расширив имение тестя. Он построил прекрасный дом и завел образцовое хозяйство. Имение называлось Хальмбюбуда, что переводится как «деревня соломенного сарая». Но несмотря на успехи и решительный внешний вид, по натуре Вестерлунд был скромным человеком. Предложение сына графа и известного писателя взять в жены его дочь для него было чрезвычайно лестным.

Вестерлунда не просто уважали в Энчёпинге. Он был содержанием и даже смыслом существования этого городка. Казалось, не только жители, но и сама природа работали на Вестерлунда. Всё было подчинено лечению больных, которых одновременно находилось от ста до ста пятидесяти человек. Они проживали в двух городских гостиницах, но большая часть размещалась в частных пансионатах, устроенных местными жителями, где весь распорядок жизни подчинялся Вестерлунду и его методам лечения. Каждый день он объезжал свои пансионаты, которых здесь насчитывались десятки.

«Он работает почти круглый год с утра до вечера, забывая себя, не зная усталости, – писал Лев Львович в книге «Современная Швеция в письмах-очерках и иллюстрациях». – День Вестерлунда начинается в 6 часов утра и кончается в 9 вечера, иногда позже».

«Вставши, доктор сходит в свой небольшой кабинет и сейчас же начинает прием больных, уже собравшихся в соседней приемной комнате. Здесь сидят, дожидаясь своей очереди, аристократы рядом с людьми из простого народа, и доктор встречает каждого с одинаковой добротой, вниманием и любовью. Утренний прием продолжается два часа; после завтрака Вестерлунд сейчас же садится в экипаж и объезжает своих больных, живущих в городе под его режимом и наблюдением…

Употребив всё утро на объезд назначенных им на этот день пансионатов, Вестерлунд едет в больницу, где у него ежедневно назначено операционное время. Пробыв там около часа, он возвращается домой, легко закусывает и снова сходит в свой кабинет, чтобы начать второй прием больных у себя на квартире. Теперь он принимает не час или два, а 4–5 часов сряду, не выходя из комнаты…

Окончив второй прием к 6–7 часам вечера, Вестерлунд обедает, затем недолго отдыхает и вечером снова выходит, чтобы

посетить своих наиболее трудных пациентов в городе, или же, вызванный к больному, идет куда-нибудь в деревню, иногда возвращаясь домой только к утру». При всей своей доброте Вестерлунд требовал от больных полного отказа от собственной воли и беспрекословного подчинения назначенному режиму жизни. В противном случае он отказывался лечить. Если Лев Львович вышивал подушечки, то одна знатная дама выжигала по дереву. Кто-то колол дрова, кто-то работал на кухне, кто-то учил английский язык – как велел доктор.

Итак, безусловное послушание его воле. «Если вы не хотите меня слушаться и, совершенно отрешившись от своей больной воли, слепо следовать всему, что я вам предписываю, вы напрасно обращались ко мне», – говорил Вестерлунд.

Второе условие – желание самого пациента выздороветь. «Только тот, кто *хочет* быть здоров, может быть здоров, и громадное число больных нездоровы только потому, что они сами не хотят ничего другого», – так говорил доктор.

Вестерлунд был противником медикаментозного лечения, чем порой разочаровывал пациентов, особенно из простого народа, которые ждали чудодейственного зелья. Он утверждал, что только природа в разумном пользовании может восстановить человека. Поэтому в Энчёпинге больных не столько лечили, сколько *выхаживали.* В этом был секрет этого места.

«Легко доктору дать лекарство, дать совет и забыть больного, – писал Лев Львович. – Но выходить его – это не легко, и делается обыкновенно не врачами, а близкими любящими людьми. В Энчёпинге больные, не получившие от своих домашних нужного внимания, ухода и любви, находят всё это в чужих людях…»

В Швеции ходила легенда, что однажды король спросил Вестерлунда, в чем тайный рецепт его лечения больных. «Я люблю их, Ваше Величество», – ответил Вестерлунд. Лев Львович решительно утверждал, что «прежде всего Вестерлунд не только врач, но и сам лекарство». И всё же главное «лекарство», которое подарил ему доктор, был не он сам, а его дочь Доллан.

Дора

«Шведский врач хорошо вылечил Лёвочку, но не во всякой аптеке есть такое лекарство», – писал 8 мая 1896 года Толстому его старший брат Сергей Николаевич.

Ее полное имя было Сигне Йоханна Доротея Вестерлунд. Когда Лев Львович впервые увидел ее, девочке было семнадцать лет. Она обожала отца и была похожа на него широко расставленными глазами, но вот характером – более мягким и женственным – была похожа на мать, Нину Вестерлунд, урожденную Флодерус, которую Лев Львович в письме домой охарактеризовал так: «простая женщина, скромная и добрая из мелкой помещичьей семьи».

Итак, по воспоминаниям Льва Львовича, они познакомились в самом конце 1895 года, на третий день Рождества, когда молодой русский граф посетил Вестерлундов в их доме. По случая праздников в Энчёпинге собралась вся небольшая семья: отец, мать, две дочери и старшая сестра хозяйки Матильда Флодерус, старая дева семидесяти лет, служившая секретарем доктора и любимая как домочадцами, так и больными, которые называли ее «тетушка Ма». Младшая дочь Вестерлундов особенно была привязана к старой тетушке. К старшей сестре она испытывала восторженную любовь. На это обратил внимание русский гость: сев за стол рядом с сестрой, Доллан схватила ее руку и страстно поцеловала.

В воспоминаниях Лев Львович не пишет подробно о том, какое впечатление произвела на него Доротея Вестерлунд, когда она «быстрыми шагами вошла, почти вбежала» в гостиную, где уже все собрались на ужин. Он также ничего не пишет о том, говорил ли он обстоятельно со своей будущей невестой о возможности брака с ней. И как было успеть сделать это за время рождественских каникул, когда они несколько раз гуляли и встречались на катке? На каком языке они объяснились в любви? Лев Львович почти совсем не говорил по-шведски, а Дора совсем не знала русского. Он свободно владел английским, а она его только учила в Стокгольме. На этом языке они и объяснялись. После каникул Дора уехала в Стокгольм, а уже в феврале Лев Львович просил у Вестерлундов руки их дочери. Согласия своих родителей он не спрашивал, поставив их перед фактом письменно. Мать Доры колебалась. Отец был смущен, но и явно польщен этим предложением. Сама Дора, как выяснилось очень скоро, вообще ничего не понимала и отнеслась к замужеству совершенно по-детски, будто к интересной игре.

Но в этой удивительной карусели со сватовством была одна важная деталь. Общение Льва Львовича с будущей невестой происходило на катке. И, конечно, молодой русский граф, в семье которого был культ коньков (на них катались дети и взрослые, в Ясной Поляне и в Москве во дворе хамовнического дома), мог похвастаться перед Дорой своим мастерством. Как Лёвин перед Кити в зимнем эпизоде в «Анне Карениной». Но история сватовства Лёвина к Кити, как и история женитьбы и семейной жизни, были прямой проекцией отношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны в шестидесятые годы. Когда Сонечка выходила замуж, ей только-только исполнилось восемнадцать лет. Ее отцом был врач, Андрей Евстафьевич Берс, немец по национальности. Он был небогат, но всеми любим в своей кремлевской округе. И у него тоже было три дочери.

Лев Львович должен был обратить внимание на череду этих совпадений. Вопрос в том, как он их расценил?

23 февраля 1896 года он сообщает матери: «Да не возмутит Ваши души это письмо, а пусть успокоит, и да будут ночи Ваши спокойные, а дни радостные, как мои.

Но пусть это известие не выходит из нашего дома.

Переживал я то, что полюбил девушку, которая полюбила меня, и настолько искренно и сильно с обеих сторон, что мы не можем скрывать этого.

Когда мы женимся, это неизвестно. Надеемся следующей осенью или зимой, пока же всё время надеюсь быть с ней вместе и весну и лето. Она хочет выхаживать меня, а мне с нею жизнь и счастье. Напишите ей и отцу, кто хочет, – папа́, Вы, сестры. Это будет нам всем большая радость…»

В письме к отцу он подробно рассказывает о Доре:

«Она не религиозная церковно – выросла и приучена к свободе всяческой… Когда я говорил о крещении, она заявила, что не позволит своих детей так мучить. Она также не может понять, как в России секут. Это просто ей не понятно, как мне не понятно, чтобы продавали людей на базарах. Не любит она и охоты. Говорит, что это как Монте-Карло – *спокойно* нельзя застрелить зайца, а надо быть в лихорадке. Она серьезная и энергичная, очень любит своего отца и из одной страсти переходит к другой. У нее хорошая память, и, я надеюсь, если Бог даст, русский пойдет бойко. Я раз заподозрил ее в том, что она скрыла от меня одну мелочь. Я был этим огорчен и сказал ей, что если она будет мне не всё говорить или говорить неправду – я буду несчастен. Тогда она бросилась ко мне и была так огорчена, что я мог подумать, что я увидал, что от нее никогда не будет лжи. Never, never – так и осталось у меня в ушах…

Напиши и присоветуй, что бы пригодилось с такой 17-ти летней душой в наши первые дни».

В этом письме Лев Львович подыгрывал отцу, стараясь представить Дору в выгодном для взглядов отца свете. Как и Дора, вероятно, подыгрывала *сыну Толстого*, говоря, что не может представить, как это возможно – сечь живого человека или убивать живого зайца! Но ведь и сватовство Лёвина к Кити (как и Льва Николаевича к Сонечке Берс) тоже происходило в атмосфере игры: вспомним ломберный столик, на котором герой и автор писали начальными буквами объяснение в любви.

Главное условие, которое сразу было поставлено между молодыми супругами Толстыми, Львом и Соней, ими же самими в начале семейной жизни, – никакой лжи! Знать друг о друге каждую мелочь! Не скрывать друг от друга свои дневники, письма! Never, never! Или он и она будут несчастны!

Спустя тридцать лет повторялась та же история. В ней только не хватало одного обстоятельства места.

В ней не хватало Ясной Поляны.

Письма из Ясной Поляны

Все матери одинаковы… Как и Нина Вестерлунд, Софья Толстая настороженно отнеслась к решению молодых. Ее смутило, что невеста сына иностранка. Она сразу и безошибочно почувствовала: здесь и скрывается подводный камень для будущей семейной жизни. 4 марта 1896 года мать пишет Лёве в Швецию:

«Когда всё кончено и решено – стало, конечно, страшно за вас. Но будущее всегда для всех темно и будем надеяться и молить Бога, что всё будет хорошо. И хотелось бы мне предупредить вас, как много будет трудностей, осложнений и разочарований, – но ведь вы теперь ничему не поверите. – То, что невеста твоя иностранка, во многом сделает вам жизнь трудной».

Несколько дней спустя она вновь пишет: «Очень стало за вас страшно, когда всё решилось. Подумал ли ты хорошенько, примерил ли Дору и ее жизнь с тобой к России, к семье, ко всем обстоятельствам и осложнениям жизни? А ведь то, что она не русская, – это для вас обоих, особенно для нее, лишняя трудность и лишнее осложнение в жизни. – Не суетись и не нервничай, ради Бога; и сам с собой строже и лучше проверяй и обдумывай свое положение. Теперь жизнь пойдет серьезней и еще трудней: ведь ты один ею будешь и должен руководить, т. е. жизнью».

Зато отец был доволен решением сына! Сразу и безоговорочно. И то, что Дора не русская, а шведка, в его глазах говорило в пользу свадьбы. «Хотя я и стараюсь не иметь предилекции[40] к людям и нациям, шведы мне всегда были, еще с Карла XII, симпатичны. Интересны очень мне взгляды, верования той среды, в которой выросла и воспиталась твоя невеста. У ней могут быть теперь еще только задатки своего личного. Скрещение идей так же выгодно, как скрещение пород. Передай ее отцу и ей мою радость за твой выбор».

Остается загадкой, почему Толстой так полюбил Карла XII, разбитого Петром Первым под Полтавой. Но в радостном тоне его письма («Я очень рад. Мне представляется это очень хорошим») можно почувствовать нотки облегчения. Словно какой-то груз снимался с русского отца и перекладывался на широкие шведские плечи Эрнста Вестерлунда. Больной Лёва был тяжелой проблемой для семьи, и отец не мог не испытывать определенной вины за это: ведь сын пытался пойти по его стопам и надорвался. Возможно, поэтому Толстой, к тому времени отрицательно относившийся к бракам и считавший идеалом жизни целомудрие («Я не изменю никогда своего взгляда, что идеал человека есть

целомудрие», – пишет он и в этом письме), в случае Лёвы сделал исключение.

В следующем письме к сыну Толстой признается, что его радость по поводу свадьбы не имеет рационального обоснования – рад и всё! «Женитьба твоя мне очень нравится. Оснований для этого у меня нет очень определенных, но есть общее чувство, по которому, когда вспомню, что ты женишься и именно на Доре Вестерлунд, мне делается веселее – приятно. Всё, что знаю про нее, мне приятно, и то, что она шведка, и то, что она очень молода, и, главное, то, что вы очень любите друг друга…»

Но в этом же письме он дает сыну совет, который говорит о том, что Толстой сделал выводы из опыта собственной семейной жизни и не хотел бы, чтобы Лёва повторял его ошибки. Из письма сына, где тот сообщал, что добивается от невесты полной правды и сам собирается ничего от нее не скрывать, отец, вероятно, почувствовал: сын опять дублирует его поведение в молодости. Он опять наступает на его тень!

«Совет в том, чтобы как можно меньше связывать свою свободу вам обоим, ничего не предпринимать, не обещать, не устраивать себе определенную форму жизни, a garder ses coudes franches[41]. Вы так молоды, что вам еще надо узнать, что вы, кто вы, на что способны, и потому учиться всячески, уяснять себе жизнь, учиться жить лучше, не думая о форме жизни. Форма эта сама собой сложится».

Так считал его отец, но так не считал Лев Львович. И хотя в ответных письмах он всячески благодарил отца за его советы, в глубине души он не был согласен. Свою будущую семейную жизнь он рассматривал как проект, причем *русский* проект, и это, в частности, выразилось в том, что он отказался от предложения тестя взять руководство хозяйством шведского имения Хальмбюбуда. Не это входило в его планы.

Свадьба

Молодой Лев ждал не столько советов отца, сколько его самого – на свадьбу. «Милый друг папа́, во-первых, большое спасибо за письмо с мудрым советом не заботиться о будущих формах жизни, во-вторых, приезжай ко мне на свадьбу. Я уверен, что ты мог бы легко и даже приятно сделать это путешествие… Возьми с собой мама́ и Машу, как ловкую помощницу, а Таня, Саша и Миша пусть едут вперед. Везде овсяная каша и миндальное молоко и культурные удобства. Твое появление с мама́ было бы для меня невыразимой радостью и имело бы значение для всей нашей жизни… Целую тебя и мама. Ей было бы тоже хорошо приехать и принять хоть маленькое личное участие в моем браке… Я не говорю о всеобщей радости и гордости шведов, если бы ты посетил их».

О свадьбе сына великого писателя и дочери знаменитого врача писали все шведские газеты. Но Льва Николаевича и Софьи Андреевны на свадьбе не было. Вероятно, главной причиной было плохое состояние здоровья обоих. Но был и еще один щепетильный момент, который этому способствовал.

Живя в Швеции и общаясь с семьей невесты, Лев Львович не мог не сравнивать две семьи, свою и пока чужую. Не мог он не сравнивать и двух выдающихся людей своего времени – Толстого и Вестерлунда. И конечно, сравнение сейчас шло не в пользу первого. Будем говорить прямо: отец стал причиной болезни Льва Львовича, а тесть спас его от смерти. Рано или поздно Толстой должен был встретиться с Вестерлундом и выразить благодарность за спасение сына. (Так это и случилось позднее.) Но все-таки не в ситуации *шведского национального торжества.*

Бракосочетание Толстого-сына и Доротеи Вестерлунд состоялось 15 мая (27 мая по европейскому стилю) 1896 года в Стокгольме. Венчались дважды – по православному и лютеранскому обрядам, сначала в храме Преображения Господня при российском посольстве, а затем в гостинице Rydberg, названной в честь скончавшегося год назад шведского писателя Абрахама Виктора Рюдберга, которого пытался переводить Лев Львович. Посаженным отцом был чрезвычайный и полномочный посол России в Швеции и Норвегии Иван Алексеевич Зиновьев. Из Толстых на свадьбу приехали самая старшая сестра Татьяна и самый младший брат Миша.

Татьяна нашла брата в прекрасном состоянии и записала в дневнике: «Лёва имел вид здоровый, светлые, живые глаза делают главную разницу с тем, что было в прошлом году: ходит бодро,

элегантен, но очень тонок, что, впрочем, ему свойственно». Дора Татьяне тоже понравилась: «Она высокая, хорошенькая, довольно возмужалая для своих лет и, видимо, вся беззаветно и без остатка отдалась ему. Я почувствовала, что она может быть очень близкой, несмотря на то, что она говорит, кроме шведского, только на английском языке, и то плохо, и что воспитывалась в чужой стороне».

На свадьбе много шутили. «Я, несчастный Толстой, беру тебя – противную и избалованную девчонку – в свои дополнительные жены», – коверкал слова церемонии Лев Львович, а его тесть торжественно заявлял, что передает своему пациенту «самое драгоценное лекарство». Во время обеда Татьяну изрядно удивило, что русский священник пришел на обед во фраке. Брат Миша перебрал белого вина, но в общем всё прошло благополучно, и в тот же вечер (по другим сведениям – следующим утром) молодые на белом пароходе отбыли на остров Готланд, в ста километрах от материковой Швеции – в курортный город Висбю.

Медовый месяц

Первый раз они поругались, как водится, из-за пустяка. На корабле Лев Львович решил, что его жена пользуется его зубной пастой и сделал ей выговор. Она пришла в неистовство, потому что, как она выразилась, «мне никогда в жизни даже в голову бы не пришло использовать его отвратительную зубную пасту». Она пользовалась специальным норвежским мылом для чистки зубов.

Но поначалу медовый месяц проходил хорошо. Старинный Висбю с его руинами языческих храмов оказался чрезвычайно красив. Дни стояли солнечные. Вода была холодной для купания, но молодые наслаждались морем, выходя на парусниках. Игра в теннис, здоровые пища, сон…

А в Москве случилась страшная «Ходынка». Во время коронации Николая II тысячи простолюдинов, собравшись на поле, где бесплатно раздавали памятные кружечки, передавили и покалечили друг друга. Оказавшись в центре Москвы, Софья Андреевна видела последствия этого события. «Встречаю на Тверском бульваре ряд огромных фур и что-то на них странное, закрытое грязными, толстыми холстами, непривычное, нескладное. Близорукие глаза мои не различают, что это такое. Беру лорнет, приглядываюсь… О ужас! Торчат руки, ноги, головы, уродливые человеческие фигуры, и везут эти трупы, везут без конца, неизвестно куда: одна, другая фура, третья, седьмая, десятая, без конца… Что же это?»

Она видела не только взрослых, но и выдавленных из материнского лона не рожденных младенцев. Племянница композитора Танеева, молодая девушка, оказалась на Ходынском поле и едва не погибла. Вынес на руках фабричный парень, привел в чувство квасом, купленным на свои деньги.

О том, что произошло в Москве 30 мая, Лев Львович узнал из писем и местных газет. Но в его собственной, только что возникшей семье в это время случилась драма.

Из Висбю они отправились через Копенгаген в Норвегию. И здесь в Гаусдале Дора поняла, что беременна. Это настолько ее огорчило, и она так не была к этому готова, что, как вспоминал Лев Львович, «из покорного, нежного ангела превратилась в ангела непокорного, в дикого зверька…»

И он понял, что его жена совершенно не была готова к браку. У нее была привычная девичья жизнь в Энчёпинге и Хальмбюбуде, учеба в Стокгольме, и Дора, видимо, думала, что так это всё и будет продолжаться, но только с приятным довеском в виде обаятельного русского графа. Еще он понял, что по-настоящему

его шведская жена привязана только к своей семье. И совсем не готова отдать всю себя семье новой. В результате Дора «обезумела». Она стала собирать вещи и швырять их в чемоданы. Любые попытки ее успокоить были тщетны. Во время прогулки в горах она внезапно вбежала на высокий гранитный камень и на прямых ногах спрыгнула с него. Вечером началось кровотечение, и был выкидыш.

«Это событие стоило ей долгой женской болезни и многих страданий», – пишет Лев Львович. А у него самого после этого осталось к жене тяжелое чувство.

«Какая глушь!»

На какие деньги собирался Лев Львович жить с молодой женой? Специального образования у него не было. Быть управляющим имения тестя он отказался. Это было ниже его достоинства, да и, несмотря на любовь к Швеции, его тянуло в Россию, он скучал по России и прежде всего – по Ясной Поляне. Находясь за границей, он жил на деньги, которые присылала мать. Но фактически это были деньги отца, полученные Софьей Андреевной от продажи его старых сочинений. Ясная Поляна не приносила ей дохода, а, напротив, требовала ежегодных денежных вложений.

Юридический статус Ясной Поляны был довольно сложный. После отказа Толстого от собственности в 1892 году имение перешло во владение его жены и малолетнего Ванечки, опекуном которого мать являлась в его части наследства. После смерти Ванечки в 1895 году его часть наследства перешла в собственность пятерых братьев – Сергея, Ильи, Льва, Андрея и Михаила. Софья Андреевна владела усадьбой, братья – остальной частью имения. Во всем этом Льву Львовичу принадлежала пятая доля. Кроме этого ему принадлежал дом в Москве, который оценивался примерно в пятьдесят тысяч рублей. Но фактически в этом доме в осенне-зимний период проживала Софья Андреевна с младшими детьми, которые учились в гимназии. Там же жил Лев Николаевич, когда бывал в Москве. Продать дом означало лишить семью городской гавани.

И тогда он пришел к мысли, которая была бы очень разумной, если бы речь шла не о семье Толстых. Вместо того, чтобы служить управляющим у своего тестя, не лучше ли стать управляющим Ясной Поляной, где всё ему знакомо с раннего детства, где живут отец и мать, сестры и младшие братья? Поднять хозяйство родового имения на уровень европейской культуры, сделать его доходным.

Прекрасная мысль! Точно также когда-то думал его отец. И в 1847 году, когда он бросил университет, чтобы жить помещиком в Ясной Поляне. И потом, в пятидесятые годы, после заграничных поездок, обогативших его опытом европейской культуры. И в шестидесятые годы, когда Толстой с восемнадцатилетней Сонечкой в специально купленной большой карете – дормезе приехал в Ясную Поляну проводить свой медовый месяц и всю, как тогда им представлялось, счастливую семейную жизнь. А получилось, что получилось…

В «Опыте моей жизни» Лев Львович изложил этот

замечательный, как ему в молодые годы казалось, русско-шведский проект. «В первый же год моего пребывания в Швеции меня поразило больше всего, что общая шведская цивилизация и культура стояли несравненно выше цивилизации не только русской, но и французской, а может быть, и общеевропейской…

Не было ни одной области шведской жизни, в которой не были бы достигнуты значительные и глубоко рациональные результаты, начиная с религии и кончая питанием, и условия эти настолько смягчили в стране напряженность и трудность борьбы за существование как личности, так и семьи, что жизнь здесь была во много раз легче, чем в России и даже во Франции».

Но вместо того, чтобы бросить свою несчастную родину и сделаться шведским жителем, Лев Львович решил внести благотворные перемены в русскую жизнь. Насколько далеко простирались его надежды на этот счет, увидим в дальнейшем. Пока же он «решил поселиться в Ясной Поляне в ее флигеле и приготовился повести хозяйство имения, часть которого теперь, после смерти Ванечки, принадлежала мне. Я хотел, как отец, на всю жизнь закабалиться в деревне и писать, чувствуя к этому делу призвание… Я мечтал, что вся Ясная Поляна когда-нибудь будет моей, и я создам в ней новую большую семью, новый центр и продолжение рода Толстых».

В черновом варианте «Опыта…», который приводит Абросимова, сказано более жестко: «Мне хотелось в будущем одному завладеть всем родовым имением и таким образом продолжить в нем толстовский род. Но эти мечты были только мечтами потому, что я уже тогда осознавал, что Ясная Поляна, как родовое имение Толстых, почти погублено, во-первых, тем, что оно стало собственностью шести человек, во-вторых и в главных, тем, что Лев Николаевич просил похоронить себя в середине имения, что, конечно, будет привлекать посетителей на его могилу и тем сделает частную семейную жизнь будущих Толстых несносной».

Оставим в стороне вопрос о собственности, который теоретически мог быть как-то решен после смерти отца и матери в пользу Льва Львовича, скажем, выкупом у братьев их долей яснополянского наследства. Но оставалась другая проблема, фантомная с юридической точки зрения, но куда более важная – с моральной и культурной. Отец Льва Львовича был великим человеком, который родился в Ясной Поляне и провел в ней основную часть жизни. И хотя в 1896 году вопрос о захоронении Толстого в Ясной Поляне еще не стоял (Лев Львович запутался в последовательности событий), но в итоге было именно так. Поэтому в реальности Ясная Поляна была не просто «родовым

имением», но уже при жизни Толстого стала местом культурного и религиозного паломничества, а после его кончины была обречена стать музеем.

В этом музее Льву Толстому-младшему не было места.

Это хорошо понимала Софья Андреевна. Поэтому на письмо сына, в котором тот просил отремонтировать яснополянский флигель к его приезду с Дорой и обещал взять хозяйство Ясной Поляны на свои плечи, она ответила достаточно категорическим «нет».

«Ты пишешь: жить в Ясной, хозяйничать, пишешь, что религия ее и отца ее – труд и польза. Как все эти принципы сейчас находят приложение у иностранцев, а у нас – увы! Куда ни сунься – делать нечего.

Какое в Ясной хозяйство? И разве это возможно в разных руках и при жизни отца?

Нет, Лёва, не поселяйся с нами, опять захвораешь. Свей свое гнездо, купи именье, если хочешь жить в деревне, и, ввиду нашего общего счастья и спокойствия – не живи с нами. Любя тебя, я это советую. Погоди, нам не долго с папа́ жить осталось».

Почему Лев Львович не внял разумному совету матери? Почему не оценил прозрачного намека, что главный источник его болезни находится не где-нибудь, а в Ясной Поляне. И это, увы, его родной отец. И уже не имело смысла выяснять, почему так вышло и кто в этом виноват: старший Толстой с его религиозным учением или младший – с его доброй душой, но завышенными амбициями? Но Ясная Поляна была последним местом на земле, где Лев Львович мог успешно скрещивать *породы и культуры.*

Он же не нашел ничего лучшего, как в письме к отцу пожаловаться на мать: «Я знаю, что ты так же, как и я, когда думаем друг о друге, хотим видется и быть вместе, мама́ же почему-то не очень хочет меня в Ясной и советовала даже купить имение, что меня огорчило. Прежде всего любовь и дружба и взаимная помощь, и вопросы остальные при этом не существуют».

Мама́ он ответил сухо:

«Ваше письмо и отрицательный ответ меня огорчили. Не буду говорить об этом. Зимой я думаю найти кусок земли в Московской губернии и весной или летом переселиться туда. В Ясной я жить не буду».

Но в этом же письме просил: «Пожалуйста, это не так трудно, для Доллан больше, – приготовьте нам место, где жить, хоть это время, до собственного дома».

Два Льва разрывали Софью Андреевну на части. Одному в ней не хватало духовности. «В тебе много силы не только физической, но и нравственной, только недостает чего-то

небольшого и самого важного, которое все-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти», – задумчиво писал ей муж в сентябре 1896 года. А приезжавший в это время с женой в Россию сын просит всего лишь (!) подготовить летний гостевой флигель для жизни зимой с семнадцатилетней шведкой. «И страшно мне было, что за существо была эта 17-летняя шведочка», – вспоминала Софья Андреевна.

Они приехали 14 сентября. Лев Львович спешил, Дора впервые видела Россию из окна поезда. Возле пустынного подъезда станции Щёкино их ждал кучер Андриан на пролетке. По дороге в Ясную промелькнуло село Кочаки, где рядом с церковью были похоронены дед и бабушка Льва Львовича, «бедное деревенское кладбище, обрытое канавой, с жалкими почерневшими и скосившимися деревянными крестами». Наконец, показалась деревня Ясная Поляна с соломенными крышами.

«Какая глушь, какая беднота!» – пишет автор «Опыта моей жизни», передавая свои впечатления от встречи с родиной.

«В начале улицы крошечное и одинокое здание церковно-приходской школы. Знакомые фигуры мужиков и баб медленно двигаются подле изб. Они останавливаются и смотрят на нас равнодушно. Некоторые узнают меня и лениво кланяются. Лица их серьезны, озабочены и враждебны».

Это – Россия.

Впрочем, рядом с барским домом – оживление. «Мать, отец, сестры, братья, прислуга – все встречают нас с улыбками и возгласами и ведут наверх в приготовленные для нас две комнаты, те самые, на север и грязный двор, где я провел мое тяжелое детство. Какая серая простота, какая тишина и какая грусть! Вот и зловонные канавы, и подвал под окном, и глубокий колодезь справа».

Куда он приехал? И, главное, зачем?!

После ужина молодая пара отправилась в свои комнаты ночевать. Ни говоря ни слова, Дора с широко раскрытыми глазами бросилась в его объятья. «Она ничего не сказала, но я угадал ее чувство. Ее взгляд выражал не только отчаяние, но ужас».

Отец, сын, мать

Воспоминания Льва Львовича о приезде с женой в Ясную Поляну в сентябре 1896 года расходятся с впечатлениями других участников этого события, включая саму Дору. Как пишет ее сын Павел, «мама́ нашла, что все, а особенно “старик”-свекор – очень милые и приятные люди, и не только члены семьи, а вообще все люди безгранично приветливы и дружелюбны».

На следующий день пришли бабы в национальных костюмах и принесли новобрачным красавца-петуха и яйца в салфетке. Они пели и плясали и, получив семь рублей в награду, ушли довольные. Да, она обратила внимание на бедность яснополянской деревни сравнительно со шведскими селами. Она была потрясена рассказом за вечерним чаем, как на Большом пруду нашли трупик младенца, и это потом снилось ей всю ночь. Великий писатель земли русской при личной встрече оказался беззубым стариком. И даже в барском доме чистота и порядок показались ей недостаточными. (Ох, видела бы она то, что увидела восемнадцатилетняя Сонечка, когда осенью 1862 года приехала жить в этот дом, где братья Толстые спали на полу на сене.)

Да, сначала Толстые назвали ее «принцессой на горошине», Толстой-отец окрестил «умственным цыпленком». Но очень быстро Дора с ее энергией и жизнелюбием привыкла к российской деревенской жизни, «объяснополянилась», как сказал про нее Толстой. И, кстати, как раз со свекром у нее наладились отличные отношения. Многие его взгляды (на церковь, на убийство животных, на доброе отношение ко всем людям) она понимала и разделяла. Они стали почти друзьями. Она прислушивалась к его философским рассуждениям настолько, насколько позволяло ее знание русского языка, в котором она делала большие успехи благодаря урокам Маши и даже самого старика Толстого. В этом она следовала европейскому принципу, выраженному словами Гёте: «Когда говорят умные люди, меня радует, что я понимаю, о чем они говорят».

Когда молодая пара после ремонта переселилась во флигель, а Софья Андреевна с детьми уехала в Москву, Толстой, оставшийся зимовать в Ясной Поляне, обедать ходил к молодой хозяйке. Ему было приятно быть с ней. Правда, она не понимала некоторых его выражений. Например, «чем хуже, тем лучше». Но она списывала это на недостаточность своего русского менталитета.

Настоящая проблема, как оказалось, была не в Доре, а в

молодом Льве… Вопреки мудрому совету матери не жить в Ясной Поляне, Лев Львович не только поселился в отцовском имении, но и стал в нем энергично хозяйничать. И всё он, наверное, делал правильно. Разбил парник, использовал для сельских работ шведские сеялку и сенокосилку (подарок Вестерлунда). Но главное – вместе с женой превратил гостевой флигель в «маленький шведский оазис в русской пустыне», как выразился посетивший Ясную Поляну венгерский журналист. Лев Львович, конечно, осмотрел несколько окрестных имений, выставленных на продажу, но его кипучая деятельность по обустройству отдельного от родителей дома в самой Ясной Поляне не оставляла сомнений: он решил поселиться в ней надолго, если не навсегда. Не дожидаясь приданного из Швеции, которое состояло из мебели, посуды и множества необходимых для комфортной жизни вещей, он купил в Москве мебель, выбросил из флигеля, как он сам выразился, «старый хлам», нанял отдельного повара и горничную… Одним словом, свил свое *гнездо.*

И его можно было понять. Именно об этом он мечтал еще год назад, когда, больной, писал матери из Стокгольма: «Опять всё порвано кругом, и я один с Иваном, и надо выпускать новые паутины к людям. Это чувство неприятно мне всегда. Когда-то я, наконец, сяду и совью свою паутину на всю жизнь?»

Свое гнездо Лёве и Доре удалось свить на славу. Не только Лев Николаевич, но и Софья Андреевна посещала «шведский оазис» с удовольствием, находя, что бытовой уровень жизни сына и невестки гораздо выше общего уровня жизни в усадьбе, «… ходила во флигель к Лёве и Доре обедать и ужинать, и там мне было хорошо», – пишет она в дневнике. В конце 1896 года, погостив у сына Ильи и его жены Сони в их имении Гриневка, а потом заехав в Ясную Поляну по дороге в Москву, она отметила разительный контраст между манерами жизни двух женатых сыновей. «Дора убрала и украсила по-шведски наш флигель: всё было ново, чисто и изящно. Я писала сестре, что у Лёвы с Дорой – Европа, а у Ильи с Соней – Азия» («Моя жизнь»).

Недостаток бытовой культуры в деревенской и даже усадебной жизни угнетающе действовал на Софью Андреевну. Поздняя осень в Ясной Поляне порой представлялась ей как настоящий кошмар: «…грязь на дворе, грязь в тех комнатах, где мы теперь жили с Львом Николаевичем. Четыре мышеловки, беспрестанно щелкавшие от пойманных мышей. Мыши, мыши без конца… холодный, пустой дом, серое небо, дождь мелкий, темнота; переходы из дома в дом к обеду и ужину к Лёве, с фонарем по грязи; писание, писание с утра до ночи; дымящие самовары, отсутствие людей, тишина мертвая; ужасно тяжела,

сера теперь была моя жизнь в Ясной…»

Лёва нежно любил мать, отца, сестер, братьев и был совершенно искренен, когда писал отцу из Швеции: «…надо стараться понимать других – тяжело непонимание, которое я так больно испытывал дома все эти года болезни. Тогда страдания, какие есть, в десятеро сильней. Я не хочу упрекать, хочу высказывать всё, что наболело, чтобы это ушло из меня и больше не возвращалось. Я очень люблю всех Вас и вернусь жить с вами, если будут силы и если, конечно, мы будем живы еще…»

Но что означало «жить с вами»?

Жить с вами на деле означало *жить с отцом*, вокруг которого вращалась вся яснополянская жизнь. И это прекрасно понимали и мать, и сестры, и братья, которые предпочли жить отдельно, но не вмешиваться в жизнь родителей.

Приехав в Ясную Поляну, Лёва с молодой женой как бы возобновляли тридцатилетней давности семейный проект Льва Николаевича и Сонечки, потерпевший крушение…

Но из этого не следовало, что семейная жизнь родителей не удалась. Просто она вступила в стадию, когда оба стали понимать: прошлого уже не вернешь, как не вернешь Ванечки. И нужно жить, как уже сложилось. А сложилось так, как написал в воспоминаниях их сын Илья Львович: «Когда с отцом произошел его духовно-религиозный переворот, не она отошла от него, а он отошел от нее. Она осталась той же любящей женой и образцовой матерью, какою и была раньше. Не будь у нее детей, она, может быть, и пошла бы за ним, но, имея в начале восьмидесятых годов семь, а потом и девять человек детей, она не могла решиться разбить жизнь всей семьи и обречь и себя и детей на нищету». Но и правда отца была внятна Илье Львовичу: «Несомненно, что жизнь в Ясной Поляне была для него очень тяжела. Он болеет душой не только за себя. Он болеет за других, за мужиков, живущих в работе и лишениях, за жену, преследующую этих мужиков за хронические порубки леса, болеет и за ненавидящих и поносящих его. И он заставляет себя любить всех».

Да, любить всех невозможно. Да, любить всех – не любить никого в отдельности. Да, родовым чувством пришлось пожертвовать ради учения о всеобщей любви. Но после смерти Ванечки в отношениях старого Толстого и пожилой Софьи Андреевны возник новый и трепетный душевный баланс, который сохранялся вплоть до страшной осени 1910 года, когда он все-таки *ушел* из Ясной Поляны. Да, фактически они «жили вместе врозь», как выразился однажды Лев Николаевич. Она, наконец, смирилась с тем, с чем долго не хотела мириться: он безвыездно оставался жить в Ясной Поляне, она ради образования младших

детей была вынуждена жить на два дома – яснополянский и московский. Его всё больше окружали преданные «ученики», на ее шее оставались требовательные дети. Это ее терзало, обижало, и это было полным разрывом неформального брачного договора, который он предложил ей в сентябре 1862 года, когда брал ее, неопытную, замуж.

Но к приезду Лёвы, который по болезни своей и отсутствию на родине пропустил важный момент в жизни родителей, связанный со смертью Ванечки, между ними возникли новые отношения. И даже родилась новая любовь.

В октябре 1895 года после отъезда жены из Ясной Поляны в Москву он писал ей: «Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, – любовь такая, при которой я совершенно перенеся в тебя и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, сейчас начавши писать тебе, испытываю тоже. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я всё надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный…»

Когда осенью 1896 года они вновь разделились – она жила с детьми в Москве, он – в Ясной Поляне, – Софья Андреевна приезжала к годовщине их свадьбы 23 сентября. Вечером он провожал ее на станцию Козловка. В купе ей вдруг сделалось жутко. Ей показалось, что она ночью умрет, что нечем зажечь свет, что она выпадет из поезда, потому что дверь выхода близко. Об этом она писала ему из Москвы на следующий день, жаловалась на нездоровье и призналась: «Всё думаю о тебе, милый друг, и в первый раз в жизни эту осень я признала, что действительно года идут наши, и старость несомненно наступила, что будущего уже нет, а есть прошедшее, за которое надо благодарить Бога, и есть настоящее, которым надо дорожить каждую минуту, и просить Бога, чтоб помог нам ничем его не портить».

Почему-то именно этой осенью, после приезда Лёвы с Дорой, каждый раз, когда она возвращалась из Ясной Поляны в Москву, на станции ею овладевала паника. Точно она боялась расстаться с мужем навсегда. Он брал ее за плечи и отводил в купе. «В вагоне всё вспоминала, как я растерялась глупо и как ты меня окружил рукой и повел, как ребенка, и сразу стало мне спокойно, и я отдалась в твою волю, потеряв свою, – пишет она ему в октябре 1896 года. – Как жаль, что в жизни моей мало мне приходилось

так отдаваться твоей воле, это очень радостно и спокойно. Но ты неумело брался за это и не последовательно, а лихорадочно: то страстно, то вовсе забывая и бросая меня, то сердясь, то лаская, – обращался со мной».

«Давно ли мы были с тобой молодые, полные жизни, когда живешь и видишь в будущности своей не предел, а бесконечность… – пишет Софья Андреевна Льву Николаевичу из Москвы в другом письме. – А теперь вдруг я увидела предел жизни, точно пришла к какой-то стене, даль пропала, стало видно, что скоро конец».

Странно сказать, но они были счастливы в своей семейной жизни в первые пятнадцать лет, с 1862 по 1877 годы, от их венчания до его «духовного переворота», и они были своеобразно счастливы в последние пятнадцать лет, с 1895 по 1910 годы, со смерти Ванечки до ухода Толстого. Это было, конечно, очень своеобразное, с точки зрения молодых людей, счастье – старика и пожилой женщины, у которых не осталось никого ближе друг друга, которые знали друг о друге решительно всё, не строили никаких планов на будущее, потому что его просто не было, а были только прошлое и настоящее, за которое оставалось или благодарить, или проклинать Бога.

Видимо, не просто так они вместе летом 1896 года поехали в Оптину пустынь, а до этого посетили в монастыре Шамордино сестру Толстого – монахиню Марию Николаевну. Совершить эту поездку на Успенский пост предложил Толстой, который почувствовал, что его жене это необходимо: «…со смерти Ванички я находила в себе лучшее утешение в молитве в церквах, в говений и постоянных мыслях о Боге и той духовной области, куда ушел мой Ваничка».

В современной литературе о Толстом существует распространенное и ничем, кроме косвенных свидетельств, не подтвержденное убеждение, что в тот приезд в Оптину Толстой встречался с оптинским старцем Иосифом, тем самым, с которым он действительно хотел встретиться, но по сложным причинам не встретился во время своего ухода в 1910 году. На самом деле нет оснований утверждать, что и в 1896 году эта встреча состоялась. О ней ничего не сказано ни в дневнике Толстого, ни в воспоминаниях его жены, которая описывает эту поездку весьма подробно. Точно известно лишь то, что во время этого посещения Оптиной Толстой побывал на могилах своих тетушек – Александры Ильиничны и Елизаветы Александровны. Зато Софья Андреевна говорила со старцем – но не с Иосифом, а Герасимом – и осталась этой беседой очень недовольна.

«Я многого ждала от этой исповеди и очень разочаровалась:

покаянное настроение мое осталось в моей душе только перед Богом. Отец же Герасим велел мне стать на колена, взял какую-то книжечку и, ничего не спрашивая, бесстрастным, унылым голосом начал читать о таких грехах, о которых я даже не только никогда не слыхала, но не знала и их названий. Изредка он останавливался, ожидая чего-то от меня. Я молчала, этим исповедь моя и кончилась. Лев Николаевич ждал меня у двери, и мы направились в гостиницу…» («Моя жизнь»).

Вообще, с этой поездкой не всё ясно. В «Летописи» Оптинского скита не упоминается приезд Толстого 1896 года, хотя все остальные его приезды обозначены: 1877, 1881, 1890 и 1910 годы. В этой подробной «Летописи» нет старца Герасима, а есть только монах Герасим, сириец, который приезжал в Оптину пустынь в 1866 году как сопровождающий бывшего обер-прокурора Святейшего Синода графа Александра Петровича Толстого. Но старец – это слишком важная фигура для монастыря, чтобы о нем не было ни одного упоминания в «Летописи». Возможно, Софья Андреевна просто перепутала имена, и в 1896 году со старцем Иосифом встречалась как раз она, а не Лев Николаевич.

Все-таки церковной веры не было в доме Толстых. Там господствовала «религия» Толстого. Вопрос заключался в том, до какой степени способны были его родные и близкие разделять это учение, исполнять его. Духовным солнцем семьи был Толстой, остальные члены – планетами. Возвращаясь в Ясную, такой же планетой становился Лев Львович.

Но он не хотел этого признавать. Болезнь, молодость или характер сыграли в этом главную роль – сказать трудно, но он не согласился принять участие в сложившейся к этому времени семейной ролевой игре, где всё, что ни делалось, делалось с оглядкой на папа́. В нескольких десятках шагов от родительского дома он с Дорой стал создавать свой дом, «новый центр и продолжение рода Толстых», как он выразился в своих воспоминаниях. И ведь на поверхности это выглядело именно так. В том доме – конец, в этом – начало!

Споры с отцом

7 июня 1896 года, когда Лёва с Дорой проводили медовый месяц в Швеции и Норвегии, Толстой писал новобрачным: «Смотрите, не ссорьтесь. Всякое слово, произнесенное друг другу недовольным тоном, взгляд недобрый – событие очень важное. Надо привыкнуть не быть недовольным друг другом, не иначе как так, как бываешь недоволен собой – недоволен своим поступком, но не своей душой. Прекрасно выражение: моя душа, т. е. не вся моя душа, но душа моя же. Люблю, как душу. Именно не как тело свое, а как свою душу. Как хочется увидать вас, потому что знаю, что буду радоваться…»

Золотые слова! Но почему-то с приездом сына домой отец сам не смог исполнить того, что советовал молодым.

Не так уж важно, из-за чего произошла их первая ссора. Важно, что Лев Львович несомненно действовал на отца как сильный раздражитель, и тот ничего не мог с собой сделать.

Его первая запись в дневнике, связанная с приездом молодой семьи, была короткой: «Приехал Лёва с женой. Она ребенок. Они очень милы». Но уже через месяц появляется запись: «Лёва слаб». Что это значило? Ведь сын как раз был преисполнен энергии в связи с ремонтом флигеля, покупкой и расстановкой мебели и сельскохозяйственными планами. Он добился того, чтобы специально для его жены со станции «Засека» каждое утро доставляли письма и свежие газеты из Швеции.

Но в глазах отца это признак не силы, а слабости. Поверхностного отношения к жизни.

В это время Толстой работает над «Катехизисом», изложением своего понимания христианского учения. И это его понимание не имеет ничего общего с тем энтузиазмом, с каким его сын устраивает себе и жене в Ясной Поляне «барскую» жизнь. Если бы он делал это где-нибудь в другом месте, было бы не так досадно. Но Лев Львович делает это на глазах отца. И это похоже на демонстрацию.

В своих воспоминаниях Лев Львович даже не скрывает того, что он прекрасно понимал: своим поведением он *раздражает* отца. Но он видит в этом чуть ли не педагогический фактор. Кажется, он всерьез решил, что настало время учить старого отца уму-разуму.

«Ко мне отец относился в ту пору менее дружелюбно потому, что чувствовал, глядя на пример моей жизни, насколько решительно и безусловно я отбросил его доктрину и насколько чувствовал себя без нее счастливее. Он мог только чувствовать

это, но не понимать, – так сильно он продолжал верить в свои идеи, хотя, может быть и даже наверное, мое умственное развитие и взгляды имели на него очень большое влияние» («Опыт моей жизни»).

Но даже если бы это было правдой – это был вопрос такта. Очень немаловажный для семейных отношений. Молодая самонадеянность сына и упрямство отца в отстаивании своих взглядов на жизнь рано или поздно должны были привести к ссоре. Так и случилось в самом начале ноября.

Толстой пишет в дневнике: «Вчера был ужасный день. Еще третьего дня я за обедом высказал горячо и невоздержанно Лёве мой взгляд на неправильное его понимание жизни и того, что хорошо. Потом сказал ему, что чувствую себя виноватым. Вчера он начал разговор и говорил очень дурно, с мелким личным озлоблением. Я забыл Бога, не молился, и мне стало больно, и я слил свое истинное *я* с скверным – забыл Бога в себе, и ушел вниз. Пришла Соня, как вчера, и была очень хороша. Потом вечером, когда все ушли, она стала просить меня, чтобы я передал ей права на сочинения. Я сказал, что не могу. Она огорчилась и наговорила мне много. Я еще более огорчился, но сдержался и пошел спать. Ночь почти не спал, и тяжело».

Случайно или нет Софья Андреевна в который уже раз подняла перед мужем болезненный для семьи вопрос о передаче ей прав на сочинения – единственной «собственности», которой он не уступил семье в 1892 году? А на какие средства можно было ремонтировать флигель и покупать мебель? Доходов ни у Льва Львовича, ни у Софьи Андреевны не прибавилось.

После ссоры с отцом Лев Львович уехал к брату Илье в его имение. Отец пишет: «Мне стыдно, что мне легче».

А несколькими днями позже в дневнике появляется запись: «Нынче немного изложение веры. Слабость мысли и грустно. Надо учиться быть довольным глупостью. Только бы уже не любить, но не нелюбить…»

Когда сын уехал по делам в Москву, он признается: «Мне с ним к стыду моему тяжело».

Опять сын стал для него тяжелым испытанием.

В декабре между ними вспыхнула новая ссора, на этот раз связанная с прибытием из Швеции приданного Доры Федоровны, как теперь называли Доллан. На станцию «Щёкино» выслали около тридцати (!) крестьянских саней. Когда этот фантастический, с точки зрения коренных яснополянцев, обоз с мебелью, посудой и прочим стал подниматься по «прешпекту», на него вышел на свою обычную прогулку Толстой.

Он пришел в ужас!

«Что это такое?» – спросил он у мужиков. «Приданое молодой графини Доры Федоровны, – отвечали они. – Лё Лёлич нанял нас».

«Зачем эти вещи? – спрашивал он вечером сына. – Зачем эта роскошь рядом с нищетой?»

«Я объяснил, что Доре они нужны и что это ее приданое», – пишет Лев Львович.

Толстой особенно возненавидел «антимакассары» – покрывала для спинок кресел от жирных затылков. В его глазах это был символ «безумной и вредной европейской роскоши».

«В этом он не совсем ошибался…» – признает Лев Львович.

Перезимовав в Ясной Поляне и встретив в ней чудесную русскую весну с соловьями и ландышами, с цветущим яблоневым садом и хором лягушек в Большом пруду молодая пара отправилась на лето в Швецию, оставив заботы о сельском хозяйстве всё той же Софье Андреевне. На самом деле у них была проблема гораздо важнее сельского хозяйства и отношений с отцом. После выкидыша Дора не могла забеременеть. Одна надежда была на «чудо-доктора Па».

И Вестерлунд их не подвел. Когда молодые вернулись в Россию, то поздней осенью 1897 года Дора во второй раз почувствовала себя беременной.

Беременность Доры и заботы о ней Лёвы, возможно, как-то смягчили отношения сына и отца. По крайней мере, всю первую половину 1898 года они не конфликтовали открыто. Но осенью 1897 года, когда Лев Львович с женой вернулись из Швеции, сын с отцом поругались несколько раз, и отношения между ними достигли такой точки кипения, что когда им вместе нужно было поехать в Москву на поезде, старику сделалось «страшно».

То и дело вспыхивавшие между ними споры вращались вокруг нового Лёвиного отношения к культуре и отцовского понимания христианства. Позже Лев Львович описал один такой спор. Это был беспорядочный обмен упреками.

«Началось с какого-то пустяка… Я сказал, что лучше устроить работникам и скотине хорошее помещение и научить их честности и грамоте, чем ничего не делать и рассуждать…

– Ты, мама́ и «Новое время»[42] всё знаете!

– Нет, ты всегда прав! И всё решил, и всё знаешь, и все должны плясать по твоей дудке. С кем ты мог говорить в жизни? Только с ограниченными людьми, кивающими головой и повторяющими: “Да, да, бедный, добрый, бесценный Лев Николаевич”. А я не могу этого! Если я оставлю жену, свою землю и дом и пойду в мир проповедовать неделание, – из этого ничего не выйдет, как только то, что придет другой на мое место, такой

же, как я, или хуже, будет расхищать мой дом и имение с соседними мужиками, а я замерзну, умру где-нибудь на большой дороге, не сделав в жизни ничего…

– Совсем как «Новое время» и мама! Так что же такое, что ты замерзнешь, а на твое место сядет кулак, – я говорю одно: хорошо это или дурно?

– Жизнь должна быть радостью, а она достигается культурой. Чем культурнее жизнь, тем больше и выше радость. И поэтому надо считаться с существующими условиями… И ты сам отлично знал это всю твою жизнь и поэтому не роздал имения мужикам, не ушел от жены и из дома.

– Неужели ты думаешь, что я, прожив 70 лет, не знаю того, что ты говоришь?»

Однажды Толстой, который сам очень любил купаться, стал при Лёве возмущаться стариком, купавшимся в подштанниках. Возможно, это был не кто иной, как итальянский криминолог Чезаре Ломброзо, который в августе 1897 года приезжал в Ясную Поляну к Толстому, отправился на Воронку купаться, стал тонуть и был спасен Толстым.

«Голые тела – гадость! – сказал Толстой. – Так было с тех пор, как мир существует. И Ноя недаром закрыли».

Лев Львович и на это стал возражать:

«Кто знает, может быть, мы оттого грязны, что привыкли смотреть на это грязно… Может, это шаг к чистому отношению…»

«Какое чистое? – возмущался отец. – Что такое? Ж…а всегда будет ж…й, а голые старики останутся голыми стариками».

Надеясь извлечь из Ясной Поляны доход, сын решил добывать в этой местности железную руду. Толстой пишет в дневнике: «Лёва нашел руду и находит очень естественным, что люди будут жить под землей с опасностью для жизни, а он будет получать доход».

Надо признать, что Лев Львович часто был прав. Например, почему нельзя добывать руду? Из чего тогда делать косы, плуги, подковы? Между прочим, крыша яснополянского дома была покрыта листовым железом, в отличие от соломенных крестьянских крыш.

Проблема была не в том, кто из них прав. Она была гораздо глубже. Может быть, неслучайно Толстой напомнил сыну библейскую притчу о Ное и его сыне Хаме, который увидел отца пьяным и голым и рассказал об этой новости братьям, то есть миру, потому что никого, кроме семьи Ноя, в то время не было на земле. Это тоже была «правда о моем отце» (название воспоминаний Льва Львовича). Но почему-то, услышав эту «правду», два других сына, Сим и Иафет, вошли в шатер,

«отворотив лица», и прикрыли отца одеждами. На чьей стороне была *культура*?

«Нынче ездил с Лёвой в Ясенки, – записывает Толстой в дневнике 10 ноября 1897 года, – и он затеял комичный разговор о культуре. Он бы был не дурен, если б не этот огромный знаменатель при очень маленьком числителе».

Под «знаменателем» Толстой понимал мнение человека о себе, а под «числителем» его настоящие достоинства. И это, к сожалению, была правда о самом Льве Львовиче, которая в дальнейшем роковым образом испортила его жизнь.

«Вчера был раздраженный разговор с Лёвой, – пишет Толстой 20 ноября. – Я много сказал ему неприятного, он больше молчал, под конец и мне стало совестно и жалко его, и я полюбил его. В нем много хорошего… Я забываю, как он молод…»

Приезд Вестерлундов

Рождения первенца ждали к началу июня. В середине мая 1898 года в Ясную Поляну прибыли Эрнст и Нина Вестерлунд. Для Доры приезд родителей был радостным событием. «Как она им рада, милая девочка с ее брюшком, домашними хлопотами, заботами об их комфорте», – пишет в дневнике Софья Андреевна. А для Льва Львовича еще и знаменательным. Должна была состоятся встреча двух отцов, по-разному подаривших ему жизнь.

Встречать Вестерлундов отправился сам Лев Львович в коляске, запряженной четвериком. Был воскресный вечер, и сотни мужиков с пьяными песнями возвращались с тульского базара. Крики и грохот телег напугали жену доктора. «Кто это?» – в ужасе воскликнула она. «Дикари», – по-шведски ответил ей зять.

«Доктор, прямо сидя в коляске, с выпученной вперед грудью, с любопытством спокойно наблюдал первые картины русской жизни», – вспоминал он.

Молва об иностранном докторе разнеслась по Тульской губернии. Из дальних сел приходили больные. Он всех принимал и осматривал в своей комнате.

Толстому Вестерлунд не понравился. Он показался ему грубоватым и фамильярным. Дружески потрепав свата по плечу, доктор посоветовал ему не увлекаться вегетарианством и съедать хотя бы два яйца в день. Софье Андреевне сказал, что она «слишком избаловала своего мужа».

«Он нашел, что доктор Вестерлунд и мужик немецкий, и буржуазен, и туп, и отстал на 30 лет в медицине, – пишет Софья Андреевна, – а он не видел доброты этого доктора, его самоотверженную жизнь на пользу человечеству, его желание помочь каждой бабе, каждому встречному; его заботу о жене, о дочери, его бескорыстность».

Возможно, что Вестерлунд напомнил Софье Андреевне ее покойного отца – врача-немца Андрея Евстафьевича Берса.

Толстой обязан был поблагодарить Вестерлунда за спасение сына, и он сделал это. Этой минуты Лев Львович ждал внимательно, придавая ей большое значение.

«Без слов мы все трое поняли, что целая драма скрывалась за этим жестом отца. Болел я больше всего из-за него и его беспочвенного учения, якобы дававшего людям счастье. Без всякого учения Вестерлунд дал мне понять реальную правду жизни одним своим живым примером и своей светлой правдивой личностью…» – пишет он в своих воспоминаниях.

8 июня Дора родила сына. «Как она, бедная, страдала, как

умоляла отца о чем-то, горловым, молодым голосом, громко болтая по-шведски, – пишет Софья Андреевна в дневнике. – Лёва был очень с ней нежен, бодрил ее, а она так хорошо, любовно к нему относилась, прижималась, как будто прося разделить ее страдания».

Мальчик родился здоровым и красивым, «как картинка». Об этом сообщили все русские и шведские газеты. В доме Толстых царила радость. Родители трех семей поздравляли друг друга, фотографировались. Первому сыну Льва Толстого, сына Льва Толстого, тоже дали имя Лев. На свет Божий появился Лев Третий.

Конец проекта

Осень, зима и весна 1898 года пролетели незаметно для Льва и Доры. Он занимался литературой и вел хозяйство Ясной Поляны, как и мечтал; она помогала ему и сама кормила маленького Лёвушку грудью, не доверяя этого русским кормилицам.

Лето, осень и зиму 1899 года они провели в Швеции, у родителей Доры и в Стокгольме, где Лев Львович собирал материалы для своей книги «Современная Швеция в письмах-очерках и иллюстрациях». Зимой 1900 года он повез жену во Францию и Италию, в которых она еще не была. В Париже они познакомились с Эмилем Золя. Он принял их любезно и был очень доволен тем, что отец Льва Львовича читал его произведения и ценил их. Впрочем, поинтересовался с сожалением: «Неужели ваш отец верит в Священное писание?»

В этой поездке Дора была как-то особенно хороша. Солнце Италии «зажгло в ней новую жизнь и окрасило ее новыми красками», – вспоминал Лев Львович. Во Флоренции два итальянских офицера в голубых мантиях, проходя мимо русской пары, воскликнули: «La Belle!» («Красавица»). Лев Львович с его природной худобой был элегантен в цилиндре и перчатках. Полуторогодовалый Лёвушка, тихий и скромный, с большими карими глазами, не доставлял особых хлопот; к тому же им в основном занималась русская нянька – честная и некрасивая деревенская девушка Саша.

Весной 1900 года они вернулись в Ясную Поляну Старики были им рады. Дед таскал на плечах Льва Третьего, и тогда же они снялись для фотографии «Три Льва». Фотография вышла трогательной. Внук сидит на коленях деда, сын и отец, опершись на палку, победоносно смотрит вперед. На головах отца и деда одинаковые круглые шапочки.

Но той же весной Лев Львович совершил два поступка, которые не следовало делать в суеверной русской деревне. Их с Дорой флигель стали одолевать в несметном количестве расплодившиеся ужи. Они заползали в дом, располагались на постелях и, свернувшись клубками, устраивались на цветочных клумбах.

В усадьбе Толстых в то время уже не нельзя было убивать не только ужей, но и мышей. Однако Лев Львович объявил ужам войну. Вместе с дворником Степаном он убивал их десятками и выбрасывал в канаву. Это была нехорошая примета.

Тогда же он застрелил большую рыжую собаку лесника,

которая бросалась на маленького Лёвушку во время прогулок и однажды чуть не свалила с ног его няню. «Я взял ружье и, молча подойдя к сторожке, застрелил собаку почти в упор. Жена и дети сторожа выбежали на крыльцо и долго с осуждением и грустью смотрели на меня».

В августе Дора родила второго сына – Павла, и Вестерлунды во второй раз приезжали в Ясную Поляну. Доктор в ней уже вполне освоился, уходил один на ежедневные многочасовые прогулки, возвращаясь с грибами или цветами.

Между Львами, отцом и сыном, установились мирные отношения. Но в них не доставало главного – любви.

«С Львом спокойно, – пишет Толстой в дневнике, – но нехорошо тем, что я как будто презираю его. Господи – ты, который во мне, – разгорись во мне, дай мне любви».

Вообще в его записях о Лёве после его выздоровления в Швеции легко заметить один постоянный мотив. Больше всего сын терзал отца не тем, что был не согласен с его взглядами или вел себя как-то неправильно. Толстого мучил не сам Лёва, с которым тогда было в общем-то всё в порядке. Его мучила собственная *нелюбовь* к сыну.

«Сознание необходимости любви помогает мне, – пишет он. – Замечаю на Лёве». Но позже: «…не могу победить отвращения и досады. Надо учиться». Лёва как бы испытывает его на любовь. «Я огорчил его, сказав правду. Нехорошо. Надо было сделать мягче, добрее». Порой отношения с сыном Толстой воспринимает как духовное упражнение. «Мне было с ним лучше. Хотя пассивная гимнастика была и очень сильная…»

Лев Львович чувствовал это и, конечно, обижался. Но он старался объяснить это своими умственными расхождениями с отцом. Потому что признаться самому себе в том, что отец его элементарно *не любит*, что он раздражает его самим фактом своего пребывания в Ясной Поляне, было бы слишком обидно! Поэтому, расставаясь с отцом на время, Лев Львович продолжал в письмах к нему настаивать на их обоюдной любви, которая казалась ему такой естественной, но… может быть… он в чем-то виноват… не был достаточно внимателен к отцу…

«Милый папа́, хочу сказать, что по старому люблю тебя и совсем изгнал из сердца дурное чувство к тебе. Пожалуйста, прости меня за то, что я могу иметь такое к тебе. Я знаю сам, как не только теперь, когда ты жив, мне бывает стыдно за эти досадные чувства к тебе, но что в будущем, если я переживу тебя, я совсем замучаюсь от раскаяния. Дороже тебя у меня нет человека. Можешь не верить, если хочешь, но ты не можешь не почувствовать моих слез».

«Не буду просить у тебя прощения за дурные мысли о тебе и осуждение тебя, – ты знаешь сам, как они мучают меня иногда, не буду объясняться в любви. Пишу просто, чтобы выразить то настоящее чувство к тебе, которое живет во мне за всем остальным. И я знаю и уже вижу, что, чем дальше в жизни, тем сильнее будет это чувство и тем ближе и уже прочнее, чем прежде, я буду подходить к тебе».

«Ты прав, я недобро к тебе относился и, конечно, это причина нашей отчужденности. Постараюсь совсем и искренне уничтожить в себе дурные чувства к тебе… Объяснения нашей недружбы простые и, напротив, их полезно знать. Во-первых, я иначе взглянул на некоторые вещи, чем ты, и это разъединило нас; во-вторых, не я один, а ты тоже недобро относился ко мне, и мне одинаково трудно было, как и тебе, просто и открыто относится к тебе. Но теперь конец всему этому. Прости меня, пожалуйста, до конца и будь со мной, как прежде».

На эти сентиментальные объяснения в любви отец отвечал весьма холодно: «Я получил твое письмо, Лёва, и, к сожалению, почувствовал, что не могу тебе писать просто и искренне, как желаю относиться ко всем людям, а особенно к сыну. Твое непостижимое для меня и очень тяжелое отношение ко мне сделало то, что из невольного чувства самосохранения стараюсь как можно меньше иметь общения с тобой. Будем надеяться, что это пройдет, как только пройдет твое недоброе отношение. Исправлять же это объяснениями не надо. Объяснения никуда не улучшают, а только ухудшают отношения. Прощай, желаю тебе того внутреннего блага, вследствие которого устанавливается, без заботы об этом, самые дружеские отношения со всеми людьми».

Несчастье Льва Львовича было в том, что он-то как раз *любил* отца. И находился, как и его мать, в беспредельной от него зависимости. Это была зависимость другого рода, но не менее глубокая и гораздо более печальная. Софья Андреевна сознательно стала частью жизни своего мужа. Но у нее оставалась и своя область жизни, в которой она была хозяйкой и в которой он был зависим от нее. Она могла говорить о нем в дневнике злые и даже страшные вещи. Она могла писать, что он паук, а она муха, жужжащая в его паутине. Но оба понимали, что между ними существует неразрывная и смертная связь, нарушить которую нельзя без того, чтобы оторвать от себя большую часть – с мясом и кровью.

В зависимости же Льва Львовича было что-то невыразимо жалкое. Он мог уничтожить в себе «толстовца», но не мог убить в себе «Льва Толстого». Но и вместить в себя «Льва Толстого» он не мог. Данное ему от рождения имя, как ни странно, обрекало его

на самое незаметное существование, с которым нужно было смириться раз и навсегда, как с неудачной шуткой. Лев Толстой – раз, Лев Толстой – два, Лев Толстой – три.

«Влияние на меня Европейского Запада было огромное, и, благодаря ему, я скоро создал мои собственные определенные воззрения на жизнь, которые еще дальше отчуждали меня от отца, – писал он, вспоминая зиму конца 1900 года. – Я понял, где и как он ошибался, говоря о власти и собственности, о браке и земельном устройстве русского народа, о культуре, о науке и искусстве, о безбрачии, анархизме и других вопросах».

Господи, да разве в этом было значение его отца! И ведь это писал уже не молодой Лев Львович, но автор «Опыта моей жизни». Неужели до конца своих дней он так и не понял, что значение его отца было не в отношении к каким-то «вопросам», а в том, что Толстой сам был «вопросом» для русской и мировой жизни?

Неужели он не понял, что его яснополянский проект потерпел крах не потому, что имение принадлежало братьям, а потому, что это было уже не просто имение, а нечто *другое*?

«Я любил тихую, занятную жизнь в Ясной с ее хозяйством и охотой, с ее чудесными осенними и зимними днями, с ее бурями и метелями, с ее поэтической весной и окружавшей ее народной, близкой мне, русской жизнью».

В этой пасторали фигура отца была не нужна. Она выламывалась из нее, заставляя тихий уголок тульской губернии граничить даже не с Европой, а с какой-то духовной «Индией».

Если бы Лев Львович согласился на предложение Вестерлунда и взял управление Хальмбюбуды на себя, у него была теоретическая возможность превратить имение в шведский вариант Ясной Поляны. Но у него не было ни одного шанса сделать из Ясной Поляны русский вариант Хальмбюбуды.

Осенью 1900 года Лев Львович был по делам в Москве и купил для маленького Лёвушки детскую барашковую шапочку, легкую и щегольскую. В начале декабря, в оттепель, он велел запрячь санки и поехал с женой и сыном на прогулку. «Я правил сам бойкой серой лошадью Крысой и не заметил, как Лёвушка заснул между мной и Дорой в своем новом пальтеце и новой мелкой, не покрывавшей достаточно лба и затылка шапочке…»

Вечером у ребенка сделался жар, и через две недели, в день старого Рождества, он скончался от воспаления мозга. Врачи были бессильны.

Из Москвы приехала Софья Андреевна, из Швеции – Вестерлунд. На Дору было невозможно смотреть. Она обезумела. Когда смерть ребенка была уже очевидной, она не верила в нее,

украшала рождественскую елку и готовила подарки. Приехавшая в Ясную Поляну Софья Андреевна нашла, что «состояние обоих родителей ужасно». Она писала мужу в Москву:

«Дора выбегает с криком или врывается в комнату, где лежит Лёвушка; кричит, бросается на него, зовет его, говорит бессмысленные слова; а в комнате не топили три дня и окно настеж открыто. Дора очень похудела, молока почти нет, кашляет. Лёва на нее страдает, усаживает ее возле себя, а сам точно полуумный. Ушел сегодня гулять, яркое солнце, голубое небо, мухи огромные жужжат на окнах, где стоят гиацинты; на солнце 15 гр. тепла и что-то весеннее, пчелы гудят тут под лестницей, куда их поставили на зиму. Напомнило ему и весну, когда они вернулись из-за границы, и Лёвушку, как бы он теперь гулял на солнышке, – прибежал домой, бросился на постель, где сидела и кормила Дора, она мне бросила Павлика, и сама рыдать, – ужас! Потом опять ничего, пьем чай, говорим. И вдруг Лёва вспомнит, как играл в прятки или мячик с Лёвушкой и Акулей, и опять плачет. Всё приговаривает: “обидно, обидно, кончена жизнь, нет опоры, нет цели”… Дора беспрестанно льнет ко мне, то обнимет меня, то сядет на пол и голову мне положит на колена, то рассказывает мне долго про Лёвушку и его слова, игры, крики, болезни, и проч. К маленькому (второму сыну Павлу – *П. Б.*) она довольно равнодушна и говорит, что кормит его и будет его любить только потому что Лёвушка ей это велел. И всё повторяет его слова: “мама, возьми братика, корми братика”».

После похорон Лев Львович обнаружил, что Доры нет дома. На дворе была ночь и выла метель. Он велел запрячь лошадей. «Мы встретили ее одну в поле, уже возвращавшуюся с могилы, измученную и безумную, насилу шагавшую по дороге, густо и высоко заметенной снегом…»

Дора и Лёва постоянно спорили о том, кто виноват в смерти ребенка. Не так его кормили, неправильно воспитывали физически, надели не ту шапочку. Потом строили планы: куда им ехать, где жить? Оба понимали, что оставаться жить в Ясной Поляне невозможно.

Деда на похоронах внука не было. Он писал в дневнике: «У Лёвы умер ребенок. Мне их очень жаль. Всегда в горе есть духовное возмездие и огромная выгода. Горе – Бог посетил, вспомнил».

Глава седьмая
Тигр Тигрович

Я ничего не пишу, сам я ничто, Вы принимаете меня не за то и, если Вы друг мне, прошу Вас, скрывайте от людей, от себя и от меня самого, что что-то там я сочиняю.

Л. Л. Толстой. Письмо Н. С. Лескову

«Твой сын Лев»

У Льва Львовича были основания обижаться на отца… как на отца. В религиозном фатализме, с которым Толстой относился к несчастиям близких людей было что-то глубоко эгоистическое. На это нередко жаловалась в дневниках Софья Андреевна. С одной стороны, Толстой был похож на Авраама, готового принести в жертву собственного ребенка, потому что так велел Бог. С другой стороны, в этом проявлялся инстинкт самосохранения писателя и философа, который таким образом защищал себя от внешних волнений, когда от него требовалось не мудрое слово, а живое участие.

Но была и еще причина, которая мешала Толстому тепло относиться к сыну. «Он не умел любить – *не привык* смолоду», – пишет Софья Андреевна, неслучайно подчеркивая «не привык». Тем самым она намекала на то, что речь идет не об изначально злом человеке, но об элементарном отсутствии *привычки* к семейной любви. Не забудем, что Толстой потерял мать, когда ему не было и двух лет, а отца – в восемь лет. Самый младший из братьев Толстых он был лишен родительской нежности и воспитывался тремя тетушками, две из которых, Александра Ильинична Остен-Сакен и Полина Ильинична Юшкова, сами не были счастливы в семейной жизни, а третья, Татьяна Александровна Ёргольская, вовсе была незамужней.

В связи со смертью Лёвушки Толстой даже не написал Лёве и Доре письма, ограничившись короткой припиской в послании к жене: «Всем сердцем чувствую ваше горе, милые Дора и Лёва, и желаю и надеюсь, что вы найдете утешение и опору там, где она только и есть, в Боге».

«…как всегда, в ней было больше холодной философии, чем горячей сердечной теплоты», – писал Лев Львович об этой приписке.

Сам он сразу после смерти Лёвушки написал стихотворение, слабое по форме, но выразительное в том смысле, что вину за смерть сына он все-таки возлагал на себя: ведь это он купил ему не ту шапку.

О, солнце яркое! Как ты гнетешь меня!
О, пусть вся жизнь вины той будет искупленье —
Виню себя за то, что потерял тебя,
Ребенок дорогой, мой сын и утешенье.

Но были в этом стихотворении и довольно странные строки, которые трудно отнести к самому Льву Львовичу и в которых, скорее, запечатлелось его восприятие отца:

Да, я один, тебя любивший без конца,
Убил неправдой, злобою, тревогою исканья,
И слез дешевых, пошлых нет уж у меня
И, гордый, не могу молиться от страданья.

Как будто и здесь, в непосредственном горе от потери первенца, его существо раздваивалось, и он мысленно переносился в своего отца с его «гордостью» и «исканьями». В этом предположении убеждают два письма к отцу, написанных после смерти Лёвушки. Такое впечатление, что они писались двумя разными людьми. Одним был Лев Львович, излечившийся от «толстовства» и принявший трезвую «европейскую» точку зрения на жизнь и смерть. А другой Лев Львович всё еще оставался в плену воззрений Толстого-старшего.

«Вознаграждение в виде очищения души, может быть, придет, но зачем нужны эти жертвы для этого, и почему нельзя иначе очищаться – пишет он отцу 30 декабря 1900 года. – Это просто несчастие, грубое, безобразное, потому что его не должно было быть, и помириться с ним все-таки невозможно. Лёвушка умер от того, что мы его простудили, мой разум иначе не представляет себе этого, и потому мне особенно тяжело. Я не могу думать, что ему надо было умереть, – тогда я бы не горевал».

Но через месяц он пишет ему совсем другое: «Я принимаю горе наше, как драгоценный дар Бога. Жаль растрачивать его, жаль пачкать и хочется хранить его и если пользовать, то только на то, на что он дан…»

Интересна подпись к этому письму. *«Твой сын Лев».* Вообще-то у Льва Львовича не было устойчивой подписи в письмах к отцу. Он менял их в зависимости от содержания письма и даже, возможно, от своего минутного настроения. Иногда он мог подписаться одной буквой *«Л»,* но порой разражался пространной подписью вроде: *«Твой на всю жизнь слабый и дурной сын Лев».*

Валерия Абросимова заметила, что еще с гимназии Лев Львович менял подписи к письмам и школьным сочинениям, «словно пробуя, примеряя на себе эту ношу: *“Лев Толстой*”». Но во весь рост эта проблема встала перед ним, когда, вопреки сомнению родных и вопреки собственным тяжелым сомнениям, он все-таки решился стать писателем.

Конец родового гнезда

В апреле 1898 года молодой Лев совершил поступок, вероломный в отношении родителей, прежде всего – матери. Ничего с ней не согласовав, он продал через комиссионера дом в Хамовниках. Софья Андреевна была вынуждена выкупить его за пятьдесят восемь тысяч рублей. В итоге она осталась без денег и в долгах.

Ситуация была щепетильной. Софья Андреевна уже тогда считала, что хамовнический дом в будущем должен стать музеем Толстого. Возможно, по этой причине, продавая дом, который формально был его собственностью, Лев Львович не стал спрашивать согласия матери. Это было бестактно не столько в отношении отца, который меньше всего заботился о создании собственных музеев, сколько в отношении матери, которая как раз много думала о том, что будет делать после смерти мужа. Но и если взглянуть на ситуацию с практической точки зрения, выходило так, что отец в свое время приобретал имущество, а сын его разбазаривает. Через два года после продажи московского дома он продал еще и одно из самарских имений, Бобровку, приобретенную отцом в семидесятые годы и ставшую по разделу 1892 года собственностью Льва Львовича.

На самом деле причина всех этих «негоций» была одна и довольно горькая. У Льва Львовича не было своего угла для самостоятельной жизни. Жить в самарской глуши, да еще и с супругой-шведкой, было абсолютно невозможно. В Ясной Поляне жил отец, привлекая к себе внимание всей России и даже всего мира, а московский дом только юридически считался за Львом Львовичем, а фактически оставался домом матери и московской «резиденцией» отца.

Смерть Лёвушки стала последней каплей в чаше терпения Льва Львовича, которому надоела унизительная роль приживальщика при великом отце и бесконечно преданной ему матери. Софья Андреевна могла сколько угодно сильно любить своего сына, но в самых критических ситуациях она все-таки была на стороне мужа, которому посвятила всю жизнь.

То, что решение поселиться в Ясной Поляне было его ошибкой, Лев Львович понял задолго до смерти Лёвушки, едва ли не в первый же год их с Дорой пребывания в родовом имении. Но что ему было делать? Служить, как брат Сергей, он не мог по причине отсутствия высшего образования. А тянуть лямку обычного помещика, как брат Илья, представлялось ему недостойным его имени и способностей, о которых он был

высокого мнения. Одно дело – основать «новый центр и продолжение рода Толстых» в Ясной Поляне и совсем другое – закабалить себя в тяжелом и рискованном по климатическим условиям российском сельском хозяйстве. К тому же в натуре Льва Львовича была одна черта, которую справедливо осуждал в нем его отец, да и мать, когда она трезво смотрела на своего любимого сына.

Он был и всю жизнь оставался «барином». И в этом он, к сожалению, тоже неудачно подражал отцу. Но «барство» Толстого-отца, о котором его жена писала: «…и мудр, и счастлив Л. Н. Он всегда работал по своему выбору, а не по необходимости. Хотел – писал, хотел – пахал. Вздумал шить сапоги – упорно их шил. Задумал учить детей – учил. Надоело – бросил», – имело под собой оправдание в его литературном гении, признанном всем миром. А «папа Лео», по словам его сына Павла, просто «считал, что относится к “высшему классу” и не должен связывать себя какой-нибудь работой, но всегда чем-нибудь заниматься: размышлять, писать, ваять, охотиться и тому подобное».

Вторая важная составляющая натуры Льва Львовича, сближавшая его с отцом, каким тот был в молодые годы, заключалась в его прожектерстве. Сын Толстого не жил, а постоянно реализовывал какие-то жизненные проекты, которые в данный момент представлялись ему правильными и разумными. При этом всё, что не вписывалось в очередной проект, он строго критиковал как неразумное и неправильное, «…вы, Толстые, – писала Софья Андреевна сыну от 24 января 1900 года, имея в виду сразу двух Львов, – главное всё ищете что-нибудь в жизни или необычайное, или подвергаете мелкому анализу и осуждению. А на всё попроще и поспокойнее надо смотреть».

При этом она чувствовала, что из всех ее сыновей Лёва был ей ближе всех по своей природе: «…ты меня как-то больше других понимаешь и щадишь. От других детей я видела всегда строгие требования, беспощадность, непризнание того – малого, может быть, – но всё же хоть сколько-нибудь хорошего. А вы с Дорой были со мной ласковы…»

Она считала, что и отца он понимал лучше многих: «Лёва более всех сыновей в душе понимал и любил отца. Он мне даже давал советы в том, как относиться мудро к жизни Льва Николаевича в деревне, к его неприезду в Москву и равнодушию к детям и их воспитанию».

Вообще, самой привлекательной чертой в Лёвином характере была его *ласковость.*

«Он всё, что касалось семьи, всегда принимал близко к сердцу и особенно интересовался и огорчался своими меньшими

братьями: Андрюшей и Мишей. Давал им советы, которым они не хотели следовать, писал, как вредны семье никому не нужные, мешающие семейной жизни посетители, отсутствие интереса отца к жизни сыновей, романы сестер и всё то, что развлекает и отвлекает от занятий и серьезной жизни…» («Моя жизнь»).

Но отношения с отцом в Ясной Поляне не сложились, да и Дора порой чувствовала, что их с мужем пребывание в усадьбе в тягость свекру. «Бедная Дора приписывала это себе и горько плакала…» – сетовала Софья Андреевна.

На самом деле главной причиной всех этих нестыковок в семейной жизни Толстых был не Лёва с его характером и не Дора с ее шведскими привычками, а Толстой с его мировоззрением, которое перевернуло жизнь семьи. Это отлично понимали все его дети.

В 1897 году вышла замуж дочь Маша и уехала с мужем жить в имение Пирогово по соседству с дядей Сергеем Николаевичем. В ноябре 1899 года покинула родительский дом старшая дочь Татьяна. Она тоже вышла замуж и переехала к мужу и его детям от первого брака в имение Кочеты. Расставание с Таней, которая была верной помощницей отцу, было для него тяжелым. Софья Андреевна писала Льву Львовичу:

«Милый Лёва, вчера мы наконец проводили за границу нашу Таню с Сухотиным. Никто из нас не предвидел того страшного огорчения, той пустоты, которую оставила по себе Таня. Сегодня папа́ пришел с прогулки обедать, посмотрел на пустой прибор и стул возле себя, который никто не решился занять, и так грустно, со слезами в голосе сказал: «а Таня не придет». Мы все подавились слезами, все замолчали, и никому есть не хотелось. В доме такое настроение, как будто была не свадьба, а похороны…»

В том же году на свояченице Черткова Ольге Дитерихс женился сын Андрей и тоже поселился отдельно от родителей. А в январе 1901 года состоялась помолвка самого младшего сына Михаила с Линой Глебовой. И в этом же году Ясную Поляну покинули Лев Львович с Дорой и сыном Павлом.

Начало XX века в семье Толстых совпало с целой чередой детских смертей. Прямо с похорон Льва Третьего Софья Андреевна отправилась в Кочеты к Татьяне, которая 27 декабря 1900 года родила мертвую девочку. В января 1901 года во время приготовлений к свадьбе Михаила «пришло известие от Маши бедной, что ребенок опять в ней умер и она лежит с схватками, грустная, огорченная обманутой надеждой, как и Таня». И еще в конце февраля 1901 года Толстого торжественно отлучили от православной церкви.

14 июля 1901 года Софья Андреевна пишет в дневнике:

«Уехали Лёва, Дора и Павлик в Швецию. Ужасно, ужасно больно было с ними расставаться. Я их особенно сильно принимаю к сердцу, особенно *чувствую* их жизнь, их горе и радости. Последних мало им было в этом году! И так безукоризненно свято они живут, с лучшими намерениями и идеалами. Им нечего скрывать, можно спокойно до дна их души смотреть – и увидишь всё чистое и хорошее. Бедная Дорочка бегала в пять часов утра на могилку своего Лёвушки проститься с любимым детищем, и мне хотелось плакать, и я болела ее материнскими страданиями с ней вместе». Видимо, и Толстой почувствовал, что с отъездом Лёвы и Доры в Ясной Поляне закончился какой-то громадный период его жизни – жизни со своими детьми. «Сегодня утром ходит около дома и говорит: “А грустно без детей, нет, нет и встретишь две колясочки, а теперь нет”. Как раз были тут вместе Павлик и Сонюшка, дочь Андрюши».

По этим ли причинам или из-за преклонного возраста (в 1898 году ему исполнилось семьдесят лет) Толстой начал серьезно болеть. «Все эти дни он мрачен, потому что слаб и боится смерти ужасно, – пишет Софья в феврале 1901 года. – Как не хочется Льву Николаевичу уходить из этой жизни…» «Дряхлость Льва Николаевича тянет меня за собой, и я *должна* стареть вместе с ним, и не могу, не умею, если б и хотела», – пишет она в мае. В июле состояние здоровья стало настолько угрожающим, что врачи посоветовали на осень и зиму перевезти его в Крым. Графиня Панина предоставила семье Толстых роскошную виллу в Гаспре. Последователь Толстого Павел Александрович Буланже, работавший на железной дороге, организовал для их переезда отдельный вагон.

В Петербург! В Петербург!

Из воспоминаний Льва Львовича, написанных много лет спустя, получается, что впервые о переезде из Ясной Поляны в Петербург он задумался после смерти Лёвушки. Но это не так.

Большой двухэтажный дом по Таврической улице был приобретен им в декабре 1900 года, когда ребенок был еще жив. Купчую на этот дом он заключал во время болезни Лёвушки, оставив Дору одну с больным ребенком в Ясной Поляне. По-видимому, этот отъезд в Петербург был связан со срочной необходимостью в подписании бумаг, но сама история с приобретением дома началась еще в 1898 году, когда Лев Львович продал дом в Москве.

Продавая и часть самарского имения осенью 1900 года, сын Толстого уже знал, что будет покупать дом в Петербурге. 10 ноября он писал матери: «Я продал Бобровку за 20 000, жалко было, но, если покупать дом, что я, верно, сделаю в следующую поездку в Петербург, надо иметь все деньги налицо».

Так что смерть Лёвушки не была причиной отъезда Лёвы и Доры из Ясной Поляны.

Вообще трудно сказать, насколько серьезным и основательным было его решение поселиться в Ясной Поляне. По-видимому, в его голове был не один жизненный план, а сразу несколько. Он и помещиком хотел стать, и писателем, и реформатором России, и главой огромного семейства – продолжателем рода Толстых и Волконских…

Но вот вроде бы мелочи. Когда он разбирал «старый хлам» во флигеле, то, между прочим, выбросил на чердак записки своей бабушки, Марии Николаевны Волконской. А когда в Ясную Поляну приехал детский доктор из Москвы к больному Лёвушке, то у Льва Львовича «не было под рукой» денег, и он просил мать отдать двести рублей врачу. Приобретая дом в Петербурге за немалую сумму – больше ста тысяч рублей – он истратил на это все деньги, которые выручил от продажи бывшей отцовской собственности, но кроме этого за всю свою жизнь он ничего не приобрел и детям своим ничего не оставил, в отличие от отца, разделившего между женой и детьми полумиллионное состояние…

«Петербургский» проект Льва Львовича преследовал, как он сам писал, три цели: «первое – создать дружную и здоровую семью, второе – составить достаточное для детей и себя состояние и третье – служить, насколько я мог, России…» Все задачи были прекрасны! Настораживало одно: и за этот проект он брался не с

холодной головой, но обуреваемый неотчетливыми мечтаниями, как и в то время, когда он плыл в Швецию, чувствуя в себе брожение крови Рюриков.

«В Петербург! В красивую молодую европейскую русскую столицу, которую Пушкин назвал “гениальной ошибкой Петра”[43]. Но ошибся не Петр, а Пушкин, и будущие русские поколения, по всей вероятности, увидят, что Петербург еще только начал начерно выполнять свою роль окна в Европу и что в конце этого века он будет одним из самых культурных и богатых городов мира, насаждая по всей России истинную нордическую цивилизацию», – писал он.

У его жены Доры были куда более скромные пожелания. Ей хотелось быть ближе к отцу и матери, к родной Швеции. И, положа руку на сердце, она уже поняла, что жить в Ясной Поляне, может быть, прекрасно и замечательно, но рожать детей нужно рядом с папой Вестерлундом.

Дом по Таврической улице когда-то принадлежал графине Клейнмихель. По слухам, здесь жил выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский и писал свою «конституцию». Но теперь это был просто доходный дом, кирпичный, занимавший со флигелями пятьсот квадратных сажен земли и состоявший из двадцати квартир, а в нижнем этаже находились булочная, мясная лавка и сапожная мастерская. Отправив Дору с Павликом на лето в Швецию, Лев Львович с помощью брата матери перестроил этот дом, оставив себе верхний этаж с окнами, выходящими на Таврический сад. В этом проявилась его забота о будущей многодетной семье. В сентябре 1901 года он писал матери: «Милая мама, вчера приехала Дора с Павликом на пароходе из Стокгольма, прямо сюда, и мы теперь вместе, хотя еще не устроились и Дора еще не привыкла к своей новой жизни… Что хорошо, – это сад, Павлик, как приехал, так отправился туда гулять, и его оттуда принесли сонного… Сижу с открытым окном на Таврический сад, где осень желтая уже ссыпает лист на дорожки, по которым гуляют дети».

Это письмо было отправлено уже в Крым. Там начиналась битва родных Льва Николаевича за его жизнь, которая оказалась в смертельной опасности.

Неудержимая потребность

Почти все дети Толстого были литературно талантливыми людьми и оставили после себя наследие в виде дневников и воспоминаний, а также замечательной переписки, из которых мы сегодня многое узнаем не только о личности их отца, но и о жизни этой великой семьи. Незаурядным литературным талантом обладала Софья Андреевна, что выразилось в ее дневниках, воспоминаниях и переписке. Не столь удачно проявился ее талант в художественной сфере: две повести «Чья вина?» и «Песня без слов» все-таки остаются свидетельствами ее личной жизни с мужем, но не выдающимися художественными произведениями.

Но никому из семьи не приходило в голову стать *профессиональным писателем* при живом отце и даже после его смерти. На это отважился только Лев Львович. И это стало для него настоящей жизненной драмой.

В его желании быть самостоятельным писателем было что-то роковое и болезненное. В принципе он понимал, что положение безнадежно, что слава отца будет преследовать его, как тень отца Гамлета. Что бы он ни напечатал под именем Лев Толстой – всё будет восприниматься публикой в невыгодном и даже смешном свете, как если бы человек попытался зажечь фонарь под солнцем.

Но, кажется, именно это в конечном итоге послужило не преградой, а стимулом для его творчества. В этом его несчастное соперничество с отцом проявилось наиболее безрадостно.

Взять псевдоним? Так советовал поступить издатель и газетный магнат Алексей Сергеевич Суворин. Но, во-первых, Лев Львович, как и его отец, не разделял личность и творчество. Он хотел говорить с читателем от своего имени. Во-вторых, это оказалось затруднительным по технической причине: он почти сразу же выступил в печати не только как сочинитель, но и как публицист.

Тем не менее, первые два рассказа, «Любовь» и «Монте-Кристо», он напечатал под псевдонимом «Л. Львов». Но в 1892 году, когда он работал на голоде в Самарской губернии и задумывал очерки об этой страшной беде, встал вопрос: если это публиковать, то под каким именем? О том, что сын Толстого вместе с отцом работает на голоде, знала вся русская общественность. Скрыться под псевдонимом было бы нелепо, да и зачем? Лев Львович долго не решался печатать эти очерки именно по той причине, что он тоже Лев Толстой. В связи с этим он чуть не поссорился с первым писателем, который поощрял его творческие дерзание – Лесковым.

20 января 1892 года Лесков писал Суворину: «Посетил недостоинство наше “младший Лев” (отцов любимец и любви достойник)… Что за юноша!.. Хочется плакать от радости…»

Благожелательность Лескова очевидно вдохновила Льва-младшего, и 17 июля того же года он сообщил ему: «…я сам по грешности своей, и Вам будь это сказано по секрету, хочу перевести в целое кой-какие наблюдения и материалы, собранные мною за нынешний год среди голода…»

Как должен был понять это Лесков? Только как желание высказаться о голоде в печати. Не «в стол» же это писать! Лесков сообщил об этом, тоже «по секрету», издательнице только что образованного журнала «Северный вестник» Любови Яковлевне Гуревич, желая таким образом убить двух зайцев: помочь Льву Львовичу напечататься и поддержать новый журнал громким именем. Но в результате Лев Львович обиделся.

«Простите, но Вы поступаете не по-Божьи, продолжая говорить в чужой компании мне о том, что я Вам нечаянно высказал», – писал он Лескову. А на предложение Гуревич напечатать очерки ответил: «Н. С. Лесков напрасно ввел Вас в заблуждение. Записки, веденные мною в Самарской губернии, не имеют никакой цены и, может быть, вовсе не годны для печати… Поэтому, если желаете мне добра, не говорите со мной и другими о моем недостойном нахальстве исподтишка иногда изводить бумагу».

Затяжная депрессия надолго оторвала его от литературных занятий. Но желания стать писателем она не погасила. В 1898 году он признавался Суворину: «Я очень мало вообще верю в себя и мои силы. Знаете, когда стоишь в свете, окружающем великого отца, чувствуешь себя таким жалким, никем не замечаемым, что последняя вера в себя угасает. Между тем отвечу Вам теплом за тепло, – во мне часто, с тех пор, как здоровье мое поправилось, шевелится *неудержимая потребность писать*, чувствуется к этому большое влечение».

Он и во время болезни не оставлял попыток выступать в печати, если не как писатель, то как публицист. 26 декабря 1895 года, когда он был в Энчёпинге, Софья Андреевна писала ему: «Да, тебе прислали гонорар автору 65 рублей из “Русских ведомостей”. Что это значит? Неужели мы что-нибудь пропустили?.. Папа тоже недоумевает и интересуется…»

О статьях своего бывшего ученика восторженно отзывался директор гимназии Поливанов, навещавший Лёву во время его болезни. В письме к Софье Андреевне он писал: «Вот прочел его статейку “О салютистах”, ведь как это мило, как всё в меру, умно, хорошо написано. У него положительный талант. Пожалуйста,

скажите ему мое мнение и передайте, что я верю в его будущность, чтобы он не переставал писать, это положительно его призвание».

У него был не только публицистический талант. Когда он с Дорой поселился в Ясной Поляне и основательно приступил к литературной работе, в нем обнаружился несомненный талант детского писателя. По-видимому, это отвечало его характеру, доброму мягкому и ласковому Написанная в Ясной Поляне автобиографическая повесть «Яша Полянов», опубликованная в журнале для детей и родителей «Родник» в 1898 году оказалась лучшей вещью, которая когда-либо выходила из-под его пера. В ней столько неподдельной искренности и теплоты! И за этим можно было бы не заметить, что повесть была написана под очень сильным влиянием «Детства» Толстого. Да и могло ли быть иначе?

В письме к Суворину он не отрицал этого:

«Вы спрашиваете, отчего я бросил писать? Я еще не совсем бросил, последнюю вещь под заглавием “Яша Полянов” я поместил в детском журнале “Родник”… Это воспоминания детства. Конечно, я не хочу равняться с другими такими же воспоминаниями, – куда мне, – а между тем мне не хотелось оставлять не записанными детские воспоминания. Я записал их с любовью; что вышло – не мне судить. Может быть, я подражал отцу? Да как же не подражать ему?»

Повесть, подписанная настоящим именем «Л. Л. Толстой», вызвала, как пишет Абросимова, в общем положительные отзывы критики. Но все обратили внимание на сходство с «Детством» Толстого.

Тем не менее, в этой повести уже проявилось недоброжелательное отношение Льва Львовича к своему отцу, наверняка вызванное их спорами 1896–1897 годов. Фигура отца в повести едва намечена, в отличие от матери, которая показана очень подробно. И вообще создается впечатление, что маленький герой вырос не в доме великого писателя, а какого-то помещика, который не понятно зачем так много времени проводит в своем кабинете. И странно, что к этому помещику приезжает сам Тургенев… Психологически это оправданно тем, что маленький мальчик не может понимать настоящего значения своего отца. Но повесть пишет уже не маленький мальчик. Не выразить совсем отношения к фигуре отца он не может, а выразить его откровенно не решается. Возможно, по этой причине он не рассматривал эту повесть как завершенную вещь и собирался писать продолжение.

Лев Толстой-сын сам себя загонял в ловушку. Находясь под мощным художественным влиянием отца, он и в литературе

собирался соперничать с ним. Может быть, он и сам не отдавал себе в этом отчет до конца, как не отдавал отчет в том, что, устраивая «шведский оазис в русской пустыне», он не просто создавал семейное гнездо, а бросал отцу вызов, спорил с ним по важным вопросам жизни.

В любом случае следующий литературный «поступок» Льва Львовича не оставлял никаких сомнений: ступая на литературное поле, он вступал в спор с отцом.

«Прелюдия Шопена»

«Крейцерова соната», напечатанная в 1890 году, была самым громким литературным событием в России конца XIX века. Можно сказать, что ею и завершился литературный XIX век. И трудно сказать, кто из образованных людей в России хоть как-нибудь не определил своего отношения к этой вещи. Не могло это миновать и сына Толстого. В воспоминаниях он пишет, что со многими взглядами отца был согласен: «Он был прав, восставая против устарелой православной церкви, которую давно надо было реформировать, хотя не надо было совсем отрицать. Прав, проповедуя трезвость, воздержание в пище, питье и браке. Прав, возмущаясь гнилым царизмом». Но «после нашумевшей “Крейцеровой сонаты”» чувство досады овладело Львом Львовичем. «Он был не прав кругом в полном отрицании брака, и его повесть, конечно, должна была принести людям больше зла, чем пользы, развенчивая семейное счастье и ослабляя его святость и значение».

И вновь мы имеем дело либо с ошибкой памяти, либо с сознательным стремлением позднего Льва Львовича скрыть истинную сложность его отношений с отцом. 19 января 1890 года он писал Черткову: «Милый друг Дима – скажу только, что живу я довольно смирно, вина не пью, стараюсь бросить курить и, конечно же, уже воздерживаюсь от величайшего соблазна и зла, от того, что сказано в “Крейцеровой сонате”, – от женщин и этого ужасного взгляда на них, как на красивое тело, могущее доставить тебе физическое наслаждение. “Крейцерова соната” – величайшая повесть отца, ни одно литературное произведение не может произвести большего воздействия на нас, молодых людей, навести на большее число мыслей – самых важных и вместе с тем самых элементарных».

Под воздействием этой повести он долго оставался девственником, то есть повесть отца прямо влияла на его жизнь. И лишь после женитьбы на Доре он прозрел, понял, что такое семейное счастье и решил выступить против «Крейцеровой сонаты», как и учения отца в целом. Он не придал значения тому, что «Крейцерова соната» была написана не заведомым женофобом и противником брака, а человеком, уже прошедшим тот же самый путь, на который ступил Лев Львович. У его отца к этому времени был тридцатилетний опыт семейной жизни, и из него, по крайней мере, первая половина была счастливой.

Вдохновленный и ослепленный собственным семейным успехом, Лев Львович во второй половине девяностых годов, живя

в Ясной Поляне рядом с отцом, создавал два произведения, полемизировавших со взглядами отца на брак и семью.

Первое – уютное гнездышко, которое они свили с Дорой. Выходило, что стареющий отец несчастлив в своем браке (и поэтому им написана мизантропическая «Крейцерова соната»), а он, молодой Лев, счастлив и не только не намерен скрывать это от отца, но и полон желания поделиться своим счастьем со всем миром. Для этого им создается второе произведение – «Прелюдия Шопена», повесть, которая должна спасти молодых людей от вредного влияния «Крейцеровой сонаты». И он пишет, увы, оглушительно бездарную вещь… Беспомощную во всех отношениях. С точки зрения и ее художественной состоятельности, и идейного содержания.

Полемика с отцом начинается с эпиграфа. Эпиграфом к «Крейцеровой сонате» послужили две цитаты из Евангелия от Матфея, в первой из которых Христос говорит: «…всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Однако во второй цитате ученики спрашивают Христа: не лучше ли в таком случае совсем не жениться? «Он же сказал им: не все вмещают слово сие: но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Таким образом Толстой выразил свое новое отношение к браку, которое совпадало с позицией апостола Павла: лучше жить в целомудрии, но если на это нет духовных сил, *необходимо* жениться (выйти замуж). «Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я. Но если не воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться» (Послание Коринфянам).

В эпиграфе к «Прелюдии Шопена» тоже цитируется Евангелие от Матфея: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Это очевидная полемика Льва Львовича с отцом, но на самом деле это была не более чем игра библейскими цитатами. В словах Христа в Евангелии от Матфея, которые затем произносит и апостол Павел в послании Ефесянам, повторяется ветхозаветная мысль из книги Бытия. Таким образом смысл эпиграфа к «Крейцеровой сонате», как и смысл толстовского учения о безбрачии, был в том, что если недостижим новозаветный идеал целомудрия, воплощенный в жизни Христа, то лучше следовать ветхозаветному идеалу крепкой семьи, чем «разжигаться» и жить беспорядочными половыми связями.

Никакой полемики с отцом, начиная с эпиграфов, у Льва Львовича не получилось. Умудренный опытом отец писал о браке,

как о величайшей *опасности*, когда в него вступают неподготовленные молодые люди. А влюбленный в молодую Дору Лев Львович писал о браке как о величайшем *счастье*, которое представлялось ему безусловным и вечным.

Случайно или нет героиню повести Льва Львовича зовут Сонечкой, как мать сочинителя, и она является младшей из трех сестер Барецких из княжеской семьи, как Кити в «Анне Карениной»? Случайно или нет одна из встреч главного героя студента Крюкова с девушкой происходит на катке, как это было в жизни автора и в той же «Анне Карениной»? Но уж точно неслучайно терзания главного героя совпадали с тем, что чувствовал в отношении своей семьи Лев Львович во время своей несчастной болезни: «Семья, в которой все члены живут отдельно эгоистическою жизнью и дела никому нет друг до друга…» («Прелюдия Шопена»)

И конечно, виноват во всем не герой, а обстоятельства. «Университет, занятия, товарищи? Занятия, которые все противны ему, за немногими исключениями?» Но больше всех виновата семья и отец. «Самые близкие ему люди, люди кровного родства, и те не понимают и не поймут его. Рассказать всё матери, сестре? Они, если не осмеют его, начнут отговаривать, не поверят серьезности его настроения и мыслей. Поговорить с отцом? Он чуткий, он понял его состояние, но зато никто не будет так жестоко холоден и безразличен к нему на деле…»

Проблем у Крюкова две, и они не стыкуются одна с другой. Первая состоит в том, что он исповедует идеал целомудрия, а при этом испытывает похоть к молодой служанке Матрене. Вторая – в том, что он влюблен в Сонечку Барецкую, но ее мать не желает их брака, потому что Крюков – всего лишь «студентик».

Обе проблемы решаются, когда Крюков приходит к другу, студенту-медику Комкову, который недавно женился и побывал за границей. Эти два обстоятельства сразу перевернули его взгляд на жизнь и… на «Крейцерову сонату» Толстого. Вокруг нее вращается весь их разговор, причем повесть названа, а имя автора почему-то нет. Не потому ли, что этим именем подписана и «Прелюдия Шопена»? Комков страстно полемизирует с «Крейцеровой сонатой» и «Послесловием» к ней, разбивает в пух и прах все взгляды Толстого. Достается и «толстовцам». «Они, бедные, так верят в свои кумиры, что просто жаль опрокидывать их», – говорит Комков.

«Живой пример Запада» спас его «от русского тумана». «Сто лет прожив в России, я не узнал бы того, что узнал за границей в один месяц», – говорит он. Почти то же самое писал Лев Львович в письмах из Финляндии и Швеции.

Вернувшись от Комкова, Крюков снова испытывает похоть к Матрене и, чтобы переломить себя, играет на фортепьяно прелюдию Шопена. Под влиянием музыки, которая в повести Толстого-отца выступает именно как провоцирующий на измену и убийство фактор, голова героя, наоборот, проясняется. Он решает написать Соне письмо и поехать к ней в имение. «Я брошу университет, оставлю родителей, отца, мать, дом, но я женюсь на Сонечке, во что бы то ни стало, и пусть весь мир узнает о моем решении!»

Весь мир узнал о том, что сын Льва Толстого является идейным антагонистом отца. Это, конечно, была сенсация! Печатая «Прелюдию Шопена» в трех номерах газеты «Новое время», Суворин, как опытный журналист, не упустил случая подогреть интерес публики. «Граф Л. Л. Толстой – сын нашего знаменитого писателя, и “Прелюдия Шопена” проповедует совершенно противоположное тому, что проповедовал граф Лев Николаевич в “Крейцеровой сонате”. Отец смотрит так, сын смотрит совершенно иначе. Два поколения, отрицающие друг друга в самом важном вопросе жизни и отрицающие радикально, без всяких уступок» («Новое время» от 9 июня 1898 года).

Позже Лев Львович писал, что из всего им напечатанного «Прелюдия Шопена» была наиболее замечена публикой и критикой. Но это была «пиррова победа».

Беда была не в том, что он не был согласен со взглядами своего отца. С ним многие были не согласны. Даже трудно сказать, кто был с ним полностью согласен, кроме Черткова. Но Лев Львович попытался спорить с отцом на *поле художественной прозы.* Это была ошибка! Художественная беспомощность «Прелюдии Шопена» в сравнении с «Крейцеровой сонатой» настолько бросалась в глаза, что с этого момента Толстой-сын становится «мальчиком для битья» русской критики.

Талантливей всех отыгрался на нем критик и пародист Буренин. К своей пародии на «Прелюдию Шопена» он поставил такой эпиграф:

> Я написал сей первый опус
> Затем, чтоб удивить Европу-с…

В самой пародии говорится о двух русских писателях, «родственных между собою, но отнюдь не сходных по духу; по размерам же дарования соотносящихся один к другому как 1 000 000:1». Но самой убийственной была подпись к пародии: «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев». С этого времени кличка «Тигр Тигрович» намертво приклеилась к сыну Толстого, и это

бесконечно обижало его.

Тем не менее, Лев Львович не только переиздавал эту повесть, но и делал ее заглавной в сборниках своих рассказов («Прелюдия Шопена» и другие рассказы. М., 1900). Возможно, уже понимая, что слава этой вещи принадлежит не ему, а отцу, он пытался в предисловиях к новым изданиям оправдываться:

«“Прелюдия Шопена” была написана мною несколько лет назад и, должен сказать, была написана сначала вовсе не как возражение “Крейцеровой сонате”, а просто как выражение горячо занимавших меня в ту пору мыслей».

Но это было слабое оправдание. И плохим признаком было то, что он вообще оправдывался.

Однажды в письме к Суворину Лев Львович высказал очень странную мысль: дескать, он жалеет о том, что «Крейцерова соната» написана именно его отцом, «а не кем-либо другим». Величие отца мешало ему спорить с ним. «Неужели сыну надо одинаково мыслить с отцом?» – спрашивал он Суворина. А что, отцу не надо было становиться великим писателем, чтобы сын мог спокойно спорить с ним?

Номера «Нового времени» пришли в Ясную Поляну в торжественный для семьи день. 14 июня 1898 года крестили Льва Третьего – маленького Лёвушку. Приехавшие из Швеции Вестерлунды ужасались обряду русских крестин, когда младенца с головой трижды окунали в воду. Тем же вечером Софья Андреевна прочитала «Прелюдию Шопена» и написала в дневнике: «У него не большой талант, а маленький, искренне и наивно…»

Отец не стал скрывать возмущения. «Лёва заговорил о своей повести. Я сказал ему больно, что как раз *некультурно* (его любимое) то, что он сделал, не говоря о том, что глупо и бездарно. Нынче уехали его очень грубые и некультурные, но добродушнейшие beaux parents[44]».

Таким образом, «Прелюдия Шопена» прозвучала в Ясной Поляне в специфической семейной атмосфере. Попытка молодого Льва устроить семейное счастье на фоне «несчастья» своего отца; рождение сына, которого тоже нарекают Львом; приезд спасителя Лёвы Эрнста Вестерлунда и благодарность, которую должен выразить ему Толстой; крестины Льва-внука…

«Кончила день с Л. Н. слишком молодо», – признается Софья Андреевна в дневнике.

Горький

8 октября 1900 года Ясную Поляну посетил новый кумир русской интеллигенции Максим Горький (Алексей Пешков). Это была вторая его встреча с Толстым после январской того же года в Москве, когда Толстой, обманувшись внешним видом нижегородского самоучки и его знаменитым «оканьем», решил, что это «настоящий человек из народа».

В этот раз Горький был не один, а с редактором журнала «Жизнь» Владимиром Александровичем Поссе.

Софья Андреевна когда-то встречалась с молодым Пешковым еще до его знакомства с мужем, когда тот пешком пришел в Хамовники со станции Грязе-Царицынской железной дороги просить у графа земли и денег для своих молодых единомышленников. Длинноволосый и очень похожий на «темного» («толстовца»), коим тогда и являлся, он сразу не понравился жене Толстого, и она, напоив его кофе, выпроводила его из дома, сказав, что к ним «шляется много разных бездельников» и «Россия вообще изобилует бездельниками». Он запомнил это на всю жизнь.

Теперь она понимала, что перед ней не «бездельник» и не «темный», но очень серьезная фигура, с которой нельзя не считаться. И она лично сделала фотографию – единственную, где Горький с Толстым. Горький в длинном пальто, опершись на палку, а Толстой засунув пальцы за ремень на «толстовке».

В воспоминаниях Лев Львович пишет, что он упрекнул мать за этот поступок, но она «не поняла или не захотела понять значения моего упрека». А в чем было его значение? А в том, что отец «стоял рядом с человеком, который был ему во всех отношениях чуждым и писания которого он не любил».

Толстой недолюбливал Горького – правда. Смешно говорить, чтобы он ревновал к его писательской славе, но эта слава Толстого раздражала. Он чувствовал, что теряет влияние на молодежь и что ей нужны другие, более радикальные «кумиры». Но Толстой никогда не отрицал таланта Горького. И он никогда бы не сказал о его вещи, что это «глупо и бездарно». А своему сыну он говорил это в лицо.

В воспоминаниях Поссе, написанных уже в советское время, встреча писателей подается так, что Толстой едва ли не заискивал перед Горьким. «Горький в этот день был не в духе. Яснополянская обстановка ему не нравилась. Это чувствовал Лев Николаевич, которому, видимо, Горький нравился всё больше и больше».

Это сильное преувеличение. В тот день Толстого посетили разные люди: директор Московского торгового банка Дунаев, писательница Лидия Веселитская, социолог и экономист Ваан Тотомянц, Горький, Поссе и другие. Он писал в дневнике так: Веселитская – «очень приятно», Тотомянц «тоже приятный», Поссе и Горький «менее приятны».

А вот Лев Львович, даже если и упрекнул тогда мать за фотографию, первое время ценил Горького очень высоко. Когда 6 октября 1902 года Горький еще раз посетил Ясную Поляну Лев Львович, узнав об этом, взволнованно писал матери: «У вас был Горький, кажется, что же Вы ничего о нем не написали? Читал ли он свою драму (вероятно, “На дне” – *П. Б.*)? Как его нашли?»

В том же году он сообщал ей из Петербурга: «Сегодня еду смотреть “Мещане” Горького, которую разрешили-таки. Что он, бедный, сказал на бесцеремонное и глупое поведение с ним Академии?»[45]

И еще: «Увидите Чехова и Горького, поклонитесь им от меня. Я их люблю обоих…»

Бедный поклонник не знал, что написал Горький Чехову, вернувшись из Ясной Поляны в октябре 1900 года: «Не понравился мне Лев Львович. Глупый он и надутый. Маленькая кометочка, не имеющая своего пути и еще более ничтожная в свете того солнца, около которого беспутно копошится».

Крымская драма

В сентябре 1901 года Толстого перевезли в Крым в большой и удобный дом графини Паниной в Гаспре. Сначала он чувствовал себя хорошо… По дороге в Гаспру остановились в Севастополе в гостинице Киста. Толстой посетил музей обороны Севастополя, расписался в книге почетных посетителей. В Гаспре совершал конные прогулки – в Олеиз, Алупку Симеиз, Ай-Тодор. Его навестили отдыхавшие в Крыму Чехов, Горький, Бальмонт. В Крым приехали с мужьями две беременные дочери, Маша и Таня, и сын Андрей с женой Ольгой – тоже беременной. Навестить отца приехал сын Сережа.

В ночь на 12 ноября Татьяна родила еще одного мертвого ребенка. В начале декабря пришло известие, что здоровый мальчик родился у жены сына Миши и Лины. В январе 1902 года мертвого ребенка родила невестка Ольга. Но к тому времени все семейные события отошли на второй план. Зимой 1902 года в Гаспре от воспаления легких умирал сам Толстой.

Софья Андреевна пишет в дневнике: «Мой Лёвочка умирает… И я поняла, что и моя жизнь не может оставаться во мне без него. Сороковой год я живу с ним. Для всех он знаменитость, для меня – он всё мое существование, наши жизни шли одна в другой, и, Боже мой! сколько накопилось виноватости, раскаяния… Всё кончено, не вернешь. Помоги, Господи! Сколько любви, нежности я отдала ему, но сколько слабостей моих огорчали его! Прости, Господи! Прости, мой милый, милый дорогой муж!»

Уже в декабре 1901 года Толстой почувствовал близость смерти. Он стал равнодушен ко всему, что его окружало. Но сначала жена поняла это по-своему: «С Львом Николаевичем вышло как раз то, что я предвидела: когда от его дряхлости прекратились (очень еще недавно) его отношения к жене как к любовнице, на этом месте явилось не то, о чем я тщетно мечтала всю жизнь – тихая, ласковая дружба, а явилась полная пустота. Утром и вечером он холодным, выдуманным поцелуем здоровается и прощается со мной; заботы о нем спокойно принимает как должное, часто досадует и безучастно смотрит на окружающую его жизнь, и только одно его волнует, интересует, мучит: в области материальной – *смерть*, в области духовной – его работа».

Эти области сливались для него в одну. В конце 1901 года он записывает в дневнике несколько мыслей о смерти.

«Когда ровно течет струя воды, то кажется, что она стоит. Так же кажется с жизнью своей и общей. Но замечаешь, что струя не

стоит, а течет, когда она убывает, особенно когда каплет; также и с жизнью».

«Когда я буду умирать, я желал бы, чтобы меня спросили: продолжаю ли я понимать жизнь так же, как я понимал ее, что она есть приближение к Богу, увеличение любви… Если не буду в силах говорить, то если да, то закрою глаза, если нет, то подниму их кверху».

«Всякий человек закован в свое одиночество и приговорен к смерти. “Живи зачем-то один, с неудовлетворенными желаниями, старейся и умирай!” Это ужасно! Единственное спасение – это вынесение из себя своего “я”, любовь к другому. Тогда, вместо одной, две ставки, больше шансов. И человек невольно, стремясь к этому, любит людей. Но люди смертны, и если в жизни одного больше горя, чем радости, – то тоже и в жизни других. И потому положение всё то же отчаянное. Только и утешения, что на миру смерть красна. Одно спасение была бы любовь к бессмертному, к Богу. Возможна ли она?»

Из Петербурга Софье Андреевне приходит телеграмма от главенствующего члена Святейшего Синода митрополита Антония (Вадковского) с просьбой уговорить мужа примириться с православной церковью. Толстой сначала диктует жене отказ, а затем говорит дочери Татьяне вовсе не отвечать Антонию.

В Гаспру приезжают все сыновья, чтобы увидеться, а возможно, и проститься с отцом. Согласно воспоминаниям Ильи Львовича прощание, собственно, и состоялось. «Почувствовав себя слабым, он пожелал со всеми проститься и по очереди призывал к себе каждого из нас, и каждому он сказал свое напутствие.

Он был так слаб, что говорил полушепотом, и, простившись с одним, он некоторое время отдыхал и собирался с силами.

Когда пришла моя очередь, он сказал мне приблизительно следующее: “Ты еще молод, полон и обуреваем страстями. Поэтому ты еще не успел задумываться над главными вопросами жизни. Но время это придет, я в этом уверен. Тогда знай, что ты найдешь истину в евангельском учении. Я умираю спокойно только потому, что я познал это учение и верю в него. Дай Бог тебе это понять скорее. Прощай”.

Я поцеловал ему руку и тихонько вышел из комнаты.

Очутившись на крыльце, я стремглав кинулся в уединенную каменную башню и там в темноте разрыдался, как ребенок…

Когда я огляделся, я увидал, что около меня, на лестнице, кто-то сидел и тоже плакал…»

Приезжает и Лев Львович. Но еще до его приезда Софья Андреевна записала в дневнике странные слова: «Вышел у Ясинского роман Лёвы; боюсь читать…»

Это был роман «Поиски и примирения», который печатался весь 1902 год, с 1 по 12 номер, в журнале «Ежемесячные сочинения». У руководителя журнала Иеронима Иеронимовича Ясинского, плодовитого беллетриста и журналиста, была плохая репутация в общественных кругах. Он начинал как либерал, сотрудничая с «Вестником Европы» и «Отечественными записками», затем выступал в «охранительном» духе, а после революции редактировал коммунистические издания. Выбор его в качестве издателя был выбором в пользу бедных. До этого Льву Львовичу отказали Стасюлевич («Вестник Европы»), Короленко («Русское богатство») и даже любивший его Суворин («Новое время»).

Роман представлял собой многостраничную полемику Льва Львовича с отцом, да еще и подписанную новым литературным именем: «Граф Лев Толстой-сын».

Лев Львович не стремился подчеркивать свои сыновьи отношения к субъекту полемики. Новое литературное имя он взял по необходимости – после того, как некоторые статьи, подписанные «Л. Л. Толстой» стали цитироваться и перепечатываться провинциальными изданиями как статьи его отца. Подпись «Граф Лев Толстой-сын» снимала эту проблему. Но и создавала новую, куда более сложную. Хотел того Лев Львович или нет, но первый его роман, как и «Прелюдия Шопена», был воспринят публикой как демонстрация *внутрисемейных разногласий* Толстых. Получалось, что человек, который открывает всему миру новые пути веры, не имеет поддержки в своей семье. Что же это за учитель такой, от которого бегут собственные дети?

Ситуация усугублялась еще и тем, что после отлучения Толстого от церкви общество раскололось на два лагеря, причем оба парадоксальным образом были в восторге от отлучения. Одни (в основном радикально настроенная молодежь) поздравляли Толстого с тем, что он окончательно порвал с реакционной церковью и примкнул к освободительному движению. Другие (не менее радикально настроенные православные люди) радовались тому что «антихрист» в лице Толстого заклеймен твердым церковным актом.

А еще в марте 1901 года Толстым было написано письмо «Царю и его помощникам», в котором предлагались самые решительные социальные, политические и церковные реформы: уничтожение неравенства прав сословий, полная реорганизация школ и высшего образования, запрещение телесного наказания, свобода религиозных собраний и проповедей для всех вероисповеданий. Письмо это, конечно, не было напечатано в

России, но ходило по рукам в списках и зарубежных изданиях.

В свою очередь правительство запретило давать в газетах сообщения о состоянии здоровья Толстого в Крыму.

В такой накаленной общественной атмосфере появление романа «Поиски и примирения» не могло быть расценено иначе, как *«нож в спину»* собственного отца. Говоря нынешним языком, он становился фигурой «нерукопожатной» для поклонников Толстого. А среди этих поклонников были очень влиятельные литературные и общественные лица. Так, поступок Льва Львовича возмутил Чехова и Горького.

Горький в конце 1902 года фактически перекрыл Льву Львовичу кислород, надавив своим авторитетом на редактора журнала «Мир Божий» Федора Дмитриевича Батюшкова, который хотел напечатать новый роман Льва Львовича «Иван Савин». Обиженному автору Горький прямо написал: «Тот факт, что Вы нашли возможным печатать Ваш роман в журнале, где по поводу “Воскресения” Вашего великого отца писали гнусности (имелись в виду «Поиски и примирения» и журнал Ясинского – *П. Б.*), навсегда поселил во мне отрицательное к Вам – как человеку – отношение. Я читал Ваш роман и позволю себе отрицать в Вас присутствие литературного таланта».

Лев Львович расценил поступок Горького как «подлость» и писал о нем матери: «Это пройдоха и актер». Пожаловался он и отцу. «Он удивился тому что Горький так поступил со мной…» («Опыт моей жизни»).

В августе 1903 года Лев Львович обратился к Чехову с просьбой прочитать другой его роман, предназначавшийся для журнала «Русская мысль». Чехов ответил вежливым, холодным отказом. Когда в октябре этого года Лев Львович был проездом в Ялте, он посетил Чехова, с которым когда-то собирался вместе поехать в Америку. Судя по письму Чехова Ольге Леонардовне Книппер, встреча была поначалу натянутой: «Сначала я был с ним холоден, а потом стал добрее, стал говорить с ним искренно; он расчувствовался…»

Печатать роман «Поиски и примирения» было во всех отношениях *невыгодно* для автора. И он был достаточно умен, чтобы это понимать. Если он решился на это, то им, по всей видимости, двигали два соображения. Первое – он очень хотел стать писателем! Второе – он не желал считаться с тем, что он сын Льва Толстого. И наконец – почему не признать, что Лев Львович искренне считал идеи своего отца вредными для России? Особенно для молодежи. Ведь он сам пережил этот печальный опыт.

12 февраля 1901 года он писал Суворину в связи с романом

«Поиски и примирения»: «Я продолжаю стучаться в ворота, продолжаю просить, чтобы мне их отворили. Я несу ношу которая другим может показаться не ценной, но которая для меня дорога. А тому, кто стучится, рано или поздно отворят. *Я не претендую на то, чтобы быть тем, что мой отец. Я хочу быть тем, что есть я».*

Увы, так не получалось. Весь роман выдавал его зависимость от отца, и больше всего именно там, где он спорил с ним.

Главный герой Коля Глебов – гимназист, который сдал экзамены за восьмой класс и едет в имение к родителям. Это сложный мальчик, пребывающий в нравственных поисках. Он начитался сочинений Толстого, и это «так сильно подействовало на него, что он один вечер серьезно думал бросить гимназию и бежать в деревню, самому работать с народом и жить настоящим христианином. Но он не сделал этого. Он понял, что делать это было бы не умно и не полезно, ни для него самого, ни для других».

В имение Глебовых приезжает «толстовец» Иван Иванович Воронин. Мать Коли очень не любит «разглагольствований» Воронина. И вообще, не любит «толстовцев».

У Глебовых гостит молодой человек Борис Славин, который влюблен в сестру Коли Варю. Еще совсем недавно Борис вел распутный образ жизни, теперь исправился. Борис не любит Толстого-философа, но любит Толстого-художника.

«Он говорит одну правду и в то же время забывает, перескакивает через другую, которую сам же когда-то признавал. Он непоследователен и противоречив. Он иногда страшно силен… Вот отчего Толстой-художник гораздо больше учитель, чем Толстой-мыслитель», – заявляет Славин.

Коля с Варей едут на хутор к Воронину. Воронин – художник, рисует «нутро», простых людей. Его мать, «старуха Воронина», по происхождению француженка. Вернувшись с прогулки, она «ненатуральным голосом» говорит, что видела странников, которые идут к ним. «Какие-то темные», – говорит она. «– Темные! – восклицает Воронин. – Как можно, душечка, их так называть! Да это, верно, наши друзья, верно, идут прямо из Ясной Поляны…»

Главные из «темных» – Василий Андреевич Дерюгин с женой Марией Степановной Белявской (то есть они не венчаны). Они не нравятся Коле и Варе, не нравятся «старухе Ворониной», но их обожает Воронин и сестра его матери Софья Александровна. Таким образом «темные» раскалывают людей, вносят сумятицу, беспокойство в чужие дома.

Главный герой романа – это, конечно, сам Лев Львович. Несколько глав посвящено работе Глебова на голоде среди

крестьян, его короткому пребыванию в армии в Царском Селе, его освобождению от присяги и военной службы. Затем наступает нервное истощение, поездка за границу и лечение. Вылечив нервы и избавившись от «толстовства», Николай начинает хозяйничать в имении Долгое. Название этого имения полностью совпадает с названием имения помещика Горохова в семнадцати километрах от Ясной Поляны. Именно туда был вывезен в разобранном виде родовой дом Толстого-отца, который он в молодости продал и проиграл в карты. Обычный читатель романа, разумеется, не знал этого, но зачем-то Льву Львовичу захотелось поселить своего героя именно там, где к моменту написания романа находился (и притом в бесхозном состоянии) дом, который когда-то промотал его отец.

Манера хозяйства в Долгом Глебова решительно отличается от того, что происходило в Ясной Поляне. Глебов строго наказывает крестьян, гоняя их стада со своих лугов. Он считает это справедливым. Он не считает, что живет в роскоши. «Что мне нужно? Ничего особенного. Я пью чай, и мужики пьют чай. Я больше всего люблю картофель, огурцы, и это всего мне полезнее, – и мужикам это доступно. А тем, что они работают физически, они только счастливее меня», – важно думает он. При этом как-то забывается его поездка на французский курорт.

Перед женитьбой на любимой девушке Николай говеет и вспоминает «Анну Каренину». «Он говорил со священником невольно почти точно так же, как говорил Лёвин». Беседа с батюшкой окончательно избавляет его от «толстовства».

В Долгое приезжает Ольга Печникова, с которой у Николая когда-то был роман в Москве. Он рассказывает об этом жене: «Это рана, которая болит… И эта женщина приехала, чтобы нарушить нашу жизнь…» «– Как она смеет ездить ко мне в дом! – восклицает жена, в точности повторяя поведение Кити во время приезда к Лёвиным Анны Карениной. – Как она смеет сюда ездить, дрянная, скверная женщина?! Прогони ее сейчас! Понимаешь, я требую. Сейчас, сейчас, сию минуту пойди и прогони ее, ночью, сейчас отсюда!»

Имение Долгое досталось Николаю по разделу отца. Отношение героя к собственности очень простое. «Не пользоваться собственностью нельзя потому, что это всё равно, что не жить». «Отдав 1000 десятин крестьянам, я ведь останусь почти без дохода». Вообще, все мысли Глебова правильные, но… банальные.

Например: «Полное отрицание форм государственности и религии не ведут к добру и к их совершенствованию». Если это полемика с отцом, то на обывательском уровне. И стоило ли ради

этого создавать большой роман? Роман, финальные главы которого полностью повторяли последнюю часть «Анны Карениной», где рассказывается о жизни Лёвина в деревне и о его воззрениях на жизнь, на народ, на религию. Сын как бы напоминал отцу о его прежних убеждениях, в которых он воспитывал *старших* детей и от которых затем отказался. Это был своего рода упрек отцу. Но зачем, для чего?

Понятно, почему Софья Андреевна «боялась» это читать. Но на самом деле «Поиски и примирения» были прочитаны в семье Толстых еще до выхода романа в свет, в рукописи. 3 декабря 1901 года невестка Толстого Ольга писала своей сестре из Гаспры: «Вчера вечером Лев Николаевич ужасно сокрушался и возмущался писаниями Лёвы, его бездарностью… А вскоре в журнале Максима Белинского (псевдоним Иеронима Ясинского – *П. Б.*) появится Лёвин роман, в котором, как заявлено, автор изображает «толстовство». Должно быть, это тот роман, о котором Лёва говорил 2 года тому назад. Он хотел назвать его «Слова и дела» и изобразить Льва Николаевича и отца Доры. Очень бестактно и глупо, если это так. Он очень странный и жалкий, Лёва, нечуткий, но искренний и иногда трогательный. Он говорил мне как-то, что его слава превзойдет славу отца. Умора».

«Поиски и примирения» возмутили Толстого. 6 ноября 1901 года он писал старшему брату Сергею Николаевичу: «Лёва – сын, приучает меня к доброте, несмотря на причиняемую боль своими глупыми, бездарными и бестактными писаниями».

На бестактность поведения Льва Львовича указывал ему и Суворин во время чтения рукописи романа: «Зачем Вы всё о толстовцах говорите в романе? Странно как-то выходит: сын Толстого о толстовцах».

Приехав в Гаспру к смертельно больному отцу 29 января 1902 года, Лев Львович совершил какой-то совсем неблаговидный поступок. О нем не говорится в его воспоминаниях, но то, что в воспоминаниях он вообще не упоминает о поездке в Крым, говорит о многом.

В дневнике Гольденвейзера, правда с чужих слов, сказано, что приезд Льва Львовича в Гаспру и разговор с отцом завершился скандалом. «Когда он вошел ко Л. Н., Л. Н. сказал ему, что ему трудно говорить, а всё, что он думает и чувствует, он написал в своем письме, и передал письмо сыну. Лев Львович прочел письмо тут же, в комнате Л. Н., потом вышел в соседнюю и на глазах у всех сидевших там – между прочим графини Софьи Андреевны Толстой – он разорвал письмо умирающего отца на мелкие кусочки и бросил в сорную корзину».

Так это было или нет, но 2 февраля Лев Львович покинул

Гаспру, видимо, чувствуя свою вину и недобрый настрой к нему семьи. Приехав в Петербург, он писал матери: «Мне многое хочется сказать вам всем и папá, если он будет в силах выслушать меня. Мне было очень больно, – прочтите ему это, – что я огорчил его моим романом… Скажите ему, что я люблю его, и поцелуйте его руку, и попросите у него для меня прощения за то, что я огорчил его. Я сделал это невольно, желая оставаться правдивым по отношению к себе самому. Я вовсе не чуждый папá, а только по возрасту разный с ним. А в душе я к нему гораздо ближе, чем он думает. Конечно, я гадкий, материальный стал, хуже, чем был, но я еще всё надеюсь сделаться лучше, чем я был, если Бог поможет».

И снова два Льва разрывали Софью Андреевну на части. Получив от Лёвы покаянное письмо она тут же ему ответила: «Я получила сегодня твое покаянное трогательное письмо и рассказала папá его содержание, поспешив на всякий случай это сделать. Но он сегодня очень слаб, всю ночь пострадал от живота и не спал ни минуты. На мои слова он только что-то промычал и задремал. Если ему будет лучше, я прочту ему и попрошу ответа – прощения. Он очень похудел, я с содроганием касаюсь его дряхлых косточек и переворачиваю и поднимаю его худенькое, исстрадавшееся, когда-то такое мощное и сильное – тело… Ты не тужи, милый Лёва, он на тебя зла не имеет, и поверь мне, он своим чутким сердцем отлично понимает, что ты его любишь и жалеешь о том, что причинил ему больного…»

10 февраля Толстой почувствовал себя лучше и продиктовал в записную книжку черновик ответа сыну: «Жалею, что сказал слово, которое огорчило тебя. Человек не может быть чужд другому, особенно когда так близко связан, как я с тобою. О прощении речи не может быть, конечно».

Последняя фраза скорее всего означала, что отец не может прощать сына, потому что не чувствует его вины. Но как это было холодно сказано!

Получив «прощение», сын «ликовал»: «Милый папá, я вчера не выразил в письме к Маше всего того, что я почувствовал, получив твое письмо. Оно очень обрадовало и взволновало меня. Я недостоин твоей любви, но, если действительно она есть ко мне, я ликую. То, что я так взволновался, увидев твою подпись снова, меня убедило в том, до какой степени ты мне дорог…»

А 12 мая, отправляясь из Петербурга в Швецию с женой, где она собиралась снова рожать, он писал в Гаспру: «Прощай, дорогой отец. Обнимаю тебя и вот плачу сейчас один в своей комнате, так мне тяжело без тебя и так я тебя люблю».

Организм Толстого, благодаря неусыпной заботе родных,

справился с воспалением легких. Но в начале мая 1902 года у него обнаружился брюшной тиф. Его жизнь снова повисла на волоске. Почему-то Толстой отказался показать письмо сына Софье Андреевне. И она, что-то подозревая, написала Лёве: «Судя по тому, что ты мне писал, ты очень нервничаешь, а чего тебе недостает? Живешь, как хочешь, милая жена, прекрасный ребенок. У тебя запросы в жизни большие, чем возможно удовлетворить».

Это была чистейшая правда! Как и то, что она написала в дневнике о муже во время его второй крымской болезни: «Лев Николаевич прежде всего писатель, излагатель мыслей, но на деле и в жизни он слабый человек, много слабее нас, простых смертных».

Нашел врага

С переездом в Петербургу Льва Львовича появились все возможности для того, что стать одним счастливых смертных. Пусть не великим, как его отец, не самым знаменитым, но уважаемым человеком.

«Статьи и рассказы мои принимались и оплачивались довольно высоко, – пишет он в «Опыте моей жизни» о первых годах пребывания в Петербурге. – Я любил видеть их напечатанными и любил писать, когда мне казалось, что я имел что-то сказать».

Его талант как детского писателя и публициста был замечен. Две книги очерков, о голоде и о Швеции, были благосклонно приняты читающей публикой. В них было немало точных наблюдений, интересных мыслей, и написаны они были, в отличие от романа, живо и увлекательно. И за это можно было простить некоторое позерство автора, его учительские интонации, которые все-таки выдавали в нем сына своего отца… как он это понимал.

В его шведских «письмах», которые до того, как выйти отдельной книгой в 1900 году, печатались в течение двух лет в «Санкт-Петербургских Ведомостях», кроме освещения малознакомой русским людям шведской жизни, культуры, искусства, встречались и весьма точные размышления о России, может быть, не слишком приятные для нас, но в принципе верные.

«Не знаю, как кому другому, но мне решительно невмоготу бывает прожить в России, особенно на одном месте, в деревне, два года подряд без того, чтобы не утомиться духом, без того, чтобы не похудеть телом и не ослабеть энергией. Есть что-то роковое в нашем русском просторе, во всем складе жизни нашей, что преждевременно старит, съедает нас, что кладет ранние морщины на челе и холодную черствость на сердце».

Это было неоднозначно воспринято в семье Толстых. Софья Андреевна писала сыну: «Милый Лёва, сейчас прочла в Петербургских Ведомостях твои письма из Швеции, и они мне очень понравились. Их читали вслух все наши, Сережа, папá, Андрей и Миша, Таня, Саша, Ольга. Сказали, что многое интересно, но что напрасно ты пишешь, что добрые не могут жить в России, и ты уехал, потому что ты добр».

Книгу о Швеции Льва Львовича читал Чехов и тоже не всё в ней принял. Так отрицательные мысли автора о шведском писателе Августе Стриндберге, которого он ругал за

«нескромность», «безрассудность» и «неуравновешенность», за отрицание святости брака, противопоставляя ему шведских писательниц, которые считали, что «брак может и должен быть счастливым», показались Чехову похожими на книгу Надежды Лухмановой «Причина вечной распри между мужчиной и женщиной» (М., 1901), где она обвиняла мужчин в «распущенности нравов», а в женщинах видела «инстинктивную потребность в чистоте».

Так или иначе, но Чехов следил за выступлениями Льва Львовича в печати. Он в целом одобрительно отнесся к его очерку «Мир дурак», направленному против крестьянской общины. Чехов писал Суворину: «Читал я рассказ Льва Львовича «Мир дурак». Конструкция рассказа плоха, уж лучше бы прямо статью писать, но мысль трактуется правильно и страстно. Я сам против общины. Община имеет смысл, когда приходится иметь дело с внешними неприятелями, делающими частые набеги, и с дикими зверями, теперь же – это толпа, искусственно связанная, как толпа арестантов… Кстати сказать, наше всенародное пьянство и глубокое невежество – это общинные грехи».

В то же время антиобщинная позиция Льва Львовича была противна идеалам его отца, который вслед за Герценом видел в крестьянской общине элементы духовного социализма.

До начала русско-японской войны позицию Льва Львовича можно определить как *умеренный консерватизм западнического толка.* Он был горячим сторонником общественно-политических реформ в европейском духе, но с учетом национальных особенностей России и с бережным отношением к ее исторически сложившимся властным и религиозным институтам. Не отрицая монархии и православия, он считал, что и первое, и второе нуждается в обновлении. В этом он видел ведущую роль дворянства, а не в том, чтобы, как его отец, каяться перед народом.

«У нас, в России, существует взгляд, что народ наш так хорош, так трудолюбив, так кроток и велик, что не нам, господам, его учить надо, а мы, господа, должны у него учиться… Народ наш – прекрасный народ (кто об этом спорит?), но тем более надо не забывать его недостатков и тьмы. Мы, господа, – прескверные люди, это тоже несомненно; может быть, мы хуже во многом народа. Но все-таки мы можем большему научить его, чем он нас… и не только можем, но постоянно делаем это и обязаны это делать. Беда, когда мы начинаем восторгаться мужиком, учиться у него, а он начинает учить нас. Тогда смысл и оправдание наших жизней исчезают. Мы – паразиты; жизнь мира становится вверх дном» («Современная Швеция в письмах, очерках и

иллюстрациях»).

Таким образом, Лев Львович вовсе не отрицал моральную правоту отца, считавшего дворянство «паразитами» на народном теле. Но в отличие от него пытался найти оправдание дворянству в его «цивилизационной» роли в России. В этой позиции было много здравого. В перспективе это обещало социальный мир, а не гражданскую войну. И Лев Львович справедливо обижался на отца и на семью за то, что они свысока оценивают его публицистические, а тем более литературные потуги. Сегодня нельзя без боли смотреть на книги Льва Львовича и на журналы с его статьями в яснополянской библиотеке Толстого. В большинстве своем они даже не разрезаны или разрезаны частично. Ни одна книга не переплетена. Ни в одной нет пометок отца.

Это говорит о том, что мысли Льва Львовича не интересовали отца. Он, может быть, не отрицал его права на собственное мнение, но это мнение было ему *неинтересно*. Парадоксальным образом, но именно Лев Львович, больше всех сыновей Толстого любивший идеи отца, едва не пожертвов ради них своей жизнью, оказался ему наиболее чуждым. Об этом он однажды прямо писал Черткову: «Лёва между прочим очень, очень далек от меня, и едва ли не дальше всех детей».

«Слышал разговоры о Лёвином сочинении и заглянул в книгу и не могу победить отвращения и досады», – признается он в дневнике 18 ноября 1900 года.

Но как тогда объяснить записи в дневнике о Лёве, в которых звучат слова «я полюбил его», «с ним хорошо», «я счастлив, что мне с ним хорошо», и т. д.?

Это говорит о том, что спор сына с отцом, как и отца сыном, был куда глубже, чем это казалось не только посторонним, но даже и самым близким людям. Это был не спор носителей двух мировоззрений. Это было что-то другое… Сын не мог преодолеть в себе влияние отца и в своей публичной полемике с ним «закусывал удила», проявлял свой норов, свой характер, доказывал самостоятельность своего «я». Но в письмах к отцу бесконечно объяснялся ему в любви, каялся, исповедовался и проливал слезы.

«Дорогой папа́, сейчас сидел один и с такой любовью думал о тебе и вот хочется тебе написать. Думал о том, сколько ты искал в твоей жизни, о твоей искренности и страданиях душевных. Мне часто приходится теперь чувствовать ложность нашей жизни и иногда от этого сознания очень тяжело».

Это письмо написано в январе 1903 года. Это очередная попытка Льва Львовича объясниться с отцом, доказать свою

душевную близость при интеллектуальных с ним разногласиях. Он был *частью* отца и наедине с самим собой понимал это. И отец это прекрасно понимал. Но он не любил эту свою *часть*.

В начале марта того же года Лев Львович примчался в Ясную Поляну, оставив семью. Он скучал по Ясной Поляне, по отцу и матери. И вроде бы в этот приезд всё было хорошо… «Я стал духовно ближе, совсем близко к отцу снова, главное, потому, что смотрю на жизнь одинаково с ним», – пишет Лев Львович в дневнике. Такие же чувства находим и в дневнике отца: «Вчера приехал Лёва. И я счастлив, что мне с ним хорошо».

Об этом он писал и брату Сергею Николаевичу в Пирогово: «Вчера к нам приехал Лёва. Он свез больную жену в Швецию и сам приехал. Он строгий вегетарианец, гигиенист, спит зимой с открытым окном – и здоров. Но хорошо, главное, то, что он очень добродушен и мягок, и мне с ним хорошо».

В 1914 году в журнале «Столица и усадьба» Лев Львович напечатал воспоминания об этом посещении Ясной Поляны, назвав их «Отрывки из дневника».

«И вот я опять в Ясной Поляне…

Подъезжая к старой усадьбе, как всегда, сердце мое забилось сильнее, и я чувствовал, что то, что это случилось со мною, было уже первым шагом к обновлению души и тела.

Отца я застал в зале за столом с очень свежим, здоровым лицом.

– Здравствуй, голубчик, – сказал он, и мы обнялись, и я пожал его худую руку.

Я никого на свете не люблю больше его и никто на свете мне не ближе всячески.

Мы понимаем друг друга с отцом с первых слов, с намеков, и мне дорого теперь, что я с ним снова тот же, что был когда-то, в период нашей дружбы».

В этой идиллической сцене не хватает матери. И она появляется в конце отрывка.

«Пока я сидел у отца, мать принесла свои фотографии и стала показывать их нам. И, глядя на моих стариков-родителей, мне было радостно видеть их, бодрых и занятых, трудящихся вместе, дружных более, чем прежде».

Всё было бы прекрасно, если бы спустя два дня после приезда Лёвы Толстой не написал в дневнике убийственные для сына слова: «Второй раз в жизни встречаю незаслуженную, ничем не вызванную ненависть от людей только за то, что им хочется иметь такую же репутацию, как моя. Они начинают любить, потом хотят быть тем, что любят, но то, что они любят, *не они*, и мешает им быть такими же, и они начинают ненавидеть. Меньшиков, Лёва.

Вот доказательство зла славы…»

Не будем подробно касаться отношений Толстого с известным публицистом «Нового времени» и мыслителем-консерватором Михаилом Осиповичем Меньшиковым. Как и многие писатели своего времени, он прошел искушение «толстовством», боготворил Толстого, затем спорил с ним, но конца своих дней восхищался его могучей фигурой. Гораздо важнее, что для отца сын стоит в одном ряду с Меньшиковым. В общем-то чужим ему человеком.

В другой, более ранней записи он относит сына к ненавидящим его *врагам*, которых он по-христиански должен любить, но и не забывать, что это *враги*, а не духовно близкие люди.

«Вчера в первый раз понял, и понял на NN, сдержанном, холодном и хитром, как и отчего он и все те, кто не разделяют христианского взгляда на жизнь, ненавидят и должны ненавидеть и не меня, а то, что я исповедую. Отделить же то, что я исповедую, от меня слишком трудно. Такие чувства имеет ко мне и Nn, и N, и Лёва, и Ст. (вероятно, Михаил Александрович Стахович – *П. Б.*). И как им трудно скрывать, и как им тяжело. *Он* сказал, что будете ненавидимы за имя мое. И не может быть иначе. Надо это знать и не заблуждаться и не огорчаться…»

Свое несогласие с отцом сын выносил на публичный суд, хотя понимал свое неравенство с ним и то, что он порой выглядит смешным. Это его обижало, но и подогревало его амбиции.

«В Петербурге, в центре тогдашнего общественного и литературного движения, я решил продолжать мою деятельность журналиста и писателя, и хотя знал, что на этом пути мне будет нелегко, имея отцом Льва Толстого и к тому же его имя, я всё же, по естественному влечению к постоянному мышлению и потребности выражать мои мысли, не оставлял избранного мной поприща… Но в тогдашней России для того, чтобы «сделаться писателем» и составить признанное литературное имя, нужно было действовать иначе, чем действовал я. Нужны были реклама и лицемерие, нужно было известное актерство и либеральничанье, а главное, нужен был постоянный протест против правительства и единодержавия».

В общественно-политической публицистике Льва Львовича не было принципиальной новизны. А в его литературных произведениях, скажем прямо, не было особого таланта.

Но он был вполне искренен в этих опытах и еще более искренен в своем желании быть писателем.

Но на этом пути была одна неустранимая преграда.

Его отец.

Глава восьмая
Тайный советник

Считаю нравственным долгом довести до сведения Вашего Величества, что Вашей жизни и спокойствию России грозит великая опасность.

Предлагаю Вам, Государь, всю мою жизнь, все мои силы.

Позовите меня!.. Я помогу Вам!.. Об этом будет знать один Бог.

Из писем Л. Л. Толстого Николаю II

Свет с Востока

Несмотря на разногласия с отцом, обострившиеся из-за публичной полемики с ним, Лев Львович с Дорой после отъезда из Ясной Поляны в Петербург в начале самостоятельной жизни переживали короткий период спокойствия и счастья.

Их круг общения был ограничен в основном родней матери. К ним приезжала младшая сестра Софьи Андреевны Татьяна Андреевна Кузминская со своими детьми, мужем-сенатором и дрессированным пуделем, которому позволяли сидеть за общим столом, а также брат матери Вячеслав Андреевич Берс. Со стороны отца их иногда навещала его тетушка графиня Александра Андреевна Толстая.

В октябре 1901 года на сцене только что открывшегося Нового театра состоялась премьера пьесы Льва Львовича «Ночи безумные…», в которой играла известная актриса Лидия Яворская, возглавившая театр вместе с мужем – князем Барятинским, писателем и драматургом. На премьере Лев Львович с Дорой, парадно одетые, сидели в ложе вместе с Барятинским, принимали аплодисменты и поздравления. Автора вызывали на сцену, публика сердечно приветствовала его, как пишет сын Павел, «возможно, больше из уважения к Льву Николаевичу, чем к автору пьесы». Но Дора была счастлива и описала это событие в письме в Швецию на восьми страницах.

Пьеса не имела большого успеха в столицах (она была поставлена также в театре «Аквариум» в Москве), но ее охотно ставили провинциальные театры, привлеченные громким именем автора. Увы, как и роман «Поиски и примирения», пьесу сопровождала скандальная слава. В ней автор опять спорил с идеями отца, одновременно заставив героя, изменившего жене, броситься под поезд. Таким образом он как бы поменял пол Анне Карениной.

С этого начался путь Льва Львовича как драматурга. В этом жанре он оказался весьма плодовит: за пять лет им было написано два тома пьес, из которых издан был только первый (Л. Л. Толстой. Драматические сочинения, СПб., 1906. Т. I). Его театральная карьера продолжалась до революции 1917 года. Некоторые пьесы – «Братья-помещики», «Права любви», «Солдатка», «Моя Родина», – написанные на социально-политические темы, шли в столичных театрах Суворина, Корша, пользовались переменным успехом и подвергались цензурным запретам за слишком острое содержание.

В августе 1902 года Дора родила третьего сына – Никиту. Это

имя Лев Львович, согласно его воспоминаниям, взял для того, «чтобы не повторять слишком часто толстовских имен». Кстати, все отметили, что Никита был похож на дедушку Льва большой головой и серыми глазами. С рождением Никиты было связано удивительное «открытие» Льва Львовича, о котором он совершенно серьезно пишет в воспоминаниях: «При его рождении я сделал интересное наблюдение, убедившее меня в том, что дети, появляясь на свет, вовсе не обязательно должны плакать, как думал Кант. Никита еще не был отделен от пуповины, когда я нагнулся к нему и сказал успокоительным тоном, что всё кругом обстояло благополучно и что плакать ему совершенно не нужно. Он отлично понял меня и не плакал до тех пор, пока акушерка не стала шлепать его по заду. Таким экспериментом я разбил теорию Канта, утверждающую, что люди с рождения выражают сущность жизни – страдание – плачем…»

Вся трогательная самонадеянность Льва Львовича отразилась в этом «открытии»! Как известно, акушерки шлепают детей не ради удовольствия, а для того, чтобы открылись легкие и дети начали самостоятельно дышать. Первый крик и есть свидетельство первого дыхания.

В будущем он сделает немало подобных «открытий», которые, по его мнению, опровергали существовавшие в мире философские системы и общепринятые точки зрения. И в этом он оставался сыном своего отца.

Никита родился в Швеции, в доме Вестерлундов, но крестили его в православной вере приглашенные из Стокгольма русский священник с диаконом. Впрочем, обряд крещения Лев Львович воспринимал формально и относился к нему, как и отец, в общем-то отрицательно. Он писал матери: «Я рад, что вся эта глупая и стыдная языческая церемония, которая с Владимира держится у нас и еще, Бог весть, сколько продержится, кончена. Было оригинально видеть ее среди протестантов».

Священник и диакон были в полном облачении, с дымящимися кадилами. Эрнст и Нина Вестерлунды уже дважды в России наблюдали эту противоестественную, на их взгляд, церемонию, когда новорожденного трижды обносят вокруг купели с зажженными свечами и трижды погружают в воду с головой. Мать не имела права при этом присутствовать. Младенца вокруг купели носила бабушка Нина. После завершения обряда Вестерлунд распорядился проветрить помещение и пригласил священника и диакона к столу. Они выпили за здоровье младенца по бокалу шерри, затем – кофе, и священнослужители уехали.

Когда осенью семья вернулась в Россию, начались новые несчастья. В Петербурге свирепствовала эпидемия гриппа,

перенеся который Дора заболела воспалением почек – нефритом. Приехавший из Швеции отец назначил строгий курс лечения – горячие ванны, холодные обертывания, молочную диету, но это не помогало. Лев Львович во всем винил сырой, холодный петербургский климат. Но и лето 1903 года, проведенное в Швеции, не поставило больную на ноги. И тогда, посовещавшись с берлинским профессором, Вестерлунд посоветовал им отправиться в Египет.

Дорога в Египет лежала через Крым и Одессу, а путь в Крым – через Ясную Поляну. В конце августа там собралась вся семья Толстого отмечать семидесятипятилетие главы дома. Лев Львович приехал раньше, в июле, и дожидался Дору с детьми.

К этому времени Софье Андреевне многое не нравилось в поведении и настроении сына. Главное – он стал слишком часто покидать Дору и детей. «И этот сын не радует, – пишет она в дневнике 12 июля 1903 года. – Жена умирает в Швеции в нефрите; он делает планы, хочет поступать на медицинский факультет, жить в Москве; и какое-то в нем неспокойствие…»

В воспоминаниях Лев Львович не пишет о своем желании вернуться на медицинский факультет Московского университета, откуда он ушел в сентябре 1890 года. По-видимому, литературная работа не приносила ему достойного заработка. Таким образом, второй пункт петербургского проекта – «составить достаточное для детей и для себя состояние» – не выполнялся. Если верить воспоминаниям сына Павла, в Египте семья жила на «мешочки с золотом, полученные от бабушки Сони». Но и этого не хватило. В декабре 1903 года Софья Андреевна писала сыну в Хелуан: «Деньги тебе пришлю к февралю».

Когда они находились в Египте, началась русско-японская война. В августе 1904 года сын Толстого Андрей Львович добровольцем отправился на дальневосточный фронт, был ранен и награжден Георгиевским крестом. Патриотические настроения коснулись даже старого Толстого, решительно отрицавшего всякую войну.

В записках Маковицкого есть интересные свидетельства о том, что, выступая против русско-японской войны, Толстой, тем не менее, тяжело переживал поражения нашей армии и флота. Он говорил, что нужно было взорвать Порт-Артур, а не отдавать японцам. «Коли берешься воевать, то жертвуй собой за дело».

«Война наводит ужас на всех, и главное в будущем ничего неизвестно и всё страшно, – писала Софья Андреевна сыну в Египет. – Подъем духа и сочувствие Государю очень большие. Мне лично очень противно коварство и ловкая жестокость этих маленьких желтых японцев».

Вернувшись в Россию в апреле 1904 года, Лев Львович тоже хотел принять участие в войне в качестве корреспондента «Нового времени». Война произвела на него огромное впечатление. Она разбудила в нем национальные чувства, которые в Египте еще и оформились в странные пророчества.

«У меня родился новый план – ехать в мае, июне на войну корреспондентом… – писал он родным. – Если не увидишь сам того, что теперь делается там, на Востоке, никогда не поймешь, как следует, значения этого. А значение большое, громадное для России. Поразительна эта горячка пожертвований на флот и общее сознание необходимости этого. Мне ясно отсюда, что это действительно необходимо, и только, когда именно мы, Россия будет настолько сильна на морях, ее окружающих, что никакая другая держава не будет в состоянии с ней бороться и она будет держать в повиновении мир, могут прекратиться войны. На то, чтобы Россия покрыла собой всю землю, нужно еще тысяч семь, восемь лет, если мы будем продолжать так быстро расти, как росли с начала Новгорода или даже Московского княжества. Еще тысячу лет для покорения всего азиатского материка, еще тысяч пять лет на покорение и слияние с народами остальных материков Америки, Африки и Австралии. И вот одно человечество готово. Это внешний путь под гегемонией России. Россия же даст другой путь, к тому же – духовный, необходимый одновременно с внешним, – постановка идеала. Папа́ с этим не согласится. МАЛЕШ! (Значит по-арабски – «ничего», «пусть»)… Я верю, что Россия призвана объединить человечество, и вижу, что она делает это постоянно, и всячески очень жаль японцев, и вместе с тем они вызывают к себе гадливое чувство, как комары, напившиеся кровью, которых приходится раздавить…

Желтые люди, Китай, Япония и Корея – это только желтый фон, основа, на которой призваны работать белые люди во главе с Россией, как Россия покрыла собой татар и других инородцев…

Европейцы никогда не сделают этого. Напротив, мы опять же покрываем и растворяем в себе всех европейцев: и немцев, и поляков, ближних соседей, и начали то же с более отдаленными – англичанами, французами, итальянцами. Все они только наши слуги, наши приказчики, наши школьные учителя, которых всех заменят в будущем их ученики…

Как бы я поговорил теперь с папа́ обо всем, что здесь набросал».

На первый взгляд, письмо напоминало бред сумасшедшего. В апреле в Египте установилась такая жара, что Лев Львович с супругой спешно засобирались в России, решив остаток весны провести в более мягком крымском климате. Отец с матерью и

решили, что сын просто перегрелся на солнце.

«Милый Лёва, папа́ даже огорчился, прочитав твое длинное письмо о том, что через несколько тысяч лет Россия овладеет всем миром. “Что это, точно он с ума сошел, – говорил папа́. – Как же можно думать о том, что будет через семь, восемь *тысяч* лет!” Видно, у тебя воображение очень разрослось от болезни и жаркого климата».

Лев Львович не спорил с ними. «Милый папа́, я очень рад, что ты счел мое письмо к мама́ о будущем России сумасшедшим. Это совершенно справедливо, и мне совестно за него и за то дурное настроение, в котором я жил в последнее время. Чрезмерное умственное и физическое возбуждение от здешней весны породило это состояние духа. Слава Богу, кажется я снова оправился и овладел собой».

Но не всё было так просто…

«Надо начинать сначала…»

Осенью 1903 года, когда Лев Львович с Дорой, Павлом и Никитой уезжали в Египет, они расставались с отцом миролюбиво, дружески. По дороге, из Ялты, он отправил отцу грустное письмо с признаниями в любви и сетованиями на свой неровный, неспокойный характер. Отец ответил ему, пожалуй, самым любовным посланием за всю историю их переписки:

«Получил, милый Лёва, твое письмо и ты, верно, сам знаешь, как оно мне было более, чем приятно… Мне радостно то, что я вижу теперь тебя всего. Нет в душе твоей уголка, которого бы я не видел или хотя бы не мог видеть. И это понятно, потому что в твоей душе горит тот истинный свет, который освещает жизнь людей. Помогай тебе Бог беречь и разжигать его. Вижу теперь ясно твои слабости, и они не раздражают, как прежде, даже не огорчают, а трогают. Мне жалко тебя за них, потому что знаю, что ты борешься с ними и страдаешь от них. Не скучай, не тяготись, милый, своим положением. Прекрасное народное определение всякого несчастия (мирского) Божиим посещением. Так и тебя Бог посетил болезнью Доры. Прими это посещение, если не можешь с благодарностью, то, по крайней мере, с покорностью и уважением».

Из Египта он не раз писал отцу, в красках описывая местную жизнь, возмущаясь тем, как колонизаторы-англичане обращаются с арабами («как со скотами»), как «сами живут в свое удовольствие на счет рабочего народа, играя в golf, polo и tennis». «Впрочем, я их очень люблю», – признавался он. В другом письме говорил, что ему открылась истина: «главное в жизни не внешнее, не тело, а внутреннее, душа» и «зло изнутри нас исходит». Эта истина «ослепила» его. Он и прежде не курил, не пил вина, старался воздерживаться от половой жизни, но все-таки оставался «злым и несчастливым человеком». А вот теперь… «Интересно, что ты мне скажешь на всё это, милый папá».

Вернувшись в России в поисках нового места в жизни, он советовался с отцом. Например: ехать ли корреспондентом на войну? Но точка зрения отца на этот счет была давно известна. В ответе сыну он не сказал ничего нового. «Мое мнение всегда, что, особенно для духовной деятельности, движение, передвижение невыгодно… Кант во всю жизнь не выезжал из Кёнигсберга и оставил громадное духовное наследство».

И Лев Львович с ним согласился. «На войну я не поеду, хотя мне это очень и очень жаль. Не поеду потому прежде всего, что это неразумно и не необходимо. Кроме того лучше оставаться с

семьей и скромно делать дома и в тишине, что можно».

Он писал, что «испортился в Египте, огрубел духовно, ослаб физически и умственно. Надо начинать многое сначала». Но в этом же письме прозвучало признание того, что в тридцать пять лет, имея жену и двух детей, имея какое-никакое, но литературное имя, Лев Львович не нашел себе места в жизни.

Он не мог жить без Ясной Поляны!

«Хуже всего то, что я тяну Дору жить в Ясной, хотя не знаю, насколько это приятно другим, Дора же Ясную не любит и тянет в Швецию… Эта борьба мне очень тяжела».

О желании вернуться в Ясную и жить там он писал еще раньше, из Хальмбюбуды, когда его жена была так больна, что не могла передвигаться без кареты «скорой помощи». «Дорогой папа́, мне продолжает быть тяжело здесь и продолжает тянуть в Ясную, где чувствую, мне место. Радуюсь тому, что, если Бог приведет меня туда, я не буду неприятен тебе. Надеюсь, что моя жизнь в Ясной не будет также неприятна братьям и не вызовет в них дурные чувства ко мне. Если я вернусь в Ясную, то уже не с теми мыслями и идеалами, как прежде, а совсем с другим отношением к жизни. Знаю, что ты понимаешь меня, потому пишу тебе».

Это был страшный тупик, в который он Лев Львович опять загонял себя, загипнотизированный своим отцом и тем удивительным, ни на что не похожим местом, которое тот создал на земле – Ясной Поляной.

16 июня 1904 года из Алупки, где Дора долечивала нефрит, он пишет отцу проникновенное письмо, в котором подготавливает почву для возвращения в Ясную Поляну. Для него это очень важно! «Милый папа́, так как я не раз обращался к твоим и моим с просьбой выслать мне твою статью о войне и они ничего мне не посылают, очень прошу тебя “приказать” им поскорее мне сделать это. Интересуюсь этим не попусту. Если бы написал мне, очень бы обрадовал. Соскучился по тебе и всех вас, но не еду потому что еще не пришло время».

Больна Дора. Ей нужен крымский климат и морские купания. Но в письме родным еще из Хелуана он всерьез предлагает, чтобы в Крым приехали сестра Татьяна с мужем, освободив его для поездки журналистом на фронт. Отказавшись от этой мысли, он рвется в Ясную Поляну обсуждать с отцом вопрос о войне и участии в ней России. Он уверен, что отец его поймет, и подробно излагает свой взгляд на события.

Как отец, он пока стоит на антивоенных позициях и осуждает войну. «Тебе, еще яснее видящему всё ее безумие, как следствие заблуждения человечества, конечно, всё это понятно. И хуже всего ведь то, что народы, глядя на японскую войну, не возмущаются

ею, – исключаю единичных людей, – не спешат скорее прекратить эти ужасы, снять тяжесть милитаризма, разоружиться, а напротив, лихорадочно строят еще новые броненосцы, ассигнуют еще миллиарды на военные издержки, вытягивая их из земли и принося народам бедствие. Если такое озверение и тьма в людях будут продолжаться и развиваться, то что же будет?..»

Кажется, он во всем солидарен с отцом, даже еще не прочитав его статью «Одумайтесь!» «Всякая нравственность, всё доброе может исчезнуть с лица земли, и духовный прогресс может не только задержаться, но совершенно прекратиться, – пишет Лев Львович. – В такой резне не может быть сильнейшего раз и навсегда. Сегодня побеждают японцы; завтра – русские; послезавтра – буры, потом англичане, американцы, немцы, потом опять сначала и так без конца, пока люди не опомнятся…»

Он словно на расстоянии чувствует мысли отца. Ведь и Толстой писал то же самое:

«Люди, десятками тысяч верст отделенные друг от друга, сотни тысяч таких людей, с одной стороны буддисты, закон которых запрещает убийство не только людей, но животных, с другой стороны христиане, исповедующие закон братства и любви, как дикие звери, на суше и на море ищут друг друга, чтобы убить, замучить, искалечить самым жестоким образом.

Что же это такое? Во сне это или наяву? Совершается что-то такое, чего не должно, не может быть – хочется верить, что это сон, и проснуться.

Но нет, это не сон, а ужасная действительность».

Их взгляды на экономические последствия войны тоже совпадают. «Не могут просвещенные люди не знать того, что поводы к войнам всегда такие, из-за которых не стоит тратить не только одной жизни человеческой, но и одной сотни тех средств, которые расходуются на войну (за освобождение негров истрачено во много раз больше того, что стоил бы выкуп всех негров юга)…» («Одумайтесь!»).

Еще не прочитав статью отца, он уже знает и ее главное положение: спасение мира в религиозном сознании. «Зло, от которого страдают люди нашего времени, происходит оттого, что большинство их живет без того, что одно дает разумное руководство человеческой деятельности – без религии…» («Одумайтесь!»).

«Ты думаешь, что религия спасет от всего этого, и ты, конечно, прав, – пишет Лев Львович. – Но разве нет ближайших средств, в существующих формах жизни, для того же? Мне кажется, что, если бы политика народов стала нравственной, если бы дипломаты не были бы дипломатами в слепом смысле этого

слова, а стали бы христианами, и с ними вместе – правительства, то очень легко мы могли бы избегать войны. Уступить японцам, что они просят. Убраться из Порт-Артура. Очистить Маньчжурию. Если бы правительство поняло, что такие внешние захваты никогда не бывают прочны, что только мирным путем, трудом и торговлей можно прочно победить страну, оно бы непременно сделало это. Но оно рассуждает иначе и от этого войны, смерти, разорение, страдания и всякое зло».

Главное различие в их взглядах было одно. Сын верил, что высокие нравственные принципы можно претворять в *уже существующие формы жизни.* А отец – нет. Сын верил, что можно правильно «пасти народы» с помощью *существующих* государственных, общественных и религиозных институтов, которые нужно реформировать, но не разрушать. А отец – нет. Всего-то, чего добивался сын – чтобы отец делегировал ему право: нести свет отцовской истины в *существующие* формы жизни. Влиять именем сына Толстого не только на общество, но, может быть, и на самого государя. Не это ли он мечтал обсудить с отцом, когда всей душой рвался в Ясную Поляну?

Не ко двору

Лев Львович не вел постоянный дневник, но, приехав в Ясную Поляну в июле 1904 года, подробно записывал свои впечатления от встречи с отцом. Возможно, потому, что в этот момент вновь решалась его судьба. Он остается жить в Ясной Поляне или нет?

5 июля: «Вчера приехал сюда из Крыма. Утром в 6 часов я лег отдохнуть после двух ночей в вагоне, но не мог спать от возбуждения. В 8 я опять встал и пошел на пруд купаться. Возвращаясь с пруда домой, я встретил отца в аллеях. Я подбежал к нему, и мы обнялись. Первое, что он сказал мне: “А я бегу всё за тобой”. Он окружил пруд, где искал меня. Это проявление его любви ко мне меня тронуло и показало ярко, как он горячо относится ко мне. Он стал расспрашивать меня про жену, боясь, что у нас с ней расстроились отношения. Слава Богу, что я мог утешить его».

Но уже через десять дней в его дневнике появляется другая запись: «Тяжелая, трудная здесь жизнь для человека, который ищет правды. Жизнь в Ясной Поляне полна лжи и зла, и несмотря на то, что ее хозяин искренне проповедывает христианство, он живет в ужасающем язычестве, несмотря на то, что он проповедует простоту и лишение, он живет в страшной роскоши и богатстве. Полный дом слуг, обжорство, праздность, суета сует. Формы жизни в Ясной Поляне очень тяжелы и, если бы не сущность ее, это был бы дом разврата».

Каким тоном это написано! Как будто пишет посторонний человек, впервые заехавший в Ясную Поляну, чтобы сверить свои представления о великом Толстом с реальностью, и глубоко разочарованный всем, что он увидел. По сути, Лев Львович повторяет в дневнике самые расхожие слухи о Ясной Поляне, где Толстой, проповедуя на словах одно, на деле купается в богатстве и роскоши. Где он это увидел? И почему не видел этого раньше, когда создавал «шведский оазис в русской пустыне»? И кто это пишет? Человек, который отказался жить в Хелуане в простом пансионате и снял для семьи роскошный номер в Tewfic Hotel, где останавливались англичане. Которого в Египте по внешнему виду принимали за богатого англичанина. Который снимал в Крыму дачу рядом с Воронцовским дворцом.

Перемену в его настроении нельзя объяснить иначе, как тем, что общего языка с отцом он не нашел. Это подтверждается записью, сделанной через неделю: «Надо избегать Ясной, которая не изменится к лучшему, пока я сам не поселюсь в ней… не изменю моей жизни в ней. Но изменить ее в старой Ясной нельзя.

Поэтому жить здесь можно только по-новому, вновь, на новом месте. А пока этого нельзя, надо жить на чужой стороне, хотя это и тяжело, хотя это и грустно. Но если Бог во мне, то мне никто больше не нужен. Как это радостно и ясно. Я всюду с Богом, и чем меньше мне мешают быть с ним, тем мне легче, и лучше, и радостнее…»

Несчастный! Даже осуждая отца, он буквально повторял его мысли!

Но что случилось в Ясной Поляне в июле 1904 года? Что так поменяло настроение Льва Львовича? На этот счет нет свидетельств. В это время в Ясной Поляне готовились к проводам на фронт сына Андрея. В Пирогове умирал от рака старший брат Толстого Сергей Николаевич, и Толстой ездил к нему с доктором Никитиным. Как всегда, было много посетителей. Шла обычная работа, в которой отцу помогали его близкие…

Последнее обстоятельство важно! В Ясной отсутствовавший там без малого год Лев Львович застал отца выздоровевшим после Крыма, бодрым и полным энергии. И опять вся жизнь семьи вращалась вокруг него, подчиняясь его расписанию. Он поглощал всех вокруг, не делая для этого никаких усилий, потому что это и так представлялось всем законным и справедливым. Только Софья Андреевна роптала.

«…папа́ стал ко всему поразительно равнодушен, – пишет она сыну после его отъезда в Петербург. – Это люди называют старческой мудростью, но я еще до нее не дожила. Он теперь очень здоров, бодр, энергичен; весь дом им поглощен, все пишут, переводят, работают для его книги изречений мудрецов: сидит Абрикосов – пишет, Коля, Маша – пишут, Саша – на ремингтоне, Лина переводит, Лизанька Оболенская, Наташа – все работают. Какая сила духа поработить всех и всех заставить жить и работать по своей воле! Одна я трудно выношу этот гнет, давно я его на себе уж чувствую, 42 года, пора и устать. И потом мне всё страннее кажется такое равнодушие, безучастность ко всем близким, и такой всепоглощающий эгоизм. И вероятно, он и в этом прав».

Война с отцом

С возвращением в Петербург, с осени 1904 года, начался новый период жизни Льва Львовича, который он потом считал «самым удачным» пятилетием в своей жизни. Он снова хотел отправиться на фронт военным корреспондентом «Нового времени», но этому воспротивился Суворин. Он понимал, что реальные сводки с театра военных действий едва ли нужны его полуофициальной газете. Возможно, что он и поберег Толстого-сына, к которому относился всегда с большим сочувствием, за что и тот в письме к нему признался: «Я иногда чувствую к Вам больше близости, чем к родному отцу…»

Оставшись в Петербурге, Лев Львович все-таки начинает активно выступать в качестве журналиста «Нового времени», печатая цикл статей под названием «Мысли и жизнь». В первой же статье он заявляет о том, что нужно вести войну до победного конца. Такого оголтелого милитаризма ждали от кого угодно, но только не от сына Толстого. Это был настоящий поход против отца.

«Много слышится голосов, глубоко пессимистических и безнадежных, а то и просто усталых и вялых, отзывающихся на современные события, – заявлял он. – Но как жалки, недостойны эти голоса рядом со стойким, спокойным и мудрым отношением русского народа к настоящей войне, как ко всякой войне…

Настоящая война на Дальнем Востоке – война великая, какой не видала Россия с Петра. Она идет за обладание восточным берегом великого европейско-азиатского материка, как во времена Петра шли войны за обладание западным».

Согласно этой логике следовало воспеть победу Петра над шведами. И Лев Львович не остановился перед этим. «Как в борьбе со шведами, у нас была сперва Нарва, а потом явилась Полтава, под которой швед погиб, так и в борьбе с японцами, азиатскими шведами, живущими на островах и по географическому положению своему на конце материка схожими со Скандинавией, у нас сперва будут с ними и уже были неудачи, но потом неизбежно должна явиться “Полтава”, под которой погибнет японец!»

Из статьи становилось понятно, что сумбурное письмо Льва Львовича из Хелуана, в котором он предрекал господство России над миром, было не временным умопомрачением, а убеждением сына Толстого. Он вернулся к нему сразу же после расставания с отцом.

«Надо быть необыкновенно малодушным и необыкновенно

близоруким, чтобы не видеть конечного результата войны. Стоит только взглянуть на карту Стоит взглянуть на Россию, на ее пространства, села, поля, леса, озера, горы, на ее народ, чтобы убедиться в этом. Россия непобедима, Россия – страна, единственная в мире по своему народу, географии, климату, мощи духовной и умственной, темпераменту, миролюбию, способностям, призванию. России принадлежит будущее земли, несмотря на современные беды».

В конце статьи Лев Львович повторял те же мессианские идеи о России, которые высказывал в письме к родителям из Хелуана и которые сам же потом признал «сумасшедшими».

«Прошлой зимой в Египте я говорил моим друзьям-англичанам: “Будьте уверены, не вы, а мы осуществим вашу мечту всемирного владычества. И мы сделаем это естественно, силой вещей и судеб. Народ, занимающий северную полосу земного шара от финских скал до отважной Японии, сильнее всех народов земного шара, и если он еще не дорос до того, чтобы явно показать это свое превосходство, он имеет все данные, чтобы сделать это. Он покрывает все соседние народы и всех впитывает в себя. Он покорил Крым, Кавказ, Восточную Россию, Сибирь, западные окраины, и теперь везде там Россия и никогда не будет ничто другое. Татары уже между собой стали говорить по-русски; то же самое будет везде. Мы и вас, англичан, вытесним и отсюда, из Египта, и из Индии. В этом я никогда не сомневался”. Мои друзья-англичане громко и самодовольно смеялись на мои легкомысленные речи. Но я верю в них и буду верить до могилы. Россия – непобедима».

Когда же он был искренен? Когда он был в здравом уме? Когда писал очерки о Швеции, недвусмысленно навязывая нам шведский образ жизни и ругая русские просторы, которые лишают сил и ввергают в депрессию? Или когда воспевал русский климат и географию, духовную и интеллектуальную мощь России? Когда бежал впереди отца, говоря, что нужно отдать Порт-Артур и Манчжурию японцам? Или когда призывал к новой Полтаве?

Все эти повороты на сто восемьдесят градусов имели хоть какой-то стержень? Или это были просто хаотические метания? В Ясной Поляне он возмущался богатством и роскошью семьи, живущей в небольшом барском доме без электрического света и теплого клозета, а в Петербурге они с Дорой проживали в огромном доходном доме. «Светская жизнь цвела махровым цветом, – вспоминал его сын Павел, – как обычно бывает в тени войны, и может показаться, что мои родители проводили вечера дома только в виде исключения». «Ваша Дора счастлива… Я

наслаждаюсь жизнью… Мне так весело!!!» – писала Дора родителям в Швецию.

Расширился круг знакомых… Среди них теперь были князья Трубецкие, князья Голицыны, генерал Альмединген, художник Репин и скульптор Гинцбург. Последние были поклонниками его отца и частыми гостями Ясной Поляны. Понимал ли он, какое впечатление производила на них его статья? И вообще в России? И во всем мире?

«Вот политическое кредо, которое за границей произведет, может быть, не меньший шум, чем известное письмо о нынешней войне старого графа Льва Толстого, – писал в Новом времени» Михаил Меньшиков. – Иностранцев прежде всего поразит, что из одной и той же русской семьи, из-под одних и тех же старых лип Ясной Поляны идут полярно противоположные убеждения, оба – крайние до последней степени. Отец отрицает всякую войну, всякую национальность, всякую государственность, всякую воинственность в народе русском. Сын же убежден в победах русского народа и не только над теперешним случайным врагом, но и над всеми дружественными народами, с которыми даже нет войны. Отец считает тяжким грехом даже оборону жизни, сын провозглашает наступление и в будущем всесветное наше владычество».

Толстой был глубоко уязвлен статьей сына! Сын за отца, может быть, и не отвечает, но отец должен отвечать за сына. Какая истинная цена его антивоенным выступлениям, если в собственной семье он воспитал такого милитариста?

Сдача Порт-Артура, поражение под Мукденом и Цусимская катастрофа заставили русское правительство задуматься о заключении мира. В феврале 1905 года премьер-министр Сергей Юльевич Витте подал царю письмо, в котором настаивал на окончании военный действий на Дальнем Востоке. Антивоенные настроения преобладали и в обществе. Но ситуация была туманной. Циркулировали сведения, что у японской армии самой нет амуниции и продовольствия и Япония близка к разгрому. Этой точки зрения придерживался и Лев Львович на основании «компетентных источников». Он продолжал писать в «Новое время» статьи в защиту войны, так что издатель даже не успевал их печатать. «Не можете ли Вы назначить мне определенный день или два в неделю для моих статей?» – спрашивал он Суворина.

Статьи вызывали многочисленные отклики, от издевательских до восторженных. В начале 1905 года он стал «одной из самых заметных фигур в отечественной публицистике», как пишет Валерия Абросимова. И ей же принадлежит мысль, что «публицистическая деятельность Л. Л. Толстого в 1904–1905

годах в какой-то степени была формой протеста против явного отчуждения отца, своеобразным способом привлечь, хотя бы через столичную прессу, внимание яснополянского гения к своим взглядам…»

Да, семейный фактор играл большую роль в этой истории. И опять в эпицентре этих противоречий оказалась Софья Андреевна. 23 марта 1905 года она писала сыну: «Мне и папá, разумеется, очень грустно, что наш сын до такой степени противоположен в своих воззрениях на войну, как ты. Но, кроме того, что это грустно, до меня со всех сторон доходят слухи, что это мать внушила Льву Львовичу подобные взгляды, и мать, не согласная с Львом Николаевичем, – проповедует войну. Так как это несправедливо, то я хотела восстановить истину и опубликовать на весь мир *свой* взгляд на войну».

Вообще-то Софья Андреевна щепетильно относилась к возможности своего выступления в печати. До этого она прибегала к этому всего два раза: в 1892 году, напечатав в газетах письмо с призывом жертвовать в пользу голодающих, и в 1901 году, написав открытое письмо митрополиту по поводу «отлучения» ее мужа от церкви. Оба случая были чрезвычайные.

Если в марте 1905 года она отправила в Англию Черткову открытое письмо в защиту мира, значит, это было для нее принципиально. Но что было принципиально? Высказаться против войны *вообще*? Или показать всему миру, что ее позиция совпадает с позицией мужа, а не сына? По свидетельству Маковицкого, первый вариант письма был задуман именно как полемика с сыном. От этого ее отговорили дочери. Тогда она написала против войны *вообще*.

«Ясная Поляна
18 марта 1905 г.
Дорогой друг (dear friend)!

Зная, как вы, живя за границей, всё так принимаете к сердцу те страдания, которые мы переживаем в России, я не могу не высказать вам и своих чувств по поводу, главное, войны и всего, что наболело в моем сердце.

Грустно то, что в России нет единства мнений и чувств, а существует, напротив, полное несогласие во взглядах. Крайне огорчают меня статьи в разных не сочувственных мне газетах, как “Новое время”, “Московские ведомости” и другие, кричащие о продолжении войны и о нежелании заключения мира.

Не вдаваясь ни в какие политические соображения, хотя я лично убеждена в том, что продолжение войны не только бесполезно, но приведет всё к большим ущербам и большим

беспорядкам от тех бунтующих масс, в которых война разбудила презрение к человеческим жизням и безотчетную, зверскую жажду крови, – я просто не могу понять людей, дерзающих продолжать проповедь войны!

Неужели не хватает у людей самой простой, непосредственной любви к человечеству, понимания добра, – да просто воображения, чтоб переживать с невинными жертвами войны и оставленными ими семьями те отчаянья муки, от которых стонет вся Россия?

Некоторые воображают, что народ якобы мудро и спокойно смотрит на войну и смерть. Это несправедливо. Я живу в деревне, я сама провожала сына на войну, я видела эти проводы и пережила их с болью сердца, – но я нигде ничего другого не видала, как плач, горе и отрицание того дела, на которое посылали людей, за редкими исключениями интеллигентной молодежи, но не народа.

Мир не может быть позором, как этого многие боятся. Проигранная война не позор, а несчастье. Дикая духовно, нехристианская нация, как японцы, должна была победить, ибо в ней силен принцип патриотизма, стоящий вразрез с христианским принципом любви к ближнему и, следовательно, отрицанием войны. До этого они еще не доросли, а русские уже на пути к нему.

Да наконец, какой позор может быть больше, как тот, чтобы истязать, мучить людей, заставлять людей совершать самое страшное, высшее преступление, которое только можно себе представить, – отнимать жизни людей самыми жестокими, сложными, изощренными способами, изобретенными гнусной дурно использованной цивилизацией?

Какая жестокость может быть больше той, чтоб сотни тысяч детей и стариков оставлять без отцов и сыновей, голодных, раздетых, умирающих от нищеты; чтоб заставлять страдать сотни тысяч плачущих и часто умирающих от горя матерей, жен, отцов и детей, чтоб оставлять необработанными поля, чтоб навязывать будущим поколениям огромные государственные долги…

Да пусть отпадут все те земли, которые достаются такими безумно жестокими путями, чтоб остающиеся благоденствовали и люди благословляли своих правителей…

Граф. Софья Толстая».

Письмо было опубликовано в английской газете «Times», а затем во Франции и Германии. В этот раз уязвленным должен был почувствовать себя Лев Львович. Репутация мужа, колеблемая сыном, была для Софьи Андреевны важнее репутации и чувств

сына. Определенно переживая перед ним некоторую вину она писала ему в связи с письмом в «Times»: «Ты не бойся, мы спорить не будем, наши отношения с тобой на другой почве, а взгляды политические, религиозные и нравственные уже не на почве отношений матери и сына».

В мае он признался матери, что враждует с отцом не столько по убеждению, сколько из-за *обиды* на него: «Папа́, я люблю очень, когда не думаю, что он меня не любит. Но когда вижу и чувствую, что я ему не нужен, и он мне становится чужд».

Не на своем месте

В конце 1904 года Софья Андреевна пишет в дневнике: «Очень постарел Л. Н. в этом году. Он перешел еще следующую ступень. Но он хорошо постарел. Видно, что духовная жизнь преобладает, и хотя он любит и кататься, любит вкусную пищу и рюмочку вина, которое ему прислало Общество вина St. Raphaël к юбилею; любит и в винт, и в шахматы поиграть, но точно тело его живет отдельной жизнью, а дух остается безучастен к земной жизни, а где-то уже выше, независимее от тела».

Это надмирное сказывается на отношении к близким. «Никто его не знает и не понимает; самую суть его характера и ума знаю лучше других я, – пишет Софья Андреевна. – Но что ни пиши, мне не поверят. Л. Н. человек огромного ума и таланта, человек с воображением и чувствительностью, чуткостью необычайными, но он человек без сердца и доброты настоящей. Доброта его *принципиальная*, но не *непосредственная*».

О Льве Львовиче можно сказать наоборот. Он как раз был добрым и сердечным человеком, но в отношении ума и таланта космически отставал от отца. Но само по себе это было бы не страшно. Главным недостатком его было то, что ему не доставало чуткости к окружающей жизни, а еще больше – к себе. Во-первых, им овладели «мессианские» настроения. «С началом русско-японской войны, – пишет Валерия Абросимова, – в сознании Л. Л. Толстого постепенно вызревала мысль о том, что ему суждено стать одним из возможных спасителей Отечества». Во-вторых, он постоянно совершал поступки, не согласуя их со своими возможностями и обстоятельствам жизни близких людей.

Осенью 1904 года он решил стать книгопродавцем. В нижнем этаже своего дома он хотел открыть книжный магазин под названием «Доброе дело». Между прочим, в организации склада на улице Бассейной ему помогала вдова Достоевского. Приехавшая в это время в Петербург сестра Татьяна пишет в дневнике: «Он занят книжным магазином, который он открывает для того, чтобы дать возможность человеку, желающему иметь нравственную книгу, знать, где ее приобрести». Но она же замечает: «Он написал две статьи в “Новом времени” в патриотическом духе, которые я не читала, не желая портить моих отношений с ним…»

Он ведет себя непоследовательно. При обострившихся отношениях с отцом собирается торговать его же книгами, прибегнув к помощи матери. Но Софья Андреевна в свое время со слезами и скандалами *вырвала* у мужа право на такую торговлю.

Она сама продает книги Толстого против его убеждений. А сын предлагает уступить ему преимущественное право этой торговли, не чувствуя, насколько это бестактно не только в отношении отца, но и матери. И она опять ставит его место…

«Милый Лёва, получила твое письмо с просьбой не давать книг на склад Стасюлевича. Я лично тебе уже говорила, что я на это не согласна, так как считаю выгодным для дела, которое веду *я*, давать Стасюлевичу, фирме известной и очень распространенной – на комиссию книги. Деньги они платят очень исправно и много, и потому я не имею причины и повода отказать им присылкой книг. Вообще я желала бы, пока дело изданий в моих руках, чтоб я оставалась свободна, как было до сих пор, а связав себя с неопределенным делом, начинаемым тобою, я могу совсем запутаться, да еще, сохрани Бог, испортить твои отношения.

Ты ставишь Н. П. Макаренко (заведующего складом в Хамовниках – *П. Б.*) в тяжелые условия, отдавая ему приказания не отпускать книг тому или другому. Он всё равно будет слушаться только меня, о чем я его просила и впредь, и что, я думаю, только справедливо. Например, ты пишешь, чтоб не отпускать книг в *склад* Карбасникова. У него склада нет, а есть несколько книжных магазинов. Он действительно делает скидку в 5 процентов на наших книгах: что же мне за дело до этого? Он и мне уступал 5 процентов на диксионеры[46], и спасибо ему.

Вообще ты слишком горячо и суетливо берешься за дело, не вникая даже спокойно в разные обстоятельства. Так вот, пожалуйста, не впутывай меня в свои дела более, чем я нахожу возможным. Если дело твое пойдет хорошо и фирма приобретет доверие и известность, то и так будут брать книг у тебя более, чем у других. И зачем: “Доброе дело”? Многие уже смеются над этой вывеской, а это жаль, не лучше ли переменить?»

Первое коммерческое начинание Льва Львовича, которое он искренне думал соединить с нравственными и просветительскими задачами, вызвало резкое неприятие Софьи Андреевны. И он опять оказался между отцом и матерью, третьим лишним в сложной и хрупкой системе родительских ссор и компромиссов.

Дела с магазином не шли. Тогда он решил основать свою газету.

Роль ведущего «нововременского» публициста не до конца устраивала его, тем более что по известности он все-таки уступал в газете таким акулам пера, как Розанов и Меньшиков. Да и Суворин представлялся ему не тем человеком, который может спасти Россию.

«К сожалению, – писал он в «Опыте моей жизни», – Алексей

Сергеевич не был достаточно культурным и развитым человеком, чтобы понять требования своего времени. Он был консерватором и реакционером, простым дельцом и разбогатевшим, хитрым русским мужиком и не больше других знал, в чем нуждалась Россия. Его газета шла рука в руку с правительством и потому, естественно, приносила больше вреда, чем пользы».

Когда 24 августа 1912 года Суворин скончается в Царском селе, Лев Львович посвятит ему трогательный некролог, в котором скажет, что «он не лгал, он говорил прямо и просто свою правду, когда он считал ее таковой. Он понимал и чувствовал Россию…»

Во всяком случае он был человеком на своем месте. Невозможно перечислить все его роли: писатель, драматург, публицист, театральный критик, газетный и книжный издатель, общественный и политический деятель. Близкий знакомый Достоевского и Толстого, покровитель Чехова, работодатель Розанова, Меньшикова и Льва Львовича. Газетный магнат, владелец магазинов и киосков по всей России, основатель своего театра, библиоман, библиограф… Создатель первых справочников европейского уровня: «Вся Москва», «Весь Петербург», «Вся Россия»…

Тот самый человек, которому Чехов написал знаменитые строки о необходимости выдавливать «из себя по капле раба», имея в виду совсем не Суворина. Чехов был откровенен с ним, как ни с кем. Это единственный издатель, которому Чехов мог написать: «Мне страстно хочется поговорить с Вами. Душа у меня кипит. Никого не хочу, кроме Вас, ибо с Вами только и можно говорить».

Газету «Новое время» Владимир Ленин назвал «образцом продажных газет». По мнению вождя революции, «нововременство» «стало выражением, однозначащим с понятиями: отступничество, ренегатство, подхалимство». Суворина обвиняли в том, что он получает субсидии одновременно от русского правительства и от французского генерального штаба. Про него говорили, что у него в кармане четыре миллиона, у него три дома и он наживается на бедных писателях. А он писал в дневнике: «…я никого не эксплуатировал, никого не жал, напротив, делал всё, что может делать хороший хозяин относительно своих сотрудников и рабочих… Газета дает до шестисот тысяч в год, а у меня кроме долгов ничего нет, то есть нет денег. Есть огромное дело, которое выросло до миллионного оборота, но я до сих пор не знал никакого развлечения, никаких наслаждений, кроме труда самого каторжного. Расчетлив я никогда не был, на деньги никогда не

смотрел как на вещь, стоящую внимания».

Прежде чем «эксплуатировать» Чехова, Суворин поселил его в своем доме, сделал членом своей семьи. Он всю жизнь носился с ним как с собственным ребенком. Когда Чехов умер в Германии, Розанов писал: «Помню его встречавшим гроб Чехова в Петербурге: с палкой он как-то бегал (страшно быстро ходил), всё браня нерасторопность дороги, неумелость подать вагон. Смотря на лицо и слыша его обрывающиеся слова, я точно видел отца, к которому везли труп ребенка или труп обещающего юноши, безвременно умершего… Суворин никого и ничего не видел, ни на кого и ни на что не обращал внимания… и только ждал, ждал… хотел, хотел… гроб!»

Суворин родился в бедной семье государственного крестьянина в селе Коршеве Бобровского уезда Воронежской губернии. Его отец был неграмотный. В доме была единственная книга – Евангелие в русском переводе Библейского общества. Но вот наглядная судьба человека Российской империи: ценой честной военной службы отец Суворина дослужился до штабс-капитана, что давало ему право потомственного дворянства. Сыновья его окончили Михайловский кадетский корпус в Воронеже, одного из братьев определили пансионером богатейшего воронежского помещика, пожертвовавшего на этот корпус миллион рублей. Проучившись шесть лет в корпусе, Суворин в 1851 году поступил в классы Дворянского полка, преобразованные впоследствии в Константиновское военное училище. Потом ушел в журналистику, в литературу, в издательское дело и, наконец, стал тем, кем он стал: крупнейшим газетным и издательским деятелем, любимцем Мельпомены и покровителем писателей.

Будучи по крови русским мужиком, Суворин обожал Европу и всё в своем деле старался поставить на высший европейский уровень. Он издавал дорогие и роскошные книги и самые дешевые. Всё, что впоследствии переиздавал наш «Госиздат», было до этого издано Сувориным. Он создал первую в России общую сеть распространения книг: не только открывал книжные магазины по всей стране, но и договорился с РЖД, и его книжные киоски поставили на самых отдаленных железнодорожных станциях.

Если, намереваясь создавать свою газету, Лев Львович всерьез думал соперничать с Сувориным, он был обречен. «Хитрый мужик» лучше понимал в этом деле, чем сын графа. Но Лев Львович считал, что управлять Россией «могут только гиганты духа и разума». Суворин, по его мнению, таким не был.

Зато гигантом духа был его, Льва Львовича, отец. И конечно,

к нему первому он обратился за поддержкой, когда «задумал издавать мою собственную национальную газету, так как ни консервативная, ни тогдашняя русская либеральная пресса не удовлетворяли больше лучшее русское общество…»

Но прежде всего нужны были деньги.

Воззвание о создании газеты в виде «товарищества на паях» он напечатал в «Новом времени». И первое время письма в поддержку текли рекой. «Сотни людей писали, желая войти пайщиками в газету, среди них простые смертные, и бывшие министры, и видные общественные деятели», – вспоминал Лев Львович.

Согласно архивным разысканиям Валерии Абросимовой, к июню 1905 года было собрано паев на сумму сорок пять тысяч шестьсот сорок семь рублей, а требовалось пятьдесят тысяч. То есть средства фактически были собраны. Но вдруг 31 августа Лев Львович обратился к пайщикам с заявлением, что отказывается брать на себя ответственность по изданию газеты. При этом деньги, присланные на издание, он готов потратить на народные библиотеки. Что же случилось?

Он объяснял это тем, что «пайщики задуманной газеты не достаточно поддержали меня. Когда же я серьезно стал добиваться помощи правительства, оно отступило назад и взяло обратно свое предложение предоставить мне для печатанья газеты государственную типографию». На деле это означало, что нового Суворина из Льва Львовича не получилось. Игра на газетном рынке требовала хитрости, а сын Толстого этим качеством не обладал. Да и отец сына в этом начинании не поддержал. Как раз в это время Толстой бросил читать газеты и сравнивал это с тем, как он бросил курить. Когда в марте 1905 года в Ясную приехал журналист Романов, один из возможных сотрудников будущей газеты, Толстой высказался о ней отрицательно и назвал газеты «проституцией».

Впрочем, он обещал написать «Пожелание» для первого номера. Но едва ли это «Пожелание» утешило бы сына. Газета должна была называться «Русский народ». Как объяснил Толстому Романов, «газета должна быть, во-первых, чисто русская, славянская, объединяющая русских, состав сотрудников чисто русский. Во-вторых, на христианских началах» (запись Маковицкого). В глазах Толстого это сочетание было гремучей семью. Он крайне отрицательно относился к попыткам соединить христианскую веру и патриотизм, о чем написал в статье «Христианство и патриотизм».

Патриотизм, или национализм (он не делал различия между этими понятиями) в его глазах был низшей, языческой ступенью

общественной морали. Это эгоистическое чувство, как и семейная любовь. Христианство выше этого.

Наконец, Толстой отрицательно относился к газетной журналистике в принципе. Свои статьи он не считал журналистикой. О статьях же сына он выразился так: «При упаковке товара и то нужно обдумывать. Нужно обдумывать и потом писать. Писать, чтобы иметь средства к жизни, – проституция. Мой сын что пишет? Если ему возражать, каждое слово надо определять».

Встреча с царем

Известны слова Суворина из его дневника: «Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии».

Это была правда. Но почему два *царя* не встретились, не поговорили друг с другом? Не о том, кто сильнее, а как им обоим помочь России, оказавшейся в беде. Впрочем, такая встреча состоялась в январе 1905 года. Царь встретился с Львом Толстым. Сыном. Это было важное событие в символическом смысле. Как бы ни конфликтовали сын с отцом на почве отношения к войне, у них были общие ценности. Оба горячо любили Россию и русский народ, который вместе спасали от голода в начале девяностых годов. И оба были противниками революции.

Встрече с царем предшествовали два письма к нему Льва Львовича. О первом неловко говорить, потому что это была просьба не сына отечества, но уязвленного драматурга, пьесу которого «За кулисами войны» цензура не допустила к постановке на сцене Александрийского театра. Лев Львович писал, что он «был бы счастлив» лично прочесть царю свою драму и просил его «приказать» поставить ее в главном театре Петербурга.

Но второе письмо Льва Львовича, написанное 14 января 1905 года, было серьезной заявкой на личную встречу. И очень важно, что это письмо он предварительно показывал отцу. Толстой одобрил его содержание.

В это время началась русская революция, которой предшествовало 9 января – Кровавое Воскресение. Сын Толстого сам наблюдал это событие, «видел чернокого и быстрого Гапона, подстрекавшего толпу на Невском проспекте». Он едва не попал под пули с двумя малолетними сыновьями, с которыми отправился кататься по набережной: на Миллионной крикнули, чтобы не сворачивал к Зимнему дворцу.

Письмо писалось по горячим следам и накануне еще более горячих событий…

«Считаю долгом довести до сведения Вашего Величества, что Вашей жизни и спокойствию России грозит великая опасность. После кровавых событий этих дней я виделся и говорил с сотнями различных людей и вынес безнадежное, удручающее впечатление от настроения, царящего в обществе и всем народе».

Выход автор письма видел в немедленном, несмотря на военное положение, созыве Земского Собора. «Уже этой весной он

должен был созван. Выборные от земств, от городов, от различных сословий и обществ съехались бы в Петербург, и это сразу оживило бы не только мертвенный, в последнее время, застой столичной жизни, в которой зреют преступные, тайные замыслы, но оживило бы всю внутреннюю жизнь России, воскресило надежды, подавило смуту и благотворно, бодряще подействовало бы и на русскую армию, там, на Дальнем Востоке, которая, отвечая общему подъему народа, скорее бы дала ему желанную победу над врагом».

Идея Собора принадлежала не только ему. 12 января ее высказали редакторы петербургских газет на приеме у министра внутренних дел Петра Дмитриевича Святополка-Мирского, у которого 14 января был сын Толстого и рассказал ему о настроениях, царящих в народе и обществе. Вообще идея земского *съезда* была близка Святополку-Мирскому, с приходом которого на пост министра внутренних дел в августе 1904 года после убийства Плеве связывались либеральные надежды. Заговорили о начале «эпохи доверия» и о «весне русской жизни». Еще в ноябре 1904 года Святополк-Мирский просил Николая II дать согласие на созыв съезда представителей земств. Но получил отказ. Съезд состоялся как «частное совещание земских деятелей».

На приеме у министра редакторы газет также выступили с требованием «предоставить печати полную свободу сообщения фактов и событий общественной жизни и обсуждения их». Это второе предложение не только не прозвучало в письме Льва Львовича, но косвенно он высказался в нем *против* свободы слова, как, впрочем, и против репрессий. «Ничто, кроме такой трезвой, назревшей, чисто практической и *государственной меры* (Земского Собора – *П.Б.*), не поможет теперь России. Никакая новая свобода, никакие обещания, никакие репрессии».

В будущем же письме царю, написанном в декабре 1905 года, Лев Львович прямо призывал царя к ужесточению цензуры: «Надо запрещать всякое проявление революционных стремлений, уничтожать их при возникновении, *вырывать с корнем* больную, сорную траву. Суд должен карать печать моментально, должен карать всё, противное общественному благу, всё злое, которое никогда не может стать законным, никогда не должно быть терпимым».

Заметим, что это писалось после известного Манифеста о даровании свободы слова.

Кстати, Лев Львович вступил в партию «Союз 17 октября», возникшую на политической волне этого Манифеста, и хотел баллотироваться от нее в Государственную Думу. Но и здесь, как в случае создания своей газеты, его настигло внезапное

разочарование, и он покинул ряды членов партии.

Впрочем, и в этом пренебрежении свободой слова и даже отрицательном к нему отношении сын не слишком расходился со своим отцом. Для Толстого свобода слова не являлась базовой ценностью. Во всяком случае о ней ничего не говорится в письме «Царю и его помощникам», в котором Толстой настаивает на других свободах: свободе передвижения крестьян, свободе открытия частных школ и свободе вероисповедания.

По убеждению Толстого, который сам же в первую очередь страдал от цензуры, *Божье слово само дорогу найдет.*

И вообще не это было главным во втором письме Льва Львовича. Главным было вот это место:

«Настало время, Государь, когда Россия уже не может быть управляема так, как прежде. Царю необходимы помощники, помощники истинные, понимающие и чувствующие насущные нужды народа, – настало время, когда царю нужен посредник между ним и его подданными».

Речь как будто бы шла о Земском Соборе. Но в конце последней фразы множественное число вдруг поменялось на единственное. Такая же словесная метаморфоза происходит и в третьем письме Льва Львовича, написанном уже после встречи с царем. В начале письма он называет группу лиц, которые могли бы, с его точки зрения, «сгруппироваться» вокруг царя и «основательно разобрать вопрос о созыве Собора». Это Дмитрий Николаевич Шипов, один из будущих организаторов партии «Союз 17 октября»; князь Борис Александрович Васильчиков; князь Павел Дмитриевич Долгоруков, один из основателей «Союза освобождения»; князь Михаил Владимирович Голицын; философ Сергей Николаевич Трубецкой; земский деятель Юрий Александрович Новосильцев; друг Николая II еще со времен его молодости князь Эспер Эсперович Ухтомский; историк Василий Осипович Ключевский и другие.

Но ближе к концу письма акцент неожиданно смещается на одного человека: «Ваше Величество, после свидания с Вами я думал: “Если бы я мог быть полезным, если бы Государь позвал меня, я бы всё бросил, – все мои дела, интересы, семью и пошел бы служить Ему для Его блага, связанного нераздельно с благом России…”»

И наконец, в письме, написанном в сентябре 1912 года, Лев Львович умоляет царя призвать *его одного* в качестве советника: «Позовите меня! Я помогу Вам! Об этом будет знать один Бог».

Согласно воспоминаниям сына Павла, после встречи отца с царем Дора шутливо называла мужа «тайным советником». Но, по-видимому, для Льва Львовича это было не шуткой. Какое-то

время он лелеял в себе мечту: стать новым Победоносцевым при новом царе. Но не тем Победоносцевым, который, по выражению Константина Леонтьева, «подморозил Россию», не тем, что, по словам Блока, «простер» над нею «совиные крыла». Лев Львович видел себя в роли реформатора. Причем не только политической системы, но и русской церкви, о чем недвусмысленно писал царю в том же сентябрьском письме 1912 года: «Когда же, Ваше Величество, Вы один, имеющий возможность положить конец этому великому злу – праздности русского народа (имелись в виду многочисленные православные праздники – *П. Б.*), – Вашим одним словом дадите России избавление от этой рабской зависимости народной, общественной и государственной жизни от авторитета Церкви, гнетом сковывающего Россию?!.. *Перестройте Церковь, Ваше Величество, властной рукой*!»

Интересно, что в письме 1905 года, напрашиваясь в тайные советники к царю (иначе нельзя это было расценить), Лев Львович обещал «бросить семью». Как это понимать? Если это была только риторическая фигура речи, она выдавала в потенциальном советнике заведомую нечуткость к характеру Его Величества. Николай II был хорошо известен как примерный и даже слишком заботливый семьянин. Все знали о причине влияния на него Григория Распутина, любимца императрицы и больного цесаревича. Но если это было сказано всерьез, то напрашивается вопрос: о какой семье шла речь? О Доре и детях? Или о семье отца, к которой принадлежал Лев Львович? Это не такой праздный вопрос, как может показаться. Ведь если бы тайным советником царя вдруг действительно оказался Лев Толстой-сын, ему пришлось бы многое пересмотреть в отношениях с тем, кто, по словам Суворина, колебал царский трон.

Скорее всего отец не знал, как далеко зашел его сын в отношениях с царем. Но письмо царю с предложением созыва Земского Собора он одобрил, прочитав его еще до отправки. Однако тон этого одобрения был весьма сомнительным.

«Милый Лёва, мама́ в Москве, и я получил твое письмо с письмом к государю. Письмо хорошо. Только папа́ благоразумнее и учтивее нас: он прежде спросил: желает ли царь выслушать его совет? Разумеется, созвать собор было бы самое благоразумное, но едва ли возможно ожидать от них благоразумия».

Под «папой» имелся в виду недавно избранный на престол Папа Римский Пий X, который прислал к русскому царю двух своих гвардейцев спросить: не может ли он помочь ему советом в это трудное время? Толстого восхитила деликатность этого поступка. 18 января 1905 года, обсуждая это среди близких в

Ясной Поляне, он заметил: «Вот надо учиться – сначала спросить, а не прямо письма писать с советами».

Толстой словно забыл, что его первым политическим жестом было письмо Александру III весной 1881 года, в котором он *советовал* царю не казнить террористов, убийц его венценосного отца. Тогда, как и в 1905 году, ситуация была критической: от того или иного решения молодого царя зависел путь, по которому пойдет Россия. И Толстой не спрашивал через кого бы то ни было: желает ли император выслушать его совет? Напротив, через Страхова и свою тетушку-фрейлину он *добивался*, чтобы письмо попало к царю несмотря на противодействие Победоносцева. Таким же образом он действовал, когда в девяностые годы написал Николаю II о гонениях на «духоборов». Вообще письма Толстого царям, как закрытые, так и публичные, были не редким явлением. И он никогда перед этим не проводил «разведки»: желают ли цари слушать его, Льва Толстого? Почему же к порыву своего сына он отнесся настолько иронически?

Тому было две причины. Первая – он не верил в Земский Собор. Толстой считал, что Собор необходим, прежде всего, самому Николаю, чтобы сохранить царствование и продолжать войну или заключить мир, заручившись поддержкой представителей широких слоев населения. Но ни в парламентский образ правления, ни в конституцию он не верил и даже считал их вредными, отвлекающими от главного.

«Конституция будет означать отвлечение внимания от земельного вопроса и от самоусовершенствования, – говорил Толстой в кругу близких. – Мы, русские, счастливы, что ясно сознаем негодность правительства».

Вторая причина была та, что он не верил в своего сына как царского советника. Отсюда его нескрываемая ирония: кто такой его сын Лёва, чтобы советовать царю, если Папа Римский не решается делать это прямо!

После встречи Льва Львовича и Николая II Толстой записал в дневнике: «Лёва был у царя, и я рад этому. Странно сказать, что это *совсем* освободило меня от желания воздействовать на царя».

Толстой «умывал руки». Он как бы предоставлял право двум, с его точки зрения, не слишком умным, но самонадеянным людям, царю и Лёве, решать безнадежные вопросы. А сам при этом оставался на недосягаемой духовной высоте. Политические вопросы мало волновали Толстого. Его, как и всё русское крестьянство, волновал вопрос о земле, а как философа – о нравственном совершенствовании. Приехавшего к нему в январе 1905 года слесаря-кустаря и общественного деятеля Александра Генриховича Штанге, у которого был свой проект созыва Земского

Собора, он направил к тому же Льву Львовичу, сказав на прощание: «Желаю вам, чтобы вы подействовали на добрых людей». О Соборе он выразился однозначно: «Земский собор нужен царю, это его дело». На вопрос Штанге, как жить в трудное для России время, он сказал: «Всё жить».

В том же году с политической сцены окончательно сходит его главный идеологический противник при дворе Константин Петрович Победоносцев. Манифест 17 октября он принял как личное оскорбление и покинул все свои должности: Обер-прокурора Синода, члена кабинета министров, статс-секретаря и сенатора, сохранив номинальное членство в Государственном совете. Через два года он уйдет из жизни. Но прежде успеет показать свое влияние на последнего императора. Когда князь Святополк-Мирский попросит Николая не приглашать Победоносцева на правительственное совещание в декабре 1904 года, где, в частности, решался вопрос о введении в Госсовет выборных представителей, царь поступил ровно наоборот: пригласил его специальной запиской: «Мы запутались. Помогите нам разобраться в нашем хаосе».

Выступлении Победоносцева, в котором он напомнил царю, что его власть дана от Бога и он не вправе ее ограничивать, навсегда закрыло эту политическую тему. Вернувшись с совещания в министерство, Святополк-Мирский заявил своим сотрудникам: «Всё провалилось… Будем строить тюрьмы…»

По некоторым сведениям свидание царя с Толстым-младшим устроил Святополк-Мирский, надеясь оказать на Николая влияние громким именем визитера. Но, согласно воспоминаниям Льва Львовича, царь принял его равнодушно.

«Десяток швейцаров встретили меня в передней, в их числе царский негр. В маленькой приемной я ждал не более десяти минут, и вот дежурный адъютант граф Граббе уже отворяет мне дверь в кабинет Николая II. Небольшая, скромно обставленная комната, стол с бумагами, полки, два, три кресла – вот вся обстановка».

Лев Львович сходу заговорил о Земском Соборе, убеждая царя, что нужна именно такая «русская форма парламента».

«Да, – перебил меня государь, – и я хочу парламент, но именно в русском духе».

«Он подчеркнул эти слова, хотя вся фраза была сказана таким тоном, как будто царь только уступал общественному мнению, но не видел сам необходимости этого. Не было серьезного отношения к той мере, которая сознавалась тогда всей страной».

Лев Львович выразил надежду, что в Соборе крестьянство будет иметь преобладающее значение.

«Я думаю прежде всего о крестьянах, – сказал государь, – для меня это главная забота».

Затем царь вынул портсигар и закурил папиросу.

«Вы курите? – спросил он. – Нет, Ваше Величество, я оставил. Я в настоящее время веду очень гигиенический образ жизни, сплю с открытыми окнами даже зимой, хожу на лыжах, беру холодные ванны. Без здоровья тела нет здорового духа…» «А мясо? – спросил государь. – Ваш отец – вегетарианец?» – «Отец – да, – ответил я, – а я пробовал четыре года и опять вернулся к мясоедению». – «Мне мясо необходимо, – сказал царь, – я без него слабею. Мне оно нужно для здоровья». Видимо, этот вопрос интересовал государя».

Разговор шел вяло. Но вдруг кто-то зашумел за дверью, и царь преобразился! «Лицо его оживилось и, главное, глаза заблистали, и он встал. Он ничего не сказал мне, но я понял, что это наследник, прибегавший за отцом… Аудиенция была окончена…»

27 января 1905 года Николай II писал в дневнике: «Погулял до завтрака. В $2^1/_2$ принял гр. Льва Толстого-сына».

Кроме этого ничего не известно о его мыслях на этот счет.

Впоследствии Лев Львович неоднократно писал царю политические и в то же время глубоко личные письма. Он убеждал его продолжать русско-японскую войну до победного конца, прогнать Витте и Распутина, не допускать автономии низшей, средней и высшей школ и провести реформу православной церкви. Он, наоборот, советовал ему не ввязываться в русско-германскую войну: «Сохрани Боже становиться на пошлую точку зрения в наше время, – защиту братушек».

Но лейтмотив этих писем был такой: «Призовите меня, Государь!»

За полгода до отречения Николая в атмосфере общей измены его окружения он молил:

«Ваше Императорское Величество,

Неудержимо стремлюсь послужить Вам. Едва удерживаю себя, чтобы не поехать к Вам в Ставку, чтобы как-нибудь добраться до Вас, стать перед Вами на колена и молить Вас оставить меня при Вашем Величестве, в качестве хоть Вашего низшего слуги».

И ведь он совсем не был закоренелым монархистом по убеждениям. Категорически отмежевался от партии «Союз русского народа», когда она пыталась привлечь его на свою сторону Здесь было что-то другое… Может быть, поиск *второго отца*? Но такого отца, который бы не давил на него своим могучим авторитетом, но слушался его, Льва Львовича, мнения? Ведь Николай II был старше сына Толстого всего на один год…

Впрочем, всё это не имело никакого смысла.

Отношение Николая к семье Толстых было исчерпывающе выражено в резолюции от 20 декабря 1911 года, когда Софья Андреевна, а затем и Лев Львович обратились к нему с просьбой приобрести Ясную Поляну в государственную собственность, чтобы организовать в ней музей Толстого. *«Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимою. Совету министров обсудить только вопрос о размере могущей быть назначенной вдове пенсии».*

Глава девятая
Бюст отца

Я вылепил большой бюст папá, не хуже Ге и Репина, по сегодня сломал, так как плохая глина высохла и потрескалась…

Из письма Льва Львовича родителям

Толстой против

В марте 1900 года дочери Толстого Татьяне Львовне, тогда уже носившей фамилию Сухотина, делали повторную операцию по вскрытию лобной полости – она страдала хроническим гайморитом. Для медицины того времени такая операция была непростой; первую она делала не в России, а в Вене. Вторую – сделал в Москве профессор фон Штейн.

Родители переживали за Татьяну и ожидали конца операции в клинике. Туда же, не выдержав волнения, прибежала и самая младшая дочь Саша. В воспоминаниях она описала момент, когда отца позвали посмотреть на Татьяну.

«Отец сидел рядом с операционной и ждал. Вдруг дверь открылась и с засученными рукавами, в белом халате вышел фон Штейн.

– Лев Николаевич, хотите посмотреть на операцию?

На столе захлороформированная, без сознания лежала Таня, бледная как смерть. Кожа на лбу была разворочена, череп пробит, лицо в крови. Отец побледнел и зашатался. Его подхватили под руки».

Вечером Софья Андреевна рассказывала об этом дома и возмущалась. Так со Львом Николаевичем поступать было нельзя! Он хотя и бывший боевой офицер, видевший много страданий в осажденном Севастополе, и даже описавший в одном из севастопольских очерков, как солдатам в наскоро оборудованной операционной в непрерывном режиме ампутируют конечности («Севастополь в декабре месяце»), – перенести зрелища окровавленной дочери не мог. Да и возраст был уже не тот.

В конце жизни восприятие Толстым всего телесного, плотского, грубо материального становится крайне болезненным. Любые физические мучения и всякий вид насильственной смерти вызывает в нем боль. Это порой доходит до смешного. Он выпускает на волю мышей, попавших в мышеловку, содрогается от вида раздавленной каблуком крысы и даже переживает из-за мухи, запутавшейся в оконной сетке и погибшей там. Отчасти это объясняется его мировоззрением, как и его вегетарианство: нельзя есть мяса, потому что нельзя убивать живые существа! Но трудно сказать: что здесь было первичным – разум или непосредственное чувство боли при виде чужих страданий? Во всяком случае убежденным вегетарианцем он становится после того, как посещает тульскую скотобойню и видит, как волам сначала с хрустом ломают хвосты, чтобы в состоянии болевого шока подвести под нож (статья «Первая ступень»).

При этом он не только не испытывает страха или отвращения к смерти, своей или близких, но ждет, радуется ей как величайшему и самому торжественному моменту *жизни,* когда до конца раскрывается духовное существо личности.

И если бы фон Штейн позвал Толстого посмотреть не на удачный, с точки зрения медика, результат операции, а на то, как в итоге неудачной операции Татьяна умирает, не было бы с ним никакого обморока. Жадный интерес, радость…

В начале сентября 1906 года сложную и опасную операцию по удалению гнойной кисты перенесла Софья Андреевна. Операцию пришлось делать прямо в яснополянском доме, потому что перевозить больную в Тулу было уже поздно. Так решил вызванный телеграммой известный профессор Владимир Федорович Снегирев, приехавший в Ясную Поляну с ассистентами и на всякий случай вызвавший из Петербурга еще и профессора Николая Николаевича Феноменова, который, впрочем, приехал, когда дело было уже сделано.

Снегирев был опытным женским хирургом, но делать операцию *жене Толстого*, да еще и в неподходящих условиях, конечно, означало рисковать и брать на себя огромную ответственность! Поэтому он несколько раз буквально допрашивал Толстого: дает ли тот согласие на операцию? Реакция Толстого неприятно поразила врача: сначала тот ответил отказом, а затем «умыл руки», предоставив решать этот вопрос самой жене и сыновьям. Вообще, в воспоминаниях Снегирева об этом событии, опубликованных в 1909 году то есть еще при жизни Толстого, чувствуется едва сдерживаемое раздражение на главу семьи и писателя, перед гением которого профессор преклонялся. (Колеблясь в решении делать операцию, он, между прочим, думал о том, как ее исход повлияет «на жизнь и деятельность Льва Николаевича»).

Профессор загонял Толстого в угол прямым вопросом: согласен ли он на рискованную операцию над его женой, в результате которой она, возможно, умрет, но без которой умрет без сомнения? Причем умрет в ужасных мучениях.

Сначала Толстой был против. Он почему-то уверил себя в том, что Софья Андреевна непременно умрет. И, по словам Саши, он «плакал не от горя, а от радости».

Его восхитило, как жена вела себя в ожидании смерти. «С громадным терпением и кротостью мама́ переносила болезнь. Чем сильнее были физические страдания, тем она делалась мягче и светлее, – вспоминала Саша. – Она не жаловалась, не роптала на судьбу, ничего не требовала и только всех благодарила, всем говорила что-нибудь ласковое. Почувствовав приближение

смерти, она смирилась, и всё мирское, суетное отлетело от нее».

Вот это духовно прекрасное, по убеждению Толстого, состояние жены и хотели нарушить приехавшие врачи, которых, в конце концов, собралось восемь человек.

«Полон дом докторов, – с неприязнью пишет он в дневнике. – Это тяжело: вместо преданности воле Бога и настроения религиозно-торжественного – мелочное, непокорное, эгоистическое». При этом он чувствует к жене «особенную жалость», потому что она в эти минуты «трогательно разумна, правдива и добра». «Как умиротворяет смерть! Думал: разве не очевидно, что она раскрывается и для меня, и для себя; когда же умирает, то совершенно раскрывается и для себя. – “Ах, так вот что!” – Мы же, остающиеся, не можем еще видеть того, что раскрылось для умирающего. Для нас раскроется после, в свое время…»

Он пытается объяснить Снегиреву: «Я против вмешательства, которое, по моему мнению, нарушает величие и торжественность великого акта смерти».

Снегирев же справедливо негодует. Он хотя и уверен в необходимости операции, но понимает, что в случае неблагоприятного исхода вся тяжесть ответственности ляжет на него. Будут говорить и даже писать, что он «зарезал» жену Толстого против воли ее мужа. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, это будет означать конец его врачебной репутации.

А Софья Андреевна в это время невыносимо страдает от начавшегося абсцесса. Ей постоянно впрыскивают морфий. Она зовет священника, но когда тот приходит, она находится в бессознательном состоянии. Затем, по свидетельству Маковицкого, начинается смертная тоска. А Толстой ни “за”, ни “против”. Он говорит Снегиреву: «Я устраняюсь… Вот соберутся дети, приедет старший сын, Сергей Львович… И они решат, как поступить… Но, кроме того, надо, конечно, спросить Софью Андреевну».

Между тем в доме становится людно. «Съехалась почти вся семья, – вспоминала Саша, ставшая хозяйкой на время болезни мама, – и, как всегда бывает, когда соберется много молодых, сильных и праздных людей, несмотря на беспокойство и огорчение, они сразу наполнили дом шумом, суетой и оживлением, без конца разговаривали, пили, ели. Профессор Снегирев, тучный, добродушный и громогласный человек, требовал много к себе внимания… Надо было уложить всех приехавших спать, всех накормить, распорядиться, чтобы зарезали кур, индеек, послать в Тулу за лекарством, за вином и

рыбой (за стол садилось больше двадцати человек), разослать кучеров за приезжающими на станцию, в город…»

Возле постели больной – посменное дежурство, и Толстому там делать нечего. Но время от времени он приходит к жене. «В 10.30 вошел Л. Н., – пишет Маковицкий, – постоял в дверях, потом столкнулся с доктором С. М. Полиловым, поговорил с ним, как бы не осмеливаясь вторгнуться в царство врачей, в комнату больной. Потом вошел тихими шагами и сел на табуретку подальше от кровати, между дверью и постелью. Софья Андреевна спросила: “Кто это?” Л. Н. ответил: “А ты думала кто?” – и подошел к ней. Софья Андреевна: “А ты еще не спишь! Который час?” Пожаловалась и попросила воды. Л. Н. ей подал, поцеловал, сказал: “Спи” и тихо вышел. Потом в полночь еще раз пришел на цыпочках».

«Во время самой операции он ушел в Чепыж и там ходил один и молился», – вспоминал сын Илья.

Перед уходом он сказал: «Если будет удачная операция, позвоните мне в колокол два раза, а если нет, то… Нет, лучше не звоните совсем, я сам приду…»

Операция шла успешно. Впрочем, гнилым оказался кетгут, которым зашивали рану. Профессор во время операции самыми бранными словами ругал поставщика: «Ах ты немецкая морда! Сукин сын! Немец проклятый…»

Опухоль, размером с детскую голову, показали Толстому. «Он был бледен и сумрачен, хотя казался спокойным, как бы равнодушным, – вспоминал Снегирев. – И, взглянув на кисту, ровным, спокойным голосом спросил меня: «Кончено? Вот это вы удалили?»

Но когда он увидел жену, отошедшую от наркоза, он пришел в ужас и вышел из ее комнаты возмущенным.

«Человеку умереть спокойно не дадут! Лежит женщина с разрезанным животом, привязана к кровати, без подушки… стонет больше, чем до операции. Это пытка какая-то!» – говорил он.

Когда Софье Андреевне стало лучше, Толстой заметно повеселел, но всё равно чувствовал себя как будто кем-то обманутым.

«Ужасно грустно, – пишет Толстой в дневнике. – Жалко ее. Великие страдания и едва ли не напрасные».

Со Снегиревым они расстались сухо.

«Он был мало разговорчив, – вспоминал профессор свое прощание с Толстым в его кабинете, – сидел всё время нахмурившись и, когда я стал с ним прощаться, даже не привстал, а, полуповернувшись, протянул мне руку, едва пробормотав

какую-то любезность. Вся эта беседа и обращение его произвели на меня грустное впечатление. Казалось, он был чем-то недоволен, но ни в своих поступках и поведении или моих ассистентов, ни в состоянии больной причины этого недовольства я отыскать не мог. Обсудивши всё, я приписал это мрачное состояние его усталости и измученности».

Прекрасная смерть

Неловкость прощания Толстого со Снегиревым, который спас его жену от смерти, подарив ей еще тринадцать лет жизни, можно объяснить одним, хотя и довольно странным обстоятельством. Толстой, разумеется, не желал смерти жены. Предположить такое было бы не только чудовищно, но и неверно фактически. И дневник Толстого, и воспоминания дочери Саши говорят о том, что он *радовался* выздоровлению Софьи Андреевны. Во-первых, он действительно любил и ценил ее и был привязан к ней сорокалетней совместной жизнью. Во-вторых, выздоровление Софьи Андреевны означало, что яснополянская жизнь возвращалась в свое привычное русло, а для Толстого с его рациональным и систематическим образом жизни, да еще в виду его возраста, это было насущно необходимо. И хотя, по словам Саши, «иногда отец с умилением вспоминал, как прекрасно мама́ переносила страдания, как она была ласкова, добра со всеми», это нисколько не означало, что он не радовался ее спасению.

Дело было в другом. Толстой чувствовал себя *духовно* уязвленным. Он настроился на то, чтобы встретить смерть жены как «раскрывание» ее внутреннего существа, а вместо этого получил от Снегирева гнойную кисту размером в детскую голову. Толстой казался спокойным при виде этой кисты, но на самом деле испытал сильнейшее духовное потрясение. Потому что вот *эта гадость* была истинной причиной страданий жены.

Как всё просто…

Толстой чувствовал себя проигравшим, а Снегирева – победителем. Скорее всего, Снегирев понял это, судя по тональности его воспоминаний. И поэтому Толстой не мог без фальши выразить горячую благодарность врачу за спасение жены. Его расставание с ним очень напоминало первую встречу с Вестерлундом. Да, шведский врач спас его сына от смерти. Да, Лёва в тот момент был счастлив. Но это в глазах Толстого лишь временная победа материального над духовным. Она не имела для него настоящей цены. Всё это в глазах Толстого было признаком животной природы человека, от которой он сам, приближаясь к смерти, испытывал всё большее и большее отторжение. Он понимал, что ему самому придется с *этим* расставаться, *это всё* будет сложено в его гроб, а *что* останется после этого? Вот что волновало его! Вот о чем он непрерывно думал!

Этим объясняется и следующее место из воспоминаний Саши: «Мама́ возобновила свои занятия: играла на фортепиано одна и с

Наташей Сухотиной в четыре руки, шила, суетилась по дому, иногда уезжала в Москву Материальные дела снова затянули ее. Снова начались заботы о хозяйстве, издательстве, о том, что всегда так тяжело отражалось на жизни отца».

И надо же так случиться, что спустя всего два месяца после удачной операции Софьи Андреевны и связанного с этим разочарования Толстого самая любимая его дочь Маша неожиданно скоропостижно скончалась от воспаления легких. Ее смерть была такой внезапной и стремительной при абсолютной беспомощности врачей, и она так напоминала смерть Ванечки, что невольно закрадывается мысль: не подарила ли Маша отцу эту смерть? Во всяком случае суеверная Софья Андреевна всерьез считала, что это она, «ожив после опасной операции», «отняла жизнь у Маши» (из письма Лидии Веселитской).

В холодный ноябрьский день Маша с мужем Николаем Оболенским, братом Андреем и другом семьи Юлией Игумновой пошла на прогулку. Они с мужем задержались в Ясной Поляне из-за странного анонимного письма, пришедшего из их имения Пирогово, где было сказано, что мужики собираются убить Николая. Это было серьезное предостережение в виду того, что в России в то время шли повальные грабежи и поджоги помещичьих усадеб – так называемые «грабижки», вызванные первой русской революцией. Когда они возвращались, подул сильный ветер. Маша озябла. К вечеру сделался жар. Вызвали из Тулы доктора Афанасьева. Затем из Москвы – Щуровского. Но все усилия врачей были напрасны.

Маша сгорела за несколько дней. «Она не могла говорить, только слабо по-детски стонала, – вспоминала Саша. – На худых щеках горел румянец, от слабости она не могла перевернуться, должно быть, всё тело у нее болело. Когда ставили компрессы, поднимали ее повыше или поворачивали с боку на бок, лицо ее мучительно морщилось, и стоны делались сильнее. Один раз я как-то неловко взялась и сделала ей больно, она вскрикнула и с упреком посмотрела на меня. И долго спустя, вспоминая ее крик, я не могла простить себе неловкого движения…»

Атмосфера этого события сильно отличалась от того, что происходило в Ясной Поляне два месяца назад. Врачей было мало… Никто из родных не шумел, не суетился… Толстого ни о чем не спрашивали… Илья Львович пишет в воспоминаниях, что «ее смерть никого особенно не поразила». В дневнике Татьяны Львовны короткая запись: «Умерла сестра Маша от воспаления легких». В этой смерти не увидели чего-то ужасного. А умерла молодая тридцатипятилетняя женщина, поздно вышедшая замуж и не успевшая вкусить настоящего семейного счастья.

Почему-то смерть этой женщины сравнивали со смертью семилетнего Ванечки… «Глядя на нее, я вспоминала Ванечку, – писала Саша, – на которого она теперь была особенно похожа. Точно так же бурная, беспощадная болезнь уносила ее, и было очевидно, что бороться бесполезно. Лицо у Маши было важное и чуждое, только тело ее оставалось с нами, душа как будто отлетела. И так же, как когда умирал Ванечка, мне казалось, что он знает что-то нам недоступное, значительное».

Девять дней все ждали этой смерти, бессильно опустив руки. Когда больную, наконец, прошиб пот, Саша бросилась к доктору. «Доктор! Доктор! Она потеет! – Доктор безнадежно махнул рукой. – Пот, да не тот! – не поднимая головы, буркнул он».

Софья Андреевна писала сестре: «Никакие меры не ослабляли болезни… Она бредила, редко опоминалась, чтоб сказать что-нибудь ласковое кому-нибудь из нас; была покорна, кротка… В день смерти она вдруг стала плакать, обняла мужа, но ничего не сказала. Только позднее едва внятно произнесла: “Умираю”. Вечером Маша стала реже и труднее дышать, подняла руки, и ее посадили. Нельзя никогда забыть вида всего ее трогательного существа: голову она склонила набок, глаза закрыты, выражение лица такое нежное, покорное, духовное и внешне грациозное… Папа держал ее руку».

Описание смерти дочери в дневнике Толстого словно является продолжением описания смерти жены, которая по причине вмешательства врачей не состоялась. «Сейчас, час ночи, скончалась Маша. Странное дело. Я не испытываю ни ужаса, ни страха, ни сознания совершающегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя… Да, это событие в области телесной и потому безразличное. Смотрел я всё время на нее, как она умирала: удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающимся перед моим раскрыванием существо. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области (жизни) прекратилось, то есть мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрылось, то есть. “Где? Когда?” – это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной, внепространственной и вневременной жизни».

По свидетельству Маковицкого, за десять минут до смерти Толстой поцеловал своей дочери руку.

Умирая в Астапове, он звал ее. Сергей Львович, сидевший у постели отца накануне смерти, пишет: «В это время я невольно подслушал, как отец сознавал, что умирает. Он лежал с закрытыми глазами и изредка выговаривал отдельные слова из занимавших его мыслей, что он нередко делал, будучи здоров,

когда думал о чем-нибудь, его волнующем. Он говорил: «Плохо дело, плохо твое дело…» И затем: «Прекрасно, прекрасно». Потом вдруг открыл глаза и, глядя вверх, громко сказал: «Маша! Маша!» У меня дрожь пробежала по спине. Я понял, что он вспомнил смерть моей сестры Маши».

Но тело дочери, по воспоминаниям Саши и Ильи, он проводил только до въезда в усадьбу, до каменных столбов; по свидетельству же Софьи Андреевны – до конца деревни. «У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. Я посмотрел ему вслед: он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся…» – вспоминал Илья Львович.

Не приехал

Льва Львовича не было в Ясной Поляне ни когда делали операцию матери, ни когда болела и умирала сестра Маша. Прощаясь на всякий случай со всеми собравшимися тогда в имении детьми, Софья Андреевна с любимым сыном была вынуждена попрощаться в письме. Но и винить его за это было нельзя. Лев Львович в это время находился в Швеции, где Дора ожидала рождения шестого ребенка. 22 октября 1906 года в Энчёпинге родилась их первая дочка Нина.

Сложнее понять его отсутствие во время смерти и похорон Маши. 17 ноября 1906 года Лев Львович приехал в Ясную Поляну, а уже 20-го покинул ее, отправившись в Петербург. Но как раз 20 ноября Софья Андреевна записывает в «Ежедневнике»: «Очень плоха Маша; жар к вечеру 40 и 8. Камень на сердце, жалко ее и страшно за нее. В доме тихо и печально…»

27 ноября она скончалась.

С Машей Льва Львовича связывала самая близкая и доверительная детская дружба. Маша была младше его на два года. Точно также на два года младше своего брата Льва Николаевича была его сестра Мария Николаевна. После родов дочери Маши в 1830 году их мать, тоже Мария Николаевна, вскоре скончалась. А Софья Андреевна после родов Маши едва не умерла от родовой горячки. Это была череда случайных совпадений, как и то, что оба Льва, отец и сын, в раннем детстве были вынуждены играть и делиться первыми секретами не со старшими братьями, а с младшими сестрами. Так вышло. Ведь старшие братья были «big ones» (большими), а младшие со своими сестрами Машами «little ones» (маленькими).

Льву Львовичу в детстве перепало гораздо больше материнской ласки, чем Марии Львовне. После болезни, связанной с родами дочери, и первой серьезной размолвки с мужем из-за совета врачей не иметь больше детей, Софья Андреевна не слишком баловала Марию нежным отношением, в отличие от Лёвы. «Она рассказывала, как они росли с Лёвой, с которым были погодками, и как мама́ всю свою привязанность, заботу и нежность отдавала ему, а Маша, худенькая, некрасивая, чувствовала себя одинокой, обиженной, – вспоминала Саша. – На меня произвел большое впечатление рассказ сестры о том, как мама́ заставляла их с Лёвой шить мешочки и за каждый мешочек обещала заплатить по гривеннику. Денег у них не было и гривенник казался целым богатством. Маша изо всех сил старалась и хорошо, аккуратно сшила свой. Лёва сшил небрежно.

И вот мама́ дала Лёве гривенник, а про Машу забыла. Маша плакала, но напомнить матери побоялась».

Почему он оставил больную сестру? Какие срочные дела были у него в Петербурге? Зачем он приезжал к родителям на три дня? Ответы на эти вопросы, возможно, найдет будущий биограф Льва Львовича. Но с какого-то времени Лев Львович, самый чуткий и внимательный из сыновей, не оказывается рядом с родными в критические моменты их жизни. Он разрывается между Ясной Поляной, Петербургом и Швецией. В Петербурге у него насыщенная общественная жизнь. Каждое лето Дора с детьми проводит в имении родителей, и Лев Львович должен находиться с ними. Старая семья поневоле отступает на второй план.

Вскрыть нарыв

Но при этом его неудержимо тянет в Ясную Поляну! В 1906 году он приезжает трижды: весной – один, затем летом – с Дорой и детьми. И, наконец, осенью… Каждое из этих посещений отмечено напряженными отношениями с отцом. Нельзя сказать, что они враги. Но им нехорошо друг с другом. Оба это чувствуют, и от того отношения получаются еще более неловкими, натянутыми.

В поведении Льва Львовича возникает какой-то неприятный элемент *демонстративности.* Так, находясь в Ясной Поляне летом 1906 года, он и брат Андрей демонстративно встают из-за обеденного стола и уходят, когда отец вслух читает письмо молодого крестьянина из Полтавской губернии. Их раздражает преклонение Толстого перед крестьянством в то время, как они жгут и грабят помещичьи усадьбы. И Лев, и в особенности Андрей решительно настроены за подавление крестьянских мятежей и смертные казни. В конце концов, на этой почве происходит их стычка с отцом. Толстой пишет в Пирогово дочери Марии в июле 1906 года:

«Дошел до того, что два дня тому назад вышел из себя вследствие разговора с Андреем и Львом, которые мне доказывали, что смертная казнь хорошо… Я сказал им, что они не уважают, ненавидят меня и вышел из комнаты, хлопая дверями, и два дня не мог прийти в себя. Нынче, благодаря молитве Франциска Асизского и Иоанна: “не любящий брата, не знает Бога” опомнился и решил сказать им, что я считаю себя очень виноватым (и я очень виноват, т. к. мне 80 лет, а им 30) и прошу простить меня. Андрей в ночь уехал куда-то, так что я не мог сказать ему, но Льву, встретив его, сказал, что виноват перед ним и прошу простить меня. Он ни слова не ответил мне и пошел читать газеты и весело разговаривать, приняв мои слова как должное. Трудно. Но чем труднее, тем лучше…»

Андрей Львович, военный и убежденный монархист, порой ведет себя откровенно грубо. А посторонним может сказать, что если бы отец не был его отцом, он бы его «повесил». Лев Львович такого себе, конечно, не позволяет… Но он постоянно демонстрирует отцу свою независимость. Например, Маковицкий описывает такую сцену: «После обеда играли в лаун-теннис, и Л. Н. немного играл. Лев Львович подавал ему так низко и в такие места, что Л. Н. не мог принимать, а так хотелось! И здесь проявился характер Льва Львовича. Поэтому Л. Н. бросил скоро играть».

Трудно сказать, чье поведение больше раздражало отца. К Андрею он относился теплее, чем ко Льву. Прямой, «солдафонский» характер Андрея был ему менее неприятен, чем «тактические» приемы Лёвы.

В день ожидаемого приезда Льва Львовича в ноябре 1906 года отец испытывает сильное душевное волнение. Он пишет в дневнике: «Нынче приезжает Лёва. Буду работать над собой и запишу результаты. Боюсь. Я уже теперь плох». А после отъезда сына с облегчением замечает: «С Лёвой было хорошо и не только без зла, но зарождается любовь и жалость». И это просто поразительно! В семьдесят восемь лет у отца *зарождается* любовь к тридцатисемилетнему сыну.

Его больше всего выводит из себя самонадеянность сыновей. «Какая язва их общая самоуверенность! Как они много лишаются от этого», – пишет он в дневнике.

Но Лев Львович уже положил себе за правило не просто спорить с отцом в домашней атмосфере, не вынося сора из избы, но и откровенно воевать с ним в печати. В январе 1907 года в газете «Голос Москвы» появляется его статья «Отрицание или самосовершенствование?»

Строго говоря, это донос на отца.

На самом деле «доносить» на Толстого было уже поздно. Это не имело никакого смысла. Все его взгляды были хорошо известны и обсуждались в печати. Но это было не «обсуждение в печати». Это был голос сына.

Сочинения Толстого, писал он, «не выражают истинных взглядов их автора». «В глубине души отец мой, может быть, всегда за земную власть», но «таит это свое убеждение». То есть, попросту говоря, лицемерит. Зачем-то Лев Львович вспомнил знаменитое предсмертное письмо Тургенева, в котором тот «умоляет его вернуться к художественной работе и оставить религиозно-социальную проповедь. Не был ли забытый у нас на время Тургенев глубоко прав?» Наконец, в адрес отца прозвучало главное обвинение. Именно Толстой виноват в русской революции!

«…отрицательная проповедь Льва Николаевича имела в России пагубное влияние. Это влияние распространилось на всю широкую русскую жизнь, проникло во все ее углы и сферы и заразило массы. В войско, в суд, в народную жизнь, в науку, в стены учебных заведений, в самую правительственную машину, всюду оно несло с собой зерно сомнений и пошатнуло этим сомнением весь государственный строй», – писал сын Толстого.

Здесь не место для обсуждения этой проблемы. О том, что русская литература с ее «критическим реализмом» и

отрицательным отношением к государственному и общественному строю России виновна в революции, писали многие, особенно после катастрофы 1917 года. В наиболее отчетливой форме это выразил Николай Александрович Бердяев в своей знаменитой работе «Духи русской революции».

Он писал о Толстом: «Поистине Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Правда, насилия и кровопролития ужаснули бы Толстого, он представлял себе осуществление своих идей иными путями. Но ведь и Руссо ужаснули бы деяния Робеспьера и революционный террор. Но Руссо так же несет ответственность за революцию французскую, как Толстой за революцию русскую. Я даже думаю, что учение Толстого было более разрушительным, чем учение Руссо. Это Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России».

Лев Львович тоже сравнивал статьи отца с «вредным» влиянием Руссо: «Как Руссо был подготовителем французской революции, так Толстой был зажигателем – русской».

Все эти обвинения в адрес Толстого звучали неоднократно еще при его жизни. Ими была переполнена консервативная и церковная печать. Иоанн Кронштадтский уже в 1903 году назвал Толстого дьяволом во плоти и посулил ему самые страшные адские муки. На этом фоне выступление Льва Львовича звучало достаточно бледно. Но это был не кто-то, а сын Толстого. Это придавало статье совершенно иной вес, и автор должен был это осознавать.

Нельзя сказать, что он этого не понимал. Но представьте себя на его месте. Что делать, если он искренне не согласен с учением отца и считает его влияние вредным для России? Но при этом навеки «заклеймен» своим происхождением и именем. Вскоре после выхода статьи он попытался объясниться с отцом.

«Дорогой папа́, ты и Чертков говорили мне, что Вы не можете относиться не только с любовью, но даже терпимо к человеку, который с Вами не одних взглядов. Я этого не понимаю и продолжаю любить Вас обоих.

Я люблю тебя прямо, как кровного отца, – не воспитателя, – люблю тебя, как человека и писателя, но считаю и буду считать нужным говорить правду о твоих взглядах потому, что они слишком значительны, чтобы о них молчать. Я знаю, что этим врежу себе, в смысле популярности и любви нашего общества, я знаю, что меня кругом «ругают», по выражению Ильи, который здесь начал с того, что хотел меня «ругать», но потом отложил это дело до другого раза. Я знаю, что с точки зрения сыновей мне не следовало бы говорить об отце, но ты мне не только отец, а еще

человек и писатель, влиявший и влияющий на Россию и, так как Россия мне дороже всего, я считаю нужным твое влияние, поскольку оно вредно, ослаблять…

Главное то, что я не тебя осуждаю, не тебя не люблю, наоборот, чем дальше, тем больше буду любить, – а только известную часть твоих мыслей и их влияние на людей. Я считаю их дурными, вредными и развращающими людей…

Меня можно осуждать за то, что я пишу против тебя, а в то же время пользуюсь наследством, которое ты нам оставил и торгую твоими книжками…

Мне одинаково больно, как и тебе, что пришлось так поступать. Конечно, неприятно это и всем тем, кто нас знает. Но это нужно было сделать, на мой взгляд, и я даже не считаю себя в этом виноватым. Нужно было рассеять туман, вскрыть до конца нарыв…

Любящий тебя горячо сын Л. Л. Толстой».

В этом письме обращают на себя внимание слова: *рассеять туман* и *вскрыть нарыв*. О каком тумане и каком нарыве он говорил? Вряд ли он имел в виду убеждения папа́, всей России и миру известные. Речь шла о нарыве в душе самого Льва Львовича. Он не хотел признаться, что вместе с любовью в нем уже поселилась ненависть к отцу, и он ничего с ней не может сделать. Еще в 1905 году он писал об отце в дневнике:

«…он никогда не напишет о себе всей правды. Она ужасна… Отец в основе своей лжив. Боже, как он эгоистичен. Он помирит всех. А мать, дочь в темных, сырых комнатах дома, сам занимает его весь, но не видит своей эгоистичности. Он в этом ужасен. Что в нем хорошего? Пытливый, оригинальный ум, хотя в некоторых сторонах ограниченный. Страшно сильная борьба со своими пороками и талант художественный. Вот и всё. Но он недобрый, не вполне искренний, отчасти лживый, безгранично властолюбивый человек, – таким он умрет».

«Он *страшный* человек», – замечает в дневнике Лев Львович.

Шила в мешке не утаишь. Нараставшая нелюбовь к отцу сквозила в публичных выступлениях Льва Львовича. В начале того же 1907 года в своем издательстве при книжном магазине «Доброе дело» он выпустил «Памятку русского солдата», название которой откровенно перекликалось с «Солдатской памяткой» отца, написанной в 1901 году в Гаспре. Имя отца ни разу не называлось. Но весь текст был пронизан шпильками в его сторону. «В настоящей статье я хочу с моей стороны оставить русскому солдату памятку, как сделали это другие…» «Поэтому звание солдата не “постыдно” и не “безбожно”, как учат иные…» «Другие будут говорить ему, смущая его…»

И что в результате? «Памятку…» раскупали, думая, что она написана Львом Толстым-отцом. Люди просто не замечали, что она подписана: Лев *Львович* Толстой. Комитет по образованию войск согласился переиздать брошюру при условии, что автор «изменит ее заглавие ввиду того, что под тем же названием распространяется брошюра Графа Л. Н. Толстого, крайне вредного направления». И он согласился на это, изменив название на «Назначение русского солдата».

Получив «объяснительное» письмо от сына и зная о статье в «Голосе Москвы» и «Памятке русского солдата», Толстой, возможно, понял, что его отношения с Лёвой приобрели безнадежный характер.

«Вчера было письмо от сына Льва, очень тяжелое. Я прочел только начало и бросил. Я написал было ответ серебряных слов, но, успокоившись, предпочел золотые…» – отмечает он в дневнике.

Другими словами, он написал сыну ответное письмо. Но не стал его посылать. Молчание – золото. Но письмо сохранил, и поэтому мы знаем его содержание.

«Начал читать твое письмо, но, прочтя о том, что Чертков и я утверждаем, что мы не можем любить людей, не согласных с нами во мнениях, не стал читать дальше и так же буду поступать с другими твоими письмами.

Очень просил бы тебя, Лёва, *оставить меня в покое*…»

Помирились

По-видимому, сам Лев Львович стал понимать, что его вражда с отцом зашла слишком далеко. Она не приносила того общественного результата, на который он рассчитывал, и, говоря прямо, делала его посмешищем в глазах публики. Вряд ли ему нравились отклики на его выступления вроде того, что напечатали «Биржевые ведомости»: «У великого писателя земли русской Льва Толстого есть сын, тоже писатель, тоже Лев, но отнюдь не великий… Между Толстым-отцом и Толстым-сыном – дистанция огромного размера…»

Но главная проблема была даже не в этом. Без Ясной Поляны, без общения с родителями, с сестрами и братьями он чувствовал себя неприкаянным. Ему так и не удавалось свить свое гнездо.

В письме к мама́ из Петербурга от 7 марта 1908 года он жаловался: «Зовут всюду и все, и так как нельзя отказывать, ездишь, и так, тоже в суете, проходит время. Но у вас есть солнце, снег и природа, а здесь ничего этого нет и не на чем отдохнуть. Я чувствую себя скверно душой и телом. Стал совсем старый и седой и веду глупую, вредную жизнь».

Частые жалобы сына на свою неприкаянность побудили Софью Андреевну ответить ему: «Милый друг Лёва, я совсем не в упрек тебе написала, что меня пугает твоя неустойчивость и нервность. А просто от моей материнской заботы о всех вас; хотелось бы, чтобы всем вам было хорошо, чтоб вы спокойно удовлетворились тем, что посылает вам судьба.

Твоими жалобами о том, что *у бедного Лёвы нет летнего местопребывания*, я не очень растрогалась. Когда есть в Ясной Поляне прекрасный флигель и природа и когда есть в Швеции прекрасная милая и гостеприимная семья, всегда радующаяся вашему пребыванию с ними, – то это уж не так трагично.

Что *жизнь разрывается надвое* – это тяжело, я совершенно с этим согласна, но бывает положение хуже; слава Богу и за то, что есть. Сам ты живешь хорошо, дельно, содержательно, и это должно тебя удовлетворять. Без труда и неприятностей ничего не дается…»

В первой половине апреля 1908 года Лев Львович находится в Ясной Поляне. Его приезды к родителям в одиночестве, без семьи, уже не смущают никого. В этот раз они помирились с отцом. Лев Львович, кажется, впервые заметил то, что Софья Андреевна, по понятной причине, заметила гораздо раньше. Толстой изменился. Он стал абсолютно далек от земных страстей и желал только одного: ни с кем не ссориться, со всеми жить в любви и согласии.

В Ясной Поляне Лев Львович набросал «Заметки об отце», в которых, между прочим, отметил, что у Толстого «ослабела память». «Он забывает фамилии знакомых и путает имена писателей. Вчера в разговоре со мной и сестрой Таней он спутал Ибсена с Бьёрсоном, хотя потом вспомнил и различил обоих. Он забыл фамилию Эрдели, мужа нашей двоюродной сестры, раньше гостившего подолгу в Ясной Поляне. Он не сразу вспомнил Мопассана, когда мы говорили о вышедшей его биографии».

Проблема на самом деле была очень серьезной. У Толстого начались обмороки и провалы в памяти. Случалось, что он не узнавал детей и внуков, путал голос сына Льва с голосом брата Мити, который скончался полвека назад, а потом всерьез спрашивал: «Правда, что здесь был брат Митенька?» Когда он садился за обеденный стол, все с ужасом замечали, что он силится припомнить, кто сидит вместе с ним, и не всех узнает.

«Зато у отца стало гораздо больше чувствительности к интересам всех людей вообще, – пишет Лев Львович. – Он боится огорчить кого бы то ни было, он совершенно никого не осуждает, он интересуется сторонами жизни других людей, которые раньше как будто совсем не трогали его и для него не существовали. Он спрашивал меня, например, о моем материальном положении, расспрашивал о моем доме, о книжном магазине, о доходах. Это в первый раз, кажется, с тех пор, как живу самостоятельно».

Когда Лев Львович уехал, отец написал ему письмо, после которого, казалось, все недоразумения между ними были исчерпаны раз и навсегда.

«Целый день нынче кажется, что слышу твой голос и, когда вспомню, что тебя уже нет, становится грустно, но приятно, любовно грустно… Прощаясь с тобой, мы ничего не могли бы сказать лучше тех глупых слез, которые душили наши слова и которые сейчас мне выступают на глаза, вспоминая тебя. Да, милый Лёва, большое нам дано счастье – любить, особенно после того, как сами себя лишали его. Целую тебя, Дору, детей… Л. Т.».

Поворот судьбы

В 1908 году в биографии Льва Львовича случилось событие, круто изменившее его жизнь и наполнившее ее новым смыслом. Неожиданно для всех и для самого себя он открыл в себе талант скульптора.

Это вышло случайно. Почти каждое лето проводя с семьей в шведском имении, он скучал. Может быть, шведы и были самыми правильными людьми на земле, но от их правильности делалось тоскливо. «Семья моей жены была мало развита и мало интеллигентна, особенно в литературном смысле, и мне не хватало духовной и умственной атмосферы, к которой я привык в Ясной», – писал он в воспоминаниях. В связи с этим однажды появилось стихотворение:

Я всё один, окно раскрыто,
И ветер за окном шумит,
Мне грустно, сколько пережито,
И на душе тоска щемит.
Чем жить? Скажи мне ветер южный.
Как мыслить? Ты, небес простор!
Скажи мне в этот час досужный
И ты, шумящий, старый бор.
Ответа нет, гудит дубрава,
Сосна и ель иглой шуршат.
Ответа нет, – в душе отрава,
И цепи узника гремят.

И вот в состоянии скуки и тоски по родине «в одно прекрасное утро стал вместо писания лепить из глины всё, что приходило мне в голову». Он нарыл в канаве синей глины и, чтобы развлечь детей, вылепил им куклу. Это занятие так его увлекло, что он вылепил русского солдата, Пушкина в юности и бюст племянника жены в натуральную величину. Осенью 1908 года он вылепил бюст отца, но вынужден был сломать из-за плохой глины.

Для создания бюста был повод. 28 августа 1908 года отцу исполнилось восемьдесят лет. Юбилей в Ясной отмечали скромно, семейно, отказавшись от публичных чествований из-за болезни юбиляра, который действительно был настолько слаб, что провел юбилей в кресле-каталке. Льва Львовича на юбилее не было. Дора ждала очередных родов. 5 сентября в Швеции

родилась их вторая дочь, которую в честь русской бабушки назвали Соней.

Вернувшись в Петербург, Лев Львович продолжил свои занятия скульптурой. Его увлечению не препятствовала Дора, во-первых, горячо любившая мужа, а во-вторых, смирившаяся с тем, что тот всегда находился в поисках самого себя. К лету 1909 года Лев Львович принял решение сдать петербургскую квартиру на два года и переехать в Париж, чтобы учиться скульптуре основательно.

Он ходит заниматься в частную парижскую академию на Boulevard Raspail, а затем переходит в так называемую Академию Жюльена, где ученикам бесплатно предоставлялись модели и раз в неделю давали консультации преподаватели Школы изящных искусств. Дора с детьми находится в Швеции, а он снимает комнату на пятом этаже отеля напротив Люксембургского сада и платит за нее 3 франка в день (около 100 рублей). Жить в Париже дорого, но, тем не менее, вскоре вся семья переезжает в Париж. Начинается новый период их жизни…

Судя по воспоминаниям сына Павла, в Париже они жили не шикарно, но и не бедно, снимая квартиру на Монпарнасе. Сыновья учились в русской школе. Когда Дора, одев пятерых детей, Павла, Никиту, Петра, Нину и Соню, по последней парижской моде, выходила на прогулку в город, прохожие оборачивались и говорили: «О, эта семейка стоит больших денег!»

В русский круг общения Льва Львовича в Париже входили скульптор Паоло Трубецкой и знаменитый физиолог Илья Ильич Мечников, с 1897 года живший в Париже и скончавшийся там в 1916 году. Мечников работал в институте, созданном Луи Пастером, и, между прочим, был знаком со скульптором Огюстом Роденом, который являлся кумиром Льва Львовича. Мечников устроил встречу сына Толстого с Роденом. Тот благосклонно отнесся к его работе, следил за ней, давал ему ценные советы и даже посоветовал уйти из академии и снять свою мастерскую, на что Лев Львович, в конце концов, и решился.

Два года он прожил в состоянии если не счастья, то ощущения того, что, наконец, нашел свой путь в жизни.

Милая «Франция»

Но и в это время Лев Львович успел совершить поступок, который хотя еще и не сломал окончательно его семейную жизнь, но подорвал ее основательно и непоправимо.

И опять нельзя не обратить внимания на «странные сближенья». Первая серьезная размолвка между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной случилась в 1871 году, когда родилась дочь Мария и в семье стало пятеро детей – три мальчика и две девочки. Именно тогда семья впервые оказалась на грани развода после почти десяти лет счастливой жизни. В 1909 году, прожив с Дорой тринадцать лет, в течение которых в их семье появилось пятеро детей (не считая умершего Льва), три мальчика и две девочки, Лев Львович… решил разводиться.

Это было похоже на внезапное безумие! В академии Жюльена могли учиться не только мужчины, но и женщины, что было серьезным шагом для Франции в сторону женской эмансипации. И вот однажды, проходя через мастерскую, он увидел девушку, которую «потом любил больше себя, больше семьи, больше своей жизни». Ей было восемнадцать лет, ее звали Жизель Бюно-Варилья.

Она была дочерью инженера, инициатора строительства Панамского канала, и племянницей главного редактора газеты «Le Matin». С бледным и серьезным лицом она лепила маску Бетховена. У нее были густые темные волосы, красивые руки и приподнятые круглые плечи. На девушке была серая клетчатая юбка и белая шелковая блуза, которые выгодно подчеркивали ее невысокую, прекрасно сложенную фигуру. Она обернулась на него, и он впервые встретил ее умный и строгий взгляд. В углу мастерской сидела старая дама с ручной работой – мать мадемуазель Жизель.

В «Опыте моей жизни» Лев Львович пишет, что это была любовь с первого взгляда, которая пронзила его насквозь, потому что он увидел ту, которую искал всю жизнь. Им овладело одновременное чувство волнения, счастья и страха. Когда их, наконец, познакомили, они стали заниматься, сидя рядом. Он касался плечом ее плеча…

В воспоминаниях он также пишет, что «она одна была моей истинной, посланной мне женой перед небесами». Жизель тоже влюбилась в него. Когда они вместе посетили Родена, великий скульптор тут же прозвал ее «Францией», увидев в ней зримое воплощение их родины.

Лев Львович не скрыл от Жизели, что он женат, но она

отнеслась к этому как истинная парижанка, сказав, что ему просто следует развестись с Дорой.

Но он не сказал ей главного. В то время, когда между ним и Жизелью вспыхнула любовь, Дора была беременной. Бросать жену в этом положении было немыслимо, он скорее готов был броситься в Сену. Между тем жена ничего не замечала, и в их парижской квартире шла «правильная семейная жизнь».

«Моя жизнь в Париже раздвоилась и стала сплошным мученьем. Я чувствовал себя бесконечно виноватым перед семьей и женой, тайным преступником перед ними, но моя любовь была настолько искренна, что мне и в голову не приходила возможность побороть ее… В ней только было мое счастье…»

Наконец, оставшись с женой в комнате вдвоем, он рассказал ей о Жизели и объявил о разводе. Бедная Дора сперва не знала, как ей отнестись к этой «дикой жестокости». «Несколько секунд, бледная, она молчала, потом вдруг, как зверь, бросилась на меня, стараясь, как кошка, исцарапать мне лицо. Я задержал ее, взяв за кисти рук, и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Но она кинулась за мной и с такой силой нажала на дверь, что вышибла ее с замком из петель. Она опять налетела на меня, стараясь схватить за горло. Я напрасно старался успокоить ее. Она была вне себя».

8 декабря 1909 года он писал матери:

«Дорогая мамаша, с грустью сообщаю, что Дора до времени родила вчера плохого мальчика, который жил только несколько часов, вышел ногами вперед, был со слабыми, кривыми конечностями. Что причина? Всё. И дети до него подряд, и Париж, и нежелание Доры иметь еще детей. Сама Дора перенесла всё это, слава Богу, отлично и теперь лежит, очень бодрая… Я по-прежнему занимаюсь своей скульптурой и начинаю понимать, что нужно не менее 10 лет, чтобы стать в этой области большим. Целыми часами стою перед вещами Rodin, выше которого не знаю. Недавно получил в своей академии 1-ый номер за эскиз барельефа на тему “*Война*”… Люблю Париж и французов и чувствую, что живу здесь сильнее, чем дома».

Не получилось

Лев Львович не сообщил матери о том, что на самом деле произошло в Париже. Он понимал, что сочувствия от нее в этом случае ожидать не приходится.

Между тем родители Жизели, учинили слежку за ним и выяснили правду о его семье. При очередной встрече со своим возлюбленным Жизель сказала ему, что порядочный мужчина не ухаживает за девушкой, когда его жена беременна. Она ушла из академии, и с тех пор он ее больше не видел, хотя, как он пишет, пытался отыскать глазами в парижской толпе даже годы спустя.

В 1909 году Лев Львович приезжает в Ясную Поляну летом, один, без семьи, и пытается вылепить бюст отца «с натуры». Но бюст у него не получается.

С лета 1908 года вблизи Ясной Поляны пытается поселиться со своей семьей Чертков, вернувшийся из английской эмиграции. Толстой бесконечно рад, а Софья Андреевна, напротив, не только несчастна, но оказывается на грани сумасшествия. Она ревнует мужа к «духовному другу» и вполне справедливо, как потом окажется, подозревает «друга» в том, что тот манипулирует стариком и готовит с ним тайное завещание на его литературное наследие в свою пользу, собираясь лишить Софью Андреевну всех прав на посмертное издание сочинений мужа.

В марте 1909 года по приказу Столыпина Черткова выселяют за пределы Тульской губернии, потому что тульские власти неоднократно доносили в Петербург, что в Тульской губернии ведется разнузданная антиправительственная пропаганда на почве «толстовства». Чертков может жить в России где угодно… кроме Тульской губернии, где живет Толстой. В результате, чтобы встретиться с «духовным другом», Толстой вынужден стать участником настоящей конспирологической операции. Сначала 8 июня 1909 года с Софьей Андреевной, секретарем Николаем Николаевичем Гусевым и доктором Маковицким он приезжает в имение своей дочери Татьяны Львовны Кочеты, находящееся всего в трех верстах от границы с Орловской губернией. И вот здесь, на границе, но все-таки на орловщине, в селе Суворове они и встречаются с Чертковым 30 июня. Вторая встреча происходит на следующий день. Обе проходят втайне от Софьи Андреевны.

О чем они говорили – неизвестно. Но 18 сентября уже в подмосковном имении Крекшино, где живет Чертков, Толстой подписывает первое *тайное завещание*[47] против жены и сыновей…

Когда отец с матерью уезжали в Кочеты, Лев Львович остался

в Ясной Поляне. Его приглашали в Кочеты, но он почему-то отказался. Этим летом между ним и отцом не было особенной вражды. Отец был готов продолжать сеансы позирования в Кочетах. Однако сын решил дождаться его возвращения. А оно затягивалось, возможно, по причине готовящейся встречи с Чертковым. Тогда 25 июня он смял бюст отца в бесформенный кусок глины и уехал из Ясной.

Не понятно, был ли это жест досады на отца или просто признание творческой неудачи. Скорее и то, и другое. Но создать скульптурный образ отца он сможет только после его смерти.

И это будет *недобрый* Толстой…

Глава десятая
Война детей

Наконец я подхожу к дубовому гробу и смотрю на маленького, чуждого мертвого человечка… Не верится, что эти жалкие остатки были моим отцом.

Л. Л. Толстой «Опыт моей жизни»

Маменькин сынок

До сих пор непонятна роль, которую сыграл Лев Львович в семейном конфликте лета-осени 1910 года, который завершился бегством отца из Ясной Поляны и смертью в Астапове. Известно только, что, отправляясь к родителям тем летом, он *ничего* не знал о тайном завещании, уже подписанном осенью 1909 года в Крекшино за спиной Софьи Андреевны, находившейся там же. Он плохо представлял себе подлинную расстановку сил в этом конфликте и даже не знал состава всех его участников. Он понимал, что в любом споре между отцом и матерью сестра Саша будет на стороне отца. Но он не был в курсе того, что Саша находится в прямом заговоре с Чертковым и его «командой» против своей матери и братьев, то есть и его, Льва Львовича – тоже. Вклинившись в этот конфликт, Лев Львович действовал «вслепую», и это многое объясняет и оправдывает в его поведении.

Был ли он вообще осведомлен об этом конфликте накануне приезда? «Вероятно, кто-то из родных сообщил Л. Л. Толстому о тяжелейшей ситуации в семье, вызванной приступами истерии у С. А. Толстой», – считает Валерия Абросимова. 29 июня 1910 года из Петербурга в Ясную пришла его телеграмма: «Телеграфируйте Северную гостиницу здоровье мама́ вышлите <экипаж> пятницу Ясенки скорому». Но о ненормальном психическом состоянии Софьи Андреевны было известно давно, еще со смерти Ванечки в 1895 году. А вот знал ли сын, что приступы истерии были вызваны ссорой матери с отцом из-за Черткова?

В «Опыте моей жизни» он утверждает, что накануне приезда ни о чем не знал. «Но то, что я нашел там, ввергло меня в великое недоумение и грусть…»

2 июля Софья Андреевна записывает в дневнике: «К обеду приехал сын Лёва, оживленный и радостный. Ему приятно быть опять в России, в Ясной Поляне и видеть нас». По-видимому, приезд сына стал для нее самой неожиданностью. Это говорит о том, что не она вызвала его в Ясную. Не могла этого сделать и сестра Саша. Тем более этого не мог сделать отец, буквально через день после приезда сына написавший о нем в дневнике: «Приехал Лёва. Небольшой числитель, а знаменатель оо». Вероятнее всего, это сделал кто-то из братьев или сестра Татьяна. Они были заняты своими делами и не принимали прямого участия в родительском конфликте. В результате между отцом и матерью оказались Саша и Лёва. Но это был самый плохой из возможных вариантов, потому что Саша в то время была

последовательницей отца и противницей матери, а ее брат был убежденным противником идей отца и всей душой разделял позицию матери. Поэтому к родительскому конфликту добавилась еще и «война детей».

Возможно, Софья Андреевна сразу рассказала сыну о своем разговоре с Чертковым, который состоялся накануне приезда Лёвы. В 1910 году Черткову все-таки разрешили жить в Тульской губернии вместе с матерью, женой и сыном. И он немедленно начал строительство большого удобного каменного дома в Телятинках близ Ясной Поляны. Чертков заявил жене Толстого, что теперь он является его «духовным духовником» и что Софья Андреевна должна с этим смириться. Еще он сказал, что если бы он хотел «напакостить» семье Толстых, то сделал бы это давно, ибо все дневники Толстого с 1900 года хранились у него, и если он не сделал этого, то это лучшее доказательство его любви к Толстому. Общение между Чертковым и женой Толстого с определенного момента стало бессмысленным, как, впрочем, и ее разговоры с собственным мужем. Больное сознание Софьи Андреевны реагировало не на смыслы фраз, а на отдельные слова, и в данном случае она приняла во внимание слово – «напакостить». Чертков задался целью «напакостить» ей и семье – вот что она поняла! Впрочем, она была не далека от истины.

Лев Львович не сразу оценил весь трагизм сложившейся ситуации. Еще 4 июля он продолжал смотреть на отца как на возможную модель для новой скульптурной работы. «Лёва сегодня говорил, что вчера он случайно подстерег на лице Льва Николаевича такое прекрасное выражение человека не от мира сего, что он был поражен и желал бы его уловить для скульптуры», – пишет Софья Андреевна. Но в поздних воспоминаниях сын по-другому трактовал «прекрасное выражение»: «Отец потерял память». Кроме того, даже еще не читая записей о себе в дневнике отца, он понял, что отец недоволен его приездом. Лев Львович воспринял это по-своему. Увы, весьма грубо. «Отец ослабел телесно, умственно и духовно. Мозг его больше не работал нормально, кровообращение становилось трудным и по временам он из последних сил боролся со своими недугами, чтобы как-нибудь продлить жизнь».

Еще он решил, что отец, как ребенок, находится в полной власти Черткова. «Он всю жизнь легко поддавался влияниям, не имея критического чутья, а теперь, больной, впавший в детство, потерявший память, как он сам признается в дневнике, он окончательно поддался Черткову…»

Между Львом Львовичем и Чертковым состоялся тяжелый разговор. Бывшие товарищи смотрели друг на друга врагами.

«6 июля вечером я позвал его в свою комнату и сказал ему, что, так как его присутствие в нашем доме мучительно для родителей, я просил бы его прекратить свои посещения. Сначала, удивленный, он не знал, что возразить. Но потом вдруг рассердился и стал говорить мне дерзости.

– Ты же сам останешься в дураках! – крикнул он мне со злой усмешкой.

Я спокойно еще раз просил его перестать ездить в дом.

– Хорошо, но ты же сам останешься в дураках, – повторил он, глупо смеясь…

Тогда и я серьезно рассердился на него, как это бывает со мной нечасто. Я стал кричать и готов был силой вытолкать его из комнаты и из дома.

– Идиот! – кричал я ему. – Все знают, что ты дурак и идиот! Оставь меня сию же минуту».

На следующий день он извинился перед Чертковым и просил его поговорить и помириться с Софьей Андреевной. Поначалу он видел свою роль в доме родителей как миротворческую. Бесконечно жалея мать, он понимал, что и отцу не сладко под ее натиском. Софья Андреевна категорически требовала отдать ей поздние дневники Льва Николаевича, но это было единственное требование, с которым он категорически не соглашался, подозревая, что, пройдя через ее руки, они подвергнутся серьезной «цензуре». Со своей стороны Софья Андреевна подозревала, что именно в дневниках мужа находится текст его завещания или хотя бы информация о нем.

«В те дни, когда вся эта грязь происходила кругом меня, я жил в Ясной Поляне и лепил бюст матери, не желая вникать в происходящее и не понимая хорошенько всей той таинственности, которой была окружена жизнь отца…»

Одновременно с работой над бюстом матери он вновь лепил своего отца. И – вновь потерпел неудачу! А вот бюст матери получился хорошим. Его хвалил отец, и он до сих пор находится в Ясной Поляне.

9 июля Лев Львович с отцом отправились на конную прогулку. Софья Андреевна переживала: навстречу шла черная туча, а они не взяли с собой верхней одежды! Когда они уехали, разразилась гроза, и Софья Андреевна полтора часа в тревоге металась на террасе дома. В это время отец с сыном пережидали дождь на крыльце забытой и пустой лесной сторожки. Им не о чем было говорить. «Отец, беспокойный и жалкий, стоял со мной плечом к плечу, не говоря ни слова и избегая моего взгляда. Не дождавшись конца дождя, он влез на лошадь и рысью поехал домой».

«Вернулись мокрые, – пишет Софья Андреевна, – я хотела помочь растереть Льва Николаевича спиртом – спину, грудь, руки и ноги. Но он сердито отклонил мою помощь…»

А уже через день, в ночь на 11 июля, между отцом и сыном случился скандал. Обитатели дома по-разному описывают это событие. Запечатлено оно и в дневнике Толстого, и сразу в двух воспоминаниях Льва Львовича. Однако точной картины произошедшего мы так и не имеем.

Перед этим во время купания в Ясной Поляне Чертков потерял свои дорогие часы. Лев Николаевич поднял на поиски весь дом и деревенских ребят, чем страшно возмутил супругу. 10 июля она кричала на него так, что даже Лев Львович урезонивал мать: «Постыдитесь, мама, у вас внуки!» Ночью она пришла к мужу, продолжая возмущаться его привязанностью к Черткову и требовала отдать дневники. «Я отклонил спокойно», – пишет Толстой в записной книжке. Софья Андреевна в легком платье легла на доски балкона перед дверью в его комнату, а затем ушла в парк и села на дорожке у аллеи.

Ее долго искали и нашли с помощью пуделя Маркиза. Маковицкий, Лев Львович и Николай Ге уговаривали ее вернуться в дом, но она требовала, чтобы за ней пришел муж. И тогда Лев Львович отправился в комнату к отцу.

«Ужасная ночь, – пишет на следующий день в дневнике Толстой. – До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку…» По воспоминаниям Гольденвейзера (впрочем, записанным по слухам), сын назвал отца «дрянью». Но Лев Львович это категорически отрицал.

«Мать лежала ничком на земле, уткнувшись лицом в ствол старой липы, – пишет он в «Правде о моем отце». – Мы стали поднимать ее. Но она падала назад на землю и ни за что не хотела вставать.

– Он выгнал меня, – стонала она в истерике, – я не пойду… Я не могу пойти, пока он не придет.

Тогда мне стало ее жаль, и я побежал к отцу наверх в его комнату.

– Ну что? – спросил он тревожно.

– Она не хочет идти, – сказал я, – говорит, что ты ее выгнал.

– Ах, ах, Боже мой! – крикнул отец, – да нет! Нет! Это невыносимо!

– Пойди к ней, – сказал я ему, – без тебя она не придет.

– Да нет, нет, – повторял он вне себя от отчаяния, – я не пойду.

– Ведь ты же ее муж, – тогда сказал я ему громко и с досадой, – ты же и должен всё это уладить.

Он посмотрел на меня удивленно и робко и молча пошел в сад».

«Я никогда в жизни не кричал на него», – утверждает Лев Львович в «Опыте моей жизни». Но здесь же, уже прочитав дневники отца, он обращает внимание на то, что после этого случая отец впервые в дневнике называет его не «Лёвой» и даже не «Львом», а – «Львом Львовичем».

Ночная ссора Льва Николаевича и Софьи Андреевны завершилась временным миром. Всю ночь они вдвоем просидели в ее комнате.

«Когда совсем рассвело, мы еще сидели у меня в спальне друг против друга и не знали, что сказать. Когда же это было раньше?! Я всё хотела опять уйти, опять лечь под дуб в саду; это было бы легче, чем в моей комнате. Наконец я взяла Льва Ник-а за руку и просила его лечь, и мы пошли в его спальню. Я вернулась к себе, но меня опять потянуло к нему и я пошла в его комнату.

Завернувшись в одеяло, связанное мною ему, с греческим узором, старенький, грустный, он лежал лицом к стене, и безумная жалость и нежность проснулись в моей душе, и я просила его простить меня, целовала знакомую и милую ладонь его руки, – и лед растаял. Опять мы оба плакали, и я наконец увидала и почувствовала его любовь».

«Я совершенно искренно могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву», – записывает Толстой в «Дневнике для одного себя».

То, что Лев Львович целиком встал на сторону матери, характеризует его положительно. Мог ли он поступить иначе, ее любимчик, ее Лёвушка? Это было бы откровенным предательством с его стороны! К тому же если он и не всё понимал в яснополянском конфликте, то чувствовал, что летом 1910 года мать оказалась в полном одиночестве. Не только Чертков и Саша, но и почти все обитатели и постоянные гости дома – машинистка и подруга Саши Варвара Феокритова, доктор Душан Маковицкий, музыкант Александр Гольденвейзер и другие – осуждали Софью Андреевну за «травлю» мужа и даже считали ее ненормальное психическое состояние «притворством». Он не мог не чувствовать, что за спиной мама́ происходит «заговор» против нее. И его, конечно, злило отношение к этому папа́, ничего не предпринимавшего для защиты своей жены.

Впоследствии Саша писала, что это ее брат «подливал масла в огонь, невольно восстанавливая мать против отца… Лёва не скрывал, что не любит отца, что бывают минуты, когда он даже ненавидит его!»

Возможно, это так. Однако в воспоминаниях и дневниках

очевидцев тех событий нигде не зафиксирован случай, чтобы Лев Львович открыто настраивал мать против отца. Нет ничего об этом и в дневниках Софьи Андреевны. Можно говорить о том, что он подлил масла в огонь во вражде матери и Черткова. Например, он передал матери слова Черткова: «Какая же это женщина, которая всю жизнь занимается убийством своего мужа». Эта фраза, сказанная Чертковым в присутствии Льва Львовича на лестнице после разговора с Софьей Андреевной, не предназначалась для передачи самой Софье Андреевне. Лев Львович в этом случае поступил неправильно, лишний раз возбудив в матери ненависть к «духовному другу».

«Сам напустил смрад в наш дом, от которого все мы задыхаемся, и вопреки справедливости и мнению всего мира, признавшего мою любовь и заботу о жизни мужа, этот господин меня обвиняет в *убийстве.* Он рвет и мечет, что у меня на него открылись глаза, я поняла его фарисейство, и ему хочется мстить мне. Но я этого не боюсь», – пишет она в дневнике.

Кто из обитателей Ясной Поляны поступал тогда правильно? Саша в своих воспоминаниях признает, что она как раз неоднократно настраивала отца против матери. Например, когда мать убрала из кабинета отца фотографии дочери и Черткова, заменив их своим портретом, Сашу возмутило, что отец не стал этому противиться.

«Ты ради матери, которая делает тебе столько зла, пожертвовал другом, дочерью, – кричала я, – ведь я не сама повесила свой портрет у тебя в комнате, ты повесил его, а теперь не решаешься взять его обратно!..

Отец покачал головой:

– Ты уподобляешься ей, – сказал он мне и вышел…»

Только не сыновья!

Толстой безусловно чувствовал, что, подписав завещание, в которое не включил Софью Андреевну, он совершил в отношении нее жестокий поступок. Но, во-первых, его убедили в том, что доверить духовное наследие «безумной» жене значит подвергнуть его серьезной опасности. Неслучайно окончательный, выверенный и дополненный текст этого завещания был подписан им в лесу близ деревни Грумант на следующий день после того, как в Ясной Поляне побывал психиатр Григорий Иванович Россолимо и поставил жене Толстого диагноз: «Дегенеративная двойная конституция: паронойяльная и истерическая с преобладанием первой». И хотя Толстого, судя по записи в дневнике («Россолимо поразительно глуп по ученому, безнадежно»), этот диагноз ни в чем особенном не убедил, но завещание он подписал на следующий день. Во-вторых (и это главное!), Толстой все-таки верил, что две дочери, Саша и Татьяна, обозначенные в завещании как юридические наследницы (вторая вступала в права наследования в случае внезапной смерти первой), не обидят мать после его кончины. Женщины договорятся, возможно, считал он, понимая, что после его смерти конфликт Саши с матерью рано или поздно остынет. В этом конфликте главной составляющей был не меркантильный расчет и даже не высокие идеалы, а обычная женская ревность. Но мать с дочерью договорятся. Не сейчас, так после его смерти. Когда исчезнет живой повод для ревности…

Но вот *сыновей* в этом раскладе он не видел никак! Он считал, что уж они-то не имеют никаких прав на его духовное наследие!

Получался психологический парадокс. Чувствуя вину перед супругой, Толстой старался обходиться с ней бережно и любовно, уступая ей во всем. В конце концов, он согласился забрать у Черткова дневники и поместить их в сейфе тульского банка – лишь бы Софья Андреевна немного успокоилась. Расставшись с ней во время очередного пребывания в имении дочери Татьяны, он писал в дневнике, что ему грустно, тяжело без жены. А при этом всё, что в Льве Львовиче напоминало мать, выводило его из себя! В его отражении и Софья Андреевна была ему неприятна!

«Лёва меня лепит, и мне возле него спокойно, он всё понимает, и любит, и жалеет меня…» – пишет в дневнике Софья Андреевна.

«Вот кто ужасен, – говорит отец о сыне в присутствии посторонних. – Что он делает, что он делает! Я должен сознаться,

мне совестно это говорить, но если бы он уехал – это было бы такое облегчение!»

«Как он психологически похож на Софью Андреевну!» – жалуется он Маковицкому.

6 июля Софья Андреевна хотела утопиться в речке Воронке. «Лёва (сын) добро и трогательно относится ко мне; пришел на речку меня проведать, в каком я состоянии…» – пишет она в дневнике.

Толстой: «Лёва больше чем чужд».

Софья Андреевна: «Мне что-то очень жаль сына Лёву. Он сегодня такой грустный, озабоченный».

Толстой: «Идет в душе неперестающая борьба о Льве: простить или отплатить жестоким, ядовитым словом?»

Тем не менее, порой он чувствовал «свой грех относительно Льва» и снова *убеждал* себя, что «надо любить» сына. Пытался поговорить с ним… «Говорил с Львом. Тщетно».

Он уговаривает Сашу не враждовать с матерью, помириться с ней, быть с ней поласковей. Но как только на защиту матери бросается сын, в душе Толстого вскипает ярость!

На следующий день после очередного скандала с Софьей Андреевной он пишет Саше записку: «Ради Бога, не упрекайте мама́ и будьте с ней добры и кротки».

Но когда в комнату к мама́ бежит сын, чтобы успокоить ее, Толстой выходит из себя:

«Теперь только недоставало, чтобы Лев Львович стал меня ругать!»

«С Львом вчера разговор, и нынче он объяснил мне, что я виноват… Надо молчать и стараться не иметь недоброго чувства…»

Но молчать – еще хуже! «К Лёве чувствую непреодолимое отдаление. И скажу ему, постараюсь любя, son fair[48]».

Но не говорит… Молчит…

Сын понимает это по-своему. Он считает, что молчание отца – верный признак его, Льва Львовича, правоты. И действительно подливает масла в огонь конфликта. Глядя на жену, Толстой видит не только ее, но и своего сына, так, по его мнению, на свою мать похожего! Глупого, самоуверенного, озабоченного суетой жизни, а не тем, что в это время волнует отца – Бог и вечность. Претендующего на его духовное наследие – но с какой стати! Что дали ему сыновья? Они только брали, брали и брали! Его имя, его имения, его деньги, которые им, вечно пребывающим в долгах, ссуживала Софья Андреевна! И этот сын еще будет его учить…

Оказавшись в доме, Лев Львович задает иную оптику взгляда на отца. Это не великий человек, вокруг которого, как вокруг

солнца, вращается вся яснополянская жизнь, но *муж своей жены* и *отец своих детей.* С этой точки зрения, Толстой в самом деле «выжил из ума». Просто как персонаж какого-нибудь водевиля. Он всё готов отдать сладкоголосому авантюристу Черткову, который затесался в их дом, и лишить законных прав кровных родственников.

«По совету своего друга, он коротко обстриг бороду, что совсем не шло ему. По утрам при открытом окне он голый ходил по комнате. Чертков внушил ему, что он еще бодрый старик и, уехав от жены, он еще проживет долго…» – вспоминает Лев Львович.

«Я не осуждаю отца, – продолжает он. – Нельзя осуждать человека, не узнававшего своих и жившего в полном умственном тумане. Он действовал, как ребенок. Но я не только осуждаю Черткова, но на вечные времена проклинаю его память и имя…»

Два человека из семьи могли решить этот конфликт. Самые старшие дети – Сергей и Татьяна. Мать относилась к ним с уважением. Софья Андреевна побаивалась Татьяны и обычно стихала в ее присутствии. Они не сделали этого, занятые своими личными проблемами. Они приезжали в Ясную Поляну временами и ненадолго, когда конфликт достигал высшей точки кипения и требовался «третейский суд». Сергей приехавший в Ясную вскоре после приезда Льва Львовича, пытался говорить с братом. Но у них получился бессмысленный разговор. Лев кричал, что «лечить надо не мать, а отца, который выжил из ума». «Ведь она наша мать!» – говорил он. Сергей отвечал: «Ты забываешь, что и он наш отец!»

Беда была в том, что и к Сергею отец в то время не испытывал особой приязни. «Недоброе чувство к Сереже, с которым (не с Сережей, а с чувством) недостаточно борюсь. Но зато очень хорошее чувство к Соне», – пишет Толстой в дневнике этим летом. И опять его претензия к старшему сыну сводится к тому же, за что он так не любит Льва Львовича: «То же к Сереже чувство… Невыносимая самоуверенность».

Наконец, случается самое неприятное. В конце июля в Ясную Поляну приезжает Андрей Львович. На этот раз вызванный матерью – четвертый по старшинству сын, настроенный против отца куда более решительно, чем все остальные братья.

Сразу после его приезда они решали с Львом, кто из братьев будет спрашивать сестру и отца о существовании тайного завещания. О том, что такое завещание уже есть, в Ясной Поляне не догадывались разве только слуги. Призрак завещания стал кошмаром яснополянского дома. Обитатели его не могли смотреть в глаза друг другу.

Гольденвейзер утверждает, что Лев и Андрей Львовичи даже немного поссорились из-за права первенства разговора с сестрой. После короткого препирательства Саша согласилась говорить с Лёвой. Этот ужасный для нее момент, когда она не могла лгать и не могла сказать правду, она описала в своих воспоминаниях.

«Ну иди, иди к Лёве, – сказал Андрей, – а я потом с тобой поговорю.

Я пошла к Лёве.

– Видишь ли, – начал Лёва, – мама́ слышала, что Булгаков говорил о каком-то документе; и она решила, что это завещание, и опять очень взволновалась. Скажи, есть у папа́ завещание?

Не успел он окончить фразы, как вошел Андрей и они долго меня пытали, нет ли у отца какого-нибудь завещания?

Я сказала, что для меня немыслимо при жизни отца думать о его смерти и говорить о завещании, а потому я отвечать отказываюсь.

– Ты только скажи: есть или нет завещание? – допытывались они.

Долго они меня мучили и не отпускали. Наконец я решительно заявила, что дальше говорить об этом не хочу и не буду».

Саша все-таки солгала. Она не только думала о смерти отца, но вместе с Чертковым и готовила завещание, написанное на ее имя, но, благодаря прилагаемой к завещанию бумаге, отдававшее всё литературное наследие Толстого в распоряжение Черткова. Но сказать об этом братьям значило подписать себе в семье приговор! То, что было простительно ее отцу, не простили бы ей! По-настоящему на проблеме этого завещания был распят не отец, а его самая младшая дочь.

После этого разговора Саша побежала к отцу предупредить, что тайна почти раскрыта. Туда же отправился Андрей.

«– Папа, мне нужно с тобой поговорить.

– Говори, что такое?

– Я бы хотел без Саши!

– Нет, пускай она останется, у меня нет от нее секретов.

– Так вот видишь ли, папа́, у нас в семье разные неприятности, мама́ волнуется, и мы хотели у тебя спросить, есть ли у тебя какое-нибудь завещание?

– Я не считаю себя обязанным тебе отвечать.

– А-а-а-а! Так ты не хочешь отвечать?

– Не хочу!»

На лестнице Андрей кричал Саше:

«– Чего ты там торчала у своего сумасшедшего отца!»

Но хуже всего был разговор Саши с мама́:

– Саша, ты когда-нибудь лжешь?

– Стараюсь не лгать.

– Так скажи мне: есть завещание у папá или нет?

– Я сегодня утром ответила твоим сыновьям, которые приставали ко мне с этим же вопросом, и тебе отвечу то же самое: я не могу и не хочу при жизни отца говорить о его смерти. Считаю это чудовищным!

– Ах, как ты глупа! Дело вовсе не в деньгах, а в том, что Лев Николаевич лишил меня своего доверия. Я его люблю, и мне больно, что я ничего не знаю…

– Неправда! Если бы вы любили его, вы никогда не стали бы спрашивать о его распоряжениях после смерти, причинять ему такую душевную боль, а спокойно подчинились бы его воле!»

Это был слабый аргумент. Софья Андреевна, Лев и Андрей Львовичи не считали, что они не подчиняются воле Толстого. Они считали, что не подчиняются воле Черткова. Но Чертков был его другом и помощником, который объективно много сделал для того, чтобы духовное наследие учителя досталось потомкам в целости и сохранности. Он был фанатиком, но не был проходимцем. Он не щадил семью Толстого, но и не видел в этих людях его *настоящую семью*, к которой он относил себя и «толстовцев».

И этот конфликт мог быть решен только полюбовным соглашением Софьи Андреевны и Черткова (на чем вначале и настаивал Лев Львович). Этим двум людям Толстой чувствовал себя пожизненно обязанным. Выбор между ними был для него мучителен. А вмешательство сыновей в этот конфликт не могло принести ничего хорошего. Оба они, будучи идейными противниками отца, претендовали на его наследие, что возмущало его. Встав на стороне матери, они только ухудшили ее положение. Одним своим присутствием сыновья напоминали Толстому, в чьих руках окажется его наследие… если он откажется от завещания.

29 июля Толстой начинает вести тайный «Дневник для одного себя». В первой записи он произносит приговор не только сыновьям, но и Софье Андреевне: «Нынче записать надо одно: то, что если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начата попытка достичь цели лаской. Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было, и нет сцен и отчаяния. Прости меня Бог и добрые люди, если я ошибаюсь. Мне же легко ошибаться в добрую, любовную сторону. Я совершенно искренне могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву. Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа Божия (но она есть, помни). Буду

стараться не раздражаться и стоять на своем, главное – молчанием. Нельзя же лишить миллионы людей, может быть, нужного им для души. Повторяю: “может быть”. Но даже если есть только самая малая вероятность, что написанное мною нужно душам людей, то нельзя лишить их этой духовной пищи для того, чтобы Андрей мог пить и развратничать, и Лев мазать и… Ну да Бог с ними…»

Третий лишний

В который раз Лев Львович оказывался между отцом и матерью как бы… лишним. Все мысли Софьи Андреевны были только о Льве Николаевиче и о том, в каком положении окажется она как вдова великого Толстого после его смерти. В этих тревогах и страданиях сын все-таки отходил на задний план. Конечно, в споре с мужем из-за наследства она в том числе думала о сыновьях, которые всё к тому времени испытывали финансовые трудности. Лев Львович, например, был постоянно должен матери и часто подолгу не мог вернуть ей деньги.

Уже после смерти Льва Николаевича 31 мая 1914 года Софья Андреевна сердито напишет в дневнике: «Грустно очень от сыновей, что начали играть. Дора говорит, что Лёва проиграл около 50 тысяч. Бедная, беременная, заботливая Дора! Тысячу раз прав Лев Николаевич, что обогатил мужиков, а не сыновей. Всё равно ушло бы всё на карты и кутежи. И противно, и грустно, и жалко! А что еще будет после моей смерти».

Но пока Толстой был жив, она думала иначе. Мысль, что не ее сыновья, а Чертков будет распоряжаться наследием Толстого, обижала ее. И, разумеется, позиция ее была всецело на стороне сыновей. Но еще больше мучило ее то, что из-за несправедливо написанного завещания лишней окажется она, отдавшая мужу почти пятьдесят лет жизни.

В воспоминаниях Александра Гольденвейзера, в которых много едких, но и точных наблюдений о поведении семьи в последний год жизни Толстого, описывается одна сцена. Вроде бы незначительная, но очень уж характерная…

Семья Толстых с гостями садятся за вечерний чай. «Когда он (Толстой – *П. Б.*) сел за чайный стол, Софья Андреевна вскочила с своего места с другого конца стола и подсела к нему. Места не было, и она села на углу между Львом Львовичем и Л. Н. Лев Львович встал.

Софья Андреевна сказала ему:

– Куда ты, Лёва? Папа́ подвинется.

Л. Н. остался сидеть неподвижно».

Есть такая игра в «лишнего», когда дети бегают вокруг стульев и по команде разом садятся на них, но одного стула всегда не хватает. Кому в этот раз не хватило места? Сыну? Жене?

Наконец Лев Львович совершает поступок, вроде бы добрый и даже здравый с точки зрения обычной семьи. Но этот поступок тоже вызывает гнев отца…

В конце августа, когда Толстой и Софья Андреевна

находились в Кочетах у дочери Татьяны (приглашали и Льва Львовича, который лепил бюст отца, но он отказался, решив лепить по памяти), сын опять вспоминает о своем самом желанном проекте: поселиться в Ясной Поляне навсегда. И он пишет матери письмо:

«Что если бы Вы при жизни отдали Ясную детям? Мы бы разделили всё при жизни стариков. Сейчас же каждый из нас стал бы работать на своем куске. Построились бы многие, – первый я, Андрюша, может быть, Таня, Саша, Сережа! Жизнь бы здесь закипела ключом. Вы были бы свободны от хозяйства. Держали бы только столько людей, коров, лошадей, сколько Вам нужно. Сократили бы всю Вашу безумную роскошь. Мы бы Вам давали, так или иначе, всё, нужное для усадьбы. Усадьбу могли бы отдать пожизненно или совсем Вам. Как было бы весело и хорошо всем! Переживете отца, сделаете из дома его музей, не переживете, он останется дома…

Покажите это письмо папа́ и просите прочесть. Что он скажет?

Я уверен, что ему это понравится уже по одному тому, что он сам будет в более приятном положении. Это важнее истории с Чертковым. Тут дело касается всех нас и наших семей…»

Под «историей с Чертковым» имелось в виду завещание – это все понимали, даже не зная точно, существует ли оно или нет. Под этим подразумевалась также ревность Софьи Андреевны к «духовному другу» мужа, который оказался более близким ему человеком, чем жена. Лев Львович пытается переместить акцент с этой «истории» на Ясную Поляну, о которой как будто все забыли. После смерти Ванечки имение и так принадлежит всем сыновьям поровну – стало быть речь шла не о юридической стороне вопроса. Больше того он предлагает включить в «собственников» сестер Сашу и Таню, и поселиться в имении всем вместе. Словно любящая мать, он мечтает собрать всех детей в одно лукошко. И всем будет хорошо! Все будут заботиться друг о друге! Мама получит своих «людей и коров», а папа́ они помогут избавиться от «безумной роскоши» (буквальное повторение слов отца). Красота!

Но мать ничего ему не отвечает. Во всяком случае ее письмо неизвестно. А Толстой записывает в дневнике: «Письмо от Лёвы – нехорошее очень. Помоги Господи…»

Что значит «помоги Господи»? Выдержать хотя бы *временное* присутствие Лёвы в Ясной Поляне!

В начале августа он пишет: «Очень тяжело. Льва Львовича не могу переносить. А он хочет поселиться здесь. Вот испытание!» В тот же день он говорит Саше:

«Да, да, оказывается, Лев хочет поселиться здесь, а он мне

очень тяжел, но я должен приготовиться, чтобы перенести это как нужно. Мне прямо тяжело его присутствие, ну, да, нужно крепиться».

В конце концов сам Лев Львович понял, что его присутствие в Ясной Поляне нежелательно. И он стал собираться в Париж, чтобы продолжить обучение скульптуре. Но этому мешало одно интересное обстоятельство. Лев Львович находился под судом за то, что несколько лет назад выпустил в своем издательстве «Доброе дело» несколько запрещенных брошюр отца, в том числе «Разрушение Ада и восстановление его» – сочинение, которое считалось крамольным с православной точки зрения и которое, кстати, очень не любила Софья Андреевна. Заседание суда откладывалось по неизвестным причинам. Таким образом, Лев Львович оказался невольным «узником» Ясной Поляны. Наконец, дали разрешение на выезд за границу. 16 сентября 1910 года Лев Львович уехал в Париж.

Больше он не видел отца живым…

«В последний день, что я виделся с ним живым, он виноватым голосом и совсем неожиданно сказал мне:

– Если я имел такую славу в жизни, стало быть, я наговорил много глупостей…

В светлые минуты, когда он был истинно добрым и смиренным, я не мог не любить его. Но я не мог любить его за его несправедливость по отношению к моей матери и за его тщеславие выше всего. Это было ни умно, ни честно» («Опыт моей жизни»).

В этих словах много несправедливого. Особенно о «тщеславии». Тщеславный человек не кается в своей славе. Он упивается ею. Она является настоящим двигателем его творчества. Сказать такое о Толстом было нелепостью. Через год после его смерти дочь Татьяна напишет об отце в дневнике золотые слова:

«Прочла книжечку Гусева. В одном письме папа́ к Гусеву он пишет: “Вы лучше меня”. Это навело меня на следующие мысли: единственная причина, почему книги, взгляды и жизнь отца настолько выше общего уровня и приковали к нему внимание всего света, это та, что он всю жизнь искренно сознавал и изо всех сил боролся со своими страстями, пороками и слабостями. Его громадный талант, гений доставили ему заслуженную литературную славу среди так называемого “образованного общества”, но что всякий крестьянин изо всякого глухого угла знал, что мог обратиться к нему за сочувствием в делах веры, самосовершенствования, сомнений и т. п., – этому он обязан тем, что ни одного греха, ни одной слабости в себе он не пропустил,

не осудив ее и не постаравшись ее побороть. Натура же у него была не лучше многих, может быть, хуже многих. Но он никогда в жизни не позволил себе сказать, что черное – белое, а белое – черное или хоть бы серое.

Остроумное сравнение числителя дроби с наличными качествами человека и знаменателя с его мнением о себе более глубоко, чем оно кажется.

У папа́ был огромный числитель и маленький знаменатель, и потому величина была большая».

Возможно, неприязнь отца к сыну главным образом объяснялась именно тем, что нравственная и умственная природа Льва Львовича была устроена ровно противоположным образом. Наверное, он был лучше и добрее отца. Нет сомнений, что Толстой искренне мучился из-за того, что не может полюбить своего третьего сына, да еще и тезку, испытывая при этом куда более теплые чувства к остальным сыновьям. В дневнике он не раз признавался, что больше всех любит как раз Андрея – самого беспутного и самого противоположного по взглядам сына. Но именно во Льве Втором Толстой видел свое даже не кривое, а *перевернутое* отражение. Видел самого себя, каким он мог бы стать. И это больше всего терзало его.

В июле 1910 года Толстой записал в дневнике: «Понял свой грех относительно Льва: не оскорбляться, а надо любить… Мне надо только благодарить Бога за мягкость наказания, которое я несу за все грехи моей молодости и главный грех – половой нечистоты при брачном соединении с чистой девушкой. Поделом тебе, пакостный развратник. Можно только быть благодарным за мягкость наказания».

Но это покаяние едва ли утешило бы Льва Львовича.

Послесловие
Разрушение личности

После смерти отца у Льва Львовича была возможность по-новому осмыслить свои отношения с ним, сделать какие-то выводы, прежде всего о себе самом, и начать жить по-новому, без прежних метаний. Ведь и условия для этого вполне сложились: он был еще достаточно молод, делал успехи в скульптуре, у него была прекрасная заботливая жена Дора и пятеро детей.

Много лет спустя в 1932 году его младшая сестра Александра Львовна писала старшей сестре Татьяне Львовне Сухотиной-Толстой: «Мы, дети Толстого, должны бы были всю жизнь быть настороже, помнить что ли, что мы получали, мы не заслужили. Мы же всегда считали, что получали слишком мало».

К сожалению, Лев Львович или не понимал того, что быть сыном Толстого – это великая ответственность и крест, или, как раз хорошо понимая это, не желал с этим мириться. В результате вся его жизнь превратилась в «историю заблудившейся души», как верно заметила его исследователь Абросимова.

После смерти отца он прожил еще тридцать пять лет – большую часть своей сознательной жизни. Но нельзя сказать, что эти годы были украшением в его биографии.

В своих воспоминаниях Лев Львович пишет, что после «мрачных похорон» отца немедленно вернулся в Париж и «с еще большей жадностью набросился на свои работы, не желая ни о чем думать, никого видеть и ни о чем больше мечтать». Увы, это было не так.

12 ноября он действительно покинул Ясную Поляну и поехал в Петербург. Через неделю после похорон Толстого в газете «Новое время» появилось письмо Льва Львовича под названием «Кто виновник». «Считаю своим долгом пока публично объявить следующее. С документами в руках всему миру я могу показать, что прямым и единственным виновником тяжелой душевной драмы, поведшей за собою печальный конец моего отца, его нечеловеческих страданий является не кто иной, как В. Г. Чертков…»

В этом письме Лев Львович во всем винил одного Черткова, утверждая, что тот «отнял у нас Толстого». Имя сестры Саши, с которой он о чем-то долго говорил перед отъездом из Ясной Поляны, не упоминалось, хотя трудно предположить, чтобы к тому времени он еще не знал о завещании отца, по которому всё его литературное наследие формально переходило одной Саше.

Но в тот же день, когда было опубликовано письмо, Тульский окружной суд обнародовал завещание Толстого. Тем не менее, в следующем письме в «Новое время» Лев Львович опять не упоминал сестру, всю ответственность возлагая на Черткова. «Обвиняю Черткова в том, что он вовлек отца в тяжелую внутреннюю борьбу, в умалчивание о завещании от самых близких ему людей, тогда как сам завещатель хотел объявить им о своем намерении, что привело отца к страшным душевным страданиям и преждевременной смерти».

Нельзя сказать, что это было неправдой. К тому же, не называя сестру, брат поступал благородно по отношению к ней.

Но в чем был смысл этих писем, породивших настоящий скандал в прессе? Заклеймить Черткова и тем самым бросить тень на его будущие старания по изданию полного собрания сочинений отца? Доказать, что он был не другом, но врагом Толстого?

Однако, все понимали, что дело обстояло гораздо сложнее. Неслучайно, никто из родных публично не поддержал Льва Львовича, а его брат Илья Львович даже оспорил его точку зрения в газете «Русское слово». Там же против брата выступила и Саша.

Проявляя бешеную публичную активность, Лев Львович, что называется, «рвал и метал». Вместо поисков мира между сыновьями Толстого, Сашей, Софьей Андреевной и Чертковым, так необходимого для работы над наследием отца, он объявлял войну.

Но кому? Чтобы оспорить завещание, нужно было судиться с Сашей. Некоторое время Лев Львович был близок к этой мысли, но затем от нее отказался. «Конечно, судебного процесса не поведу, – писал он матери 19 ноября, – хотя мог бы его выиграть…»

Он был недалек от истины. Ни власти, ни общественное мнение, особенно в лице писателей того времени, не симпатизировали Черткову. Но выиграть процесс надо было не у него, а у родной сестры, младшей, самой любимой в конце жизни дочери Толстого.

Собственно, один из таких процессов и выиграла Софья Андреевна, оспорив в Сенате право дочери на часть рукописного наследия Льва Николаевича, которую жена Толстого считала своей собственностью и хранила в Румянцевском и Историческом музеях.

Все-таки у Льва Львовича хватило здравого смысла не судиться с сестрой. Ведь это означало бы кроме всего прочего доказывать, что перед уходом из Ясной Поляны Толстой находился в состоянии старческого слабоумия и не отвечал за

свои мысли и поступки.

Но насколько искренне он жалел отца, обвиняя одного Черткова в его преждевременной смерти?

В письме к матери от 23 декабря 1910 года, написанном из Парижа, он писал о нем крайне грубо:

«Шопенгауэр говорит: есть три этапа морали:

1) Эгоизм.

2) Жалость.

3) Аскетизм.

Увы, отец не сошел в своей жизни с первой ступени. Вторая была не достигнута даже в конце жизни. К чему же всё это его учение?»

В одном из мемуарных набросков об отце, вспоминая его, каким тот был в конце жизни, сын писал о нем и вовсе чудовищные слова: «Я скажу еще одну ужасную вещь. Он был завистлив. Он завидовал мне, моим годам, моим путешествиям, может быть, даже тому, что я лепил мою мать, а не его в последнее лето…»

В виду такого отношения сына к отцу можно ли удивляться тому, что в душевном выборе между ним и Чертковым Толстой неизменно выбирал Черткова, преданного ему во всем.

Казалось бы, смерть отца должна была умиротворить Льва Львовича, как это случилось с Софьей Андреевной в конце ее жизни. После судебных разбирательств с Сашей она смирилась со всем, все рукописи отдала дочери и последние девять лет своей жизни посвятила созданию в Ясной Поляне музея Толстого…

С Львом Львовичем всё происходило куда сложнее. Парадоксальным образом смерть отца не избавила сына ни от глубокой зависимости от него, ни от ревности, ни от ненависти.

При этом он продолжал его любить! Но какой-то очень болезненной любовью…

Весной 1911 года он отправляется в Америку читать лекции. Он не мог не понимать, что его пригласили как сына Толстого. В письме к матери из Америки сообщает: «Здесь очень интересно, и меня носят на руках. Приглашения всюду и ежедневно, в клубы, общества, частные дома. Говорю речи по-английски, сижу на почетных местах». Но в этом же письме пишет: «Об отце говорю мало». И здесь же: «Подарил в здешний музей бюст отца из бронзы. Приняли с благодарностью. Другую голову отца продал в бронзовый магазин, лучший в Америке. Надеюсь окупить расходы по путешествию и, может быть, заработать для семьи».

В письме к матери, написанном до поездки, он определенно говорил, что едет в Америку «с возможностью заработка». Туда же собирался его брат Илья с целью… продать Ясную Поляну

американцам. Речь шла, впрочем, не об усадьбе с домом, а только о земле. Но и эти попытки двух сыновей Толстого, Ильи и Андрея, вызывали грусть у их матери, а в прессе породили скандал. Намерение сыновей Толстого продать яснополянскую землю иностранцам вызвало глубокое возмущение русского общества, выразившееся в многочисленных статьях и письмах в редакции. К чести Льва Львовича, он в этом так и не состоявшемся предприятии не участвовал, а в письме к матери назвал это «химерой».

Но его особая позиции в этом щепетильном вопросе объясняется не заботой о том, чтобы Ясная Поляна стала национальным мемориалом его отца. Об этом мечтала Софья Андреевна, но не сын. То, что вызывало грусть у матери («Вечером нахлынули сыновья Илья, Андрей и Миша, выпросили 1500 рублей и собирают Илью в Америку продавать Ясную Поляну, что мне и грустно, и противно, и не сочувственно. Я желала бы видеть Ясную Поляну в русских руках и всенародных», – пишет она в дневнике в январе 1911 года), не нравилось сыну Льву по другим причинам. Он думал не о мемориале, а об утрате родового имения. До конца своих дней он не мог простить отцу того, что Ясная Поляна так и не стала местом для жизни Толстых, и, конечно, его, Льва Львовича, в первую очередь. Даже спустя многие годы, после революции и гражданской войны, когда при Советской власти Ясная Поляна окончательно стала музеем-усадьбой Л. Н. Толстого, бедный Лев Львович в душе отказывался признавать ее в этом качестве и мучился из-за потери «родового гнезда». Он писал сыну Никите в 1931 году, сообщая о полученном из России письме от старшего брата Сергея Львовича Толстого:

«Сегодня милое письмо из Ясной от дяди Сережи. Пишет, там дивное солнечное лето. Он играет один в старой «зале» и из прежних только он и Илья Васильевич, лакей. «Жутко, как на кладбище…» Voila! И это всё сделал твой дед и мой отец вместо того, чтобы нам теперь всем наслаждаться в Ясной!

Ничего не переменилось к лучшему.

Только к худшему. Чернь остается чернью, которую надо держать в кулаке. И вот она идет кланяться на могилу великого Толстого, не понимая, что он принес России и той же черни одно только зло своей ограниченностью ума и тщеславием и христианской гордостью».

Таким отношением к отцу уже после его смерти отличался лишь один из сыновей Толстого – Лев Львович.

Но, осуждая отца за эгоизм, гордость, тщеславие, он, очевидно, сам должен был являть образец нравственной жизни.

Как минимум, противопоставить трагическому финалу семейной жизни отца и матери собственную счастливую семейную историю. Так не случилось…

После смерти отца, с его строгим и порой осуждающим взглядом на сына, жизнь Льва Львовича стремительно покатилась под откос.

С ним произошло то же, чем переболел его отец в молодости, он стал игроманом. Но если у Толстого это было кратковременное увлечение, его сын заболел этим на всю жизнь.

Неизвестно, кто привел Льва Львовича в игорное заведение зимой 1912 года. Он пишет о каком-то «интеллигенте», который пригласил его в притон под вывеской «Литературно-художественное общество», где «играло и ужинало несколько плохих литераторов и артистов». С этого момента он проводил за игрой целые дни, а порой и ночи. Справиться с игорной страстью он не мог.

Но и здесь виновником падения, по его мнению, был не он, а его отец. И еще прадед со стороны матери – Александр Михайлович Исленьев, знаменитый в свое время игрок, выигрывавший и проигрывавший в один день имения и состояния. Страсть к игре сын Толстого объяснял генетической предрасположенностью.

А также тем, что вся «русская жизнь быстро катилась под гору». Приближалась русско-германская война…

Начало войны сыграло в жизни Льва Львовича роковую роль. Война ненадолго отрезвила его от игорной страсти… и едва не разрушила его семью.

Лето 1914 года было последним, которое Лев Львович провел в Ясной Поляне вместе с женой и детьми. Когда стало понятно, что война с Германией неизбежна, «Дора первая бесповоротно и сейчас же решила увозить детей в Швецию». Лев Львович поставил ультиматум: если жена с детьми уедет в Швецию, он сам поедет на войну, скорее всего в качестве работника Красного Креста.

«Опасность разлуки с семьей беспокоила меня, но в то же время во мне внезапно проснулся новый человек, которого я сам еще хорошо не знал в себе, – проснулся русский», – пишет он в воспоминаниях. На самом деле это был второй всплеск патриотизма в его душе. Первый – был в начале русско-японской войны.

Трудно вообразить, что было бы с ним, если бы он уехал с семьей в Швецию. Отец Доры, доктор Вестерлунд, во время войны симпатизировал немцам. Дора боготворила отца. И хотя, как пишет ее сын Павел, она «стремилась быть лояльной по

отношению к России», «ей трудно было вступать в конфликт со своим горячо любимым Па». Вообще, за всё время совместной жизни в России Льву Львовичу, видимо, не удалось привить своей семье чувство русского патриотизма. Например, Дора была увлеченной читательницей и очень много читала вместе с детьми. Но характерно, что в воспоминаниях сына Павла в списке литературы, которую она читала с детьми, нет ни одного русского имени. Нет там и Льва Толстого. Когда в 1915 году Дора родила четвертую дочь, Лев Львович телеграммой просил назвать ее Наташей в честь героини «Войны и мира». Но Дора назвала ее своим именем Доротея, по-русски – Дарья.

Их сыновья Павел, Никита и Петр, находясь в России, одно время учились в Тенишевском коммерческом училище. Это было привилегированное заведение для детей состоятельных родителей. Одновременно с ними там учились будущие писатели Олег Васильевич Волков (его отец был директором правления русско-балтийских заводов) и Владимир Владимирович Набоков (отец – знаменитый политик, один из лидеров партии кадетов).

Но насколько прочно связывала Дора будущее своих детей с Россией? Об этом трудно судить. Нет сомнений, что смерть ее сына-первенца в Ясной Поляне всегда оставалась тяжелым камнем в ее душе. В Ясной Поляне родился также второй сын Павел, но это случилось еще до смерти сына Лёвушки. Ни одного из последующих семерых детей она не рожала в России – только в Швеции, под надзором Вестерлунда. А после того, как ее муж заболел игроманией в тяжелой форме, так, что она была вынуждена заставить его переписать их дом по Таврической улице на ее имя, ее отношение к России, по-видимому, изменилось в целом. Во всяком случае, Дора говорила старшему сыну Павлу, что «даже самая богатая, самая знатная, самая красивая девушка в России не достойна руки ее сына…»

Впрочем, патриотизм Льва Львовича, загоревшийся в нем в начале войны, тоже был недолгим.

6 августа 1914 года он поехал в Варшаву в качестве уполномоченного Красного Креста. Но уже в середине сентября вернулся в Петроград, пораженный тем, что он увидел даже не на фронте, а в тылу.

В Варшаве он принимал поезда с ранеными, устраивал госпитали, ездил по поручениям в другие польские города и крепости. Среди раненых были не только русские, но немцы, венгры и австрийцы.

«…ночью обхожу один из наших больших госпиталей на тысячу раненых, помещавшийся в залах бывшего женского института. Многие стонут, жалуются и просят помочь, но один

кричит благим матом на весь госпиталь. Ему ампутировали ногу, и теперь, придя в сознание, он вопит: “Дайте ножик – я зарежусь! Дайте ножик – я зарежусь!”»

А вот «больница, отведенная для тяжелораненых немцев. Ни одного доктора, один только фельдшер на несколько сот человек. В отдельной небольшой комнате, человек на восемь безнадежных, несколько человек умирают без всякой помощи. У одного весь живот раскрыт, и никто еще не помог ему».

Картины военного быта, которые рисует Лев Львович в письмах к родным, в воспоминаниях, а также в нескольких очерках и рассказах, чем-то напоминают севастопольские очерки его отца. Но при этом всё время чувствуется: это *другая* война. Не война, а мясорубка! И его душа не выдержала…

После поражения армии генерала Самсонова под Танненбергом и гибели самого Самсонова, когда немецкие войска под командованием генерала Гинденбурга окружили и уничтожили пять русских дивизий, Лев Львович решил, что «война уже проиграна и вести ее дальше было бессмысленно».

Впрочем, он утверждал, что еще до отъезда на фронт, «когда лично знакомый мне военный министр Сухомлинов наивно заявил мне, что “мы будем воевать – с Царем и молитвой”», он почувствовал «глубокий ужас перед тем, что нас ожидало». Так или иначе, но милитаристские настроения в нем сменились пацифистскими, а патриотизм пошатнулся. «Не вина была генерала Самсонова, что он был разбит, не заслуга Гинденбурга, – вина была в отсталости России, в ее гнилом обществе и диком народе, в ее допотопной религии, в ее слабом царе, а главное, в ее политической незрелости…» – пишет Лев Львович в своих воспоминаниях.

Но все-таки боль за свое отечество не покидала его. В Петрограде он увидел, что там начались проблемы с продовольствием и спекуляция хлебными запасами. В статье «Хлеб, хлеб!» («Новое время, 1915, 11 февраля) он пытался убедить правительство остановить вывоз хлеба за границу: «В последние дни идет сплошной ропот и в обществе, и в народе по поводу того, что наш хлеб через Финляндию и Швецию идет в Германию и идет в таких громадных партиях, каких даже раньше в мирное время от нас не увозилось».

В воспоминаниях Лев Львович утверждает, что в 1916 году он был в Могилеве, где находилась Ставка Его Императорского Величества, но царь за недостатком времени не принял его; впрочем, просил его передать ему докладную записку. Об этом есть упоминание в «Ежедневнике» Софьи Андреевны от 6 сентября 1916 года: «Лёва написал докладную записку государю и

хочет ехать ее подавать». Сохранился и черновой текст этой записки под названием «О твердых ценах, монополизации хлебной торговли и учреждении особого продовольственного ведомства». В поздние годы он даже написал для шведов статью о своей встрече с царем в Могилеве, что расходится с его же собственными воспоминаниями. Но, согласно разысканиям Валерии Абросимовой, нет ни одного документа Николая II и его ближайшего окружения, где были бы сведения о встрече Льва Львовича с царем в Могилеве, как и о его докладной записке. По всей видимости, встреча была его поздней фантазией, а записка к царю не поступила… Последнее письмо Льва Львовича Николаю II было написано в конце июля 1916 года из Ясной Поляны. Это было отчаянное послание, в котором сын Толстого умолял царя взять его к себе на службу хотя бы в качестве «низшего слуги». На этом письме царь оставил синим карандашом пометку %, что означало «Читал».

Читал, но не ответил…

Фактически это был конец общественно-политической карьеры Льва Львовича. Да и в целом его дела складывались неважно. В различных газетах появлялись его статьи, рассказы и стихи, но можно определенно сказать, что его литературная судьба тоже не удалась. Между тем, продолжая играть, он окончательно запутался в долгах, в которых погряз еще до отъезда на фронт. Менялось отношение к нему Доры, которая начала понимать, что ее муж отныне представляет не опору, а опасность для семьи.

В свою очередь менялось его отношение к Доре. «С того дня, как Дора с детьми оставила меня, я невольно охладел к ней и в моем одиночестве невольно теперь почувствовал себя свободным, каким я не был никогда прежде, хотя я сам этой свободы не искал. Мне казалось, что связь моя с семьей, может быть, навсегда порвалась. Если жена бросила меня и Россию в такие времена, несмотря на мои просьбы не делать этого, если она не поняла тех чувств, которые война разбудила во мне, она не только перестала быть в моих глазах той женой, какой должна была быть, но совершенно охладила мое чувство к ней».

Так следует из воспоминаний. На самом деле всё было куда сложнее и совсем не к чести Льва Львовича. В действительности Дора с детьми вернулась к мужу из Швеции в Петроград уже в октябре 1914 года, причем на руках у нее была новорожденная дочка Танечка. А вот Лев Львович… Перед отъездом на фронт, пытаясь заглушить свои переживания в связи с отъездом жены в Швецию неуемной карточной игрой, он влез в долги и заложил в банк ценные бумаги семьи.

Но на проценты с этих бумаг в основном и жила его семья.

В отчаянном письме к матери от 21 сентября 1914 года он признавал, что «сделал ужасную подлость» по отношению к Доре и умолял выслать семь тысяч рублей, чтобы выкупить бумаги и погасить частные долги. Он спешил сделать это до приезда Доры, потому что в ином случае ему было бы стыдно посмотреть супруге в глаза.

Как ни любила Софья Андреевна своего сына, в этот раз она взбунтовалась! В недошедшем до нас письме она, судя по его ответу, обвинила сына во лжи и отказалась выдавать ему деньги на руки.

«Вы ошибаетесь, дорогая мама, и напрасно подозреваете меня во лжи. Я почти никогда не лгу, а Вам солгать я никогда бы не мог. То, что я написал Вам, вся правда. Играть я больше никогда не буду… Бумаги мои *все* заложены в здешнем купеческом банке. Закладные бумаги у меня. Если дадите Андрюше деньги, он может выкупить бумаги и даже взять их на руки, если уж до того дошло, что мне верить нельзя. Бумаги заложены в 5000 рублей. Частных долгов 2000. Из них тысячу надо заплатить сейчас, и это тоже мог бы сделать Андрюша, если Вы мне больше не верите».

Софья Андреевна так и поступила. Она перевела сыну 1000 рублей, а остальные деньги передала с его младшим братом Андреем. Лев Львович в письме благодарил мать и обещал, что такая ситуация больше никогда не повторится.

Но это была неправда…

Летом 1915 года он вместе с семьей гостил у тестя в Хальмбюбуде, то есть его связь с семьей жены еще не была прервана. «Летом 1915-го года я недолго гостил в последний раз в Halmbyboda, но ничего не помню об этом времени, так напряженно я жил моей личной русской жизнью и интересами».

Так в воспоминаниях. На самом деле он провел в Швеции всё лето, и пять его писем к матери говорят о том, что он если и скучал там, то уж точно не страдал. Отношения его с тестем были хорошие. Дора снова была беременной. Купание, походы за грибами, чтение русских газет, вечерние беседы со старшими детьми. Ничто, казалось, не предвещало семейной катастрофы.

10 сентября 1915 года он с двумя старшими сыновьями, Павлом и Никитой, вернулся в Петроград. Павел уже был зачислен на казенный счет в Императорское училище правоведения, туда принимали и Никиту. Это было сделано по высочайшей милости после трех писем Льва Львовича к царю.

Но когда в конце 1915 года в Петроград приезжает Дора с остальными детьми, в том числе и новорожденной Дашей, Лев Львович принимает решение уйти из семьи.

Что было причиной этого решения? Его уже нельзя было объяснить «предательством» Доры. Скорее всего, причиной стала несчастная игромания сына Толстого, от которой, вопреки всем клятвам матери, он так и не смог избавиться… 22 декабря 1915 года Софья Андреевна напишет в «Ежедневнике»: «Рано утром приехал сын Лёва. Сам себя бичует за игру и беспорядочную жизнь. От этого не легче! А сколько в нем было хороших задатков!»

О том же пишет в дневнике в начале 1916 года сестра Татьяна Львовна: «Лёва уехал от семьи. Говорит, что насовсем. Дора, по его словам, ему чужая. А она, бедная, любит его… А ему, как он говорит, каждый человек в клубе ближе, чем она».

В то же время приезд Лёвы и совместная жизнь с ним в Ясной Поляне стали радостным событием для Софьи Андреевны. Единственный из сыновей он скрашивал ее одиночество. «Грустно, что расстроилась семейная жизнь Лёвы, – пишет она в марте 1916 года, – а мне лично настолько легче и приятнее живется с ним, чем одной…»

Почти год он прожил с матерью в Ясной Поляне. «Жить с ним было очень приятно, – сообщала родным Софья Андреевна, – у него прекрасный характер; он много играл, читал иногда нам вслух, писал, гулял и ездил верхом на Делире».

Делир – это любимая лошадь Льва Николаевича, пережившая своего хозяина. В Ясной Поляне Лев Львович заново обращается к учению своего отца, открывая в нем новые грани и горизонты, но в то же время имея в виду и практическую цель: он готовится к мировому турне с чтением лекций о Льве Толстом.

Увы, поселившись в Ясной Поляне, он играл не только на рояле. «По временам я ездил из Ясной в Москву и Тулу и, к стыду моему, не раз предавался моей страсти – игре, без которой, казалось мне, я не мог тогда жить. Мне нужно было временами это сильное возбуждение, чтобы не думать о моей жизни…»

К тому времени он уже понимал, что жизнь идет под откос. И в минуты прозрения начинал догадываться, что не только отец не был тому виной, но именно со смертью отца он потерял нравственные опоры в своей жизни. Он писал сестре Татьяне: «Таня, я погибаю. Вчера думал о папа́. Если бы он был, я был бы другим. Одно его присутствие заставляло жить лучше. Его смерть и всё после этого меня погубило. Сегодня ночью вдруг ясно вижу его перед собой в тяжелом полусне. Лицо красивое, строгое, серьезное и смотрит на меня в упор. Я тоже смотрю на него жадно, ожидая совета, слова. И вдруг в отчаянии я ему закричал: «Папа́, папа́, папа́!» Тогда голова свернулась в сторону, поднялась в темноте и исчезла».

Осенью 1916 года вернувшись из Тулы, где он играл в «железку»[49] в гостинице «Петербургская», он вошел в залу яснополянского дома и увидел за общим столом девушку, бледную, с черными волосами, большими «орлиными» глазами, высокую и стройную. Это была француженка Мадлен Гро, гувернантка детей его брата Михаила. Она привлекла его иначе, чем когда-то Жизель, не умом и серьезностью, а красотой и простым нравом. На другой день он гулял с ней по полям вместе с детьми брата и чувствовал, что они «невольно и естественно были физически привлечены друг к другу». Вечером того же дня он просидел в комнате Мадлен до поздней ночи. Они «говорили без конца обо всем и о том, как хорошо было бы уехать вместе куда-нибудь далеко, в Индию, например, или Китай и скрыться, надолго спрятаться от ужасов России и Европы».

Полушутя, полусерьезно он предложил ей быть его секретаршей на время готовящегося мирового турне, ехать через Сибирь в Японию, затем – Китай, Индию, Америку.

11 ноября 1916 года Лев Львович уехал из Ясной в Москву, оттуда – во Владивосток. Провожая его, Софья Андреевна с грустью сказала, что они никогда не увидятся. Сердце матери не ошиблось: ее сын больше не возвращался в родной дом…

Во Владивостоке он ждал Мадлен, которая задержалась в Москве из-за отсутствия паспорта. Но француженка преподнесла ему сюрприз: она приехала не одна, а со своим поклонником, студентом, который собирался на ней жениться. Зачем она потащила его через всю страну – остается загадкой. Но Лев Львович поставил ей условие: или она едет с ним в Японию в качестве секретарши, или отправляется обратно в Москву. Мадлен выбрала его.

В воспоминаниях он подробно описывает свое «кругосветное путешествие», в которое отправился с двумя подготовленными лекциями: «О жизни и учении Л. И. Толстого» и «Проблемы всеобщего мира». Вскользь он упоминает о том, что перед отъездом в Москве выиграл, а затем проиграл большие деньги. Путешествия были его стихией, этим он отличался от отца. В Японии они с Мадлен провели два месяца. Там царил культ Толстого и даже издавался отдельный, посвященный ему журнал. Лекции Льва Львовича пользовались успехом, но заработок был мизерный. Надеясь заработать в Америке, он отправился в Сан-Франциско. По пути через океан на Гавайях он узнал об отречении от престола императора Николая.

Остановка в Гонолулу была памятна еще и тем, что там его озарила новая «истина»: для того, чтобы человек жил максимально долго, а возможно и стал бессмертным, он должен

непрерывно двигаться на Восток навстречу восходящему Солнцу со скоростью вращения Земли. Эта совершенно безумная с научной точки зрения идея не покидала его до конца жизни. Он посвятит ей третью часть своей книги «Опыт моей жизни», назвав ее «Lungarno»[50], и будет до конца дней уверен, что осчастливил человечество.

«Эта теория – величайшее открытие, когда-либо сделанное на земле. Над ним саркастически улыбались мои современники, в том числе люди науки, говоря, что в движении на запад или на восток нет никакой разницы, но я так глубоко убежден в благотворном влиянии движения на восток, что ничто не может поколебать меня в этом. Я думаю даже, что оно откроет людям путь к физическому бессмертию».

В Сан-Франциско его ожидал недружеский прием. Паспортный чиновник сразу задал ему вопрос: является ли Мадлен его женой?

«Я ответил, что нет, но что она была моей секретаршей.

– Почему же вы сказали в Honolulu, что она ваша жена?

– Она неожиданно попросила меня сказать так, и я не хотел ей отказать.

– Вы живете с ней, как с женой?

– Нет. Она моя секретарша и только…

– Вы можете поклясться в том, что вы не имели с ней половых отношений?

– Я не клянусь никогда».

На самом деле он просто не хотел лгать. Мадлен не была его женой и не была секретаршей. Она была его любовницей. Но лгать было противно природе Толстых. Вспомнил ли в этот момент Лев Львович, как они с братом Андреем летом 1910 года таким же образом загоняли в угол Сашу и отца, добиваясь от них правды о завещании, и как родные им люди корчились под их напором?

Но едва ли он тогда подумал об этом.

Несчастной, а, может быть, как раз счастливой чертой характера Льва Львовича, позволявшей ему чувствовать себя на высоте даже в самые тяжелые периоды жизни, была уверенность, что в его бедах виноваты обстоятельства, а не он.

«Архитектор виноват».

В Сан-Франциско он встретил брата Илью Львовича, который прибыл сюда раньше, уйдя из своей многодетной семьи и намереваясь жениться на Надежде Климентьевне Катульской. Его первая жена Софья Николаевна тяжело переживала разрыв с мужем и дала согласие на развод только в 1921 году. В Сан-Франциско Илья Львович читал лекции об отце в местном

водевильном театре между выступления комиков и шансонье, неплохо на этом зарабатывая. Здесь же Лев Львович встретился со скульптором Паоло Трубецким, другом семьи Толстых, создавшим целый ряд скульптурных портретов Льва Толстого, в том числе знаменитую фигурку «Толстой верхом». В Америке, как пишет Лев Львович, он лепил групповой семейный портрет одного из королей сахарной империи.

Сан-Франциско был живым городом в культурном отношении, и Лев Львович начал строить далеко идущие планы: задумал новую серию лекций, хотел выпускать свой журнал, в письме к матери просил прислать ему его русские сочинения, намереваясь издавать их в Америке… Но Мадлен получила письмо от матери, которая была серьезно больна, и решила вернуться в Россию. Лев Львович не мог отправить ее одну. Его «секретарша» к тому времени была беременной. Почему-то в Россию они отправились из Канады, до этого проехав через весь американский континент. В отличие от Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк не пришлись по душе сыну Толстого. В Нью-Йорке лекция о всеобщем мире не имела успеха, у американцев были свои взгляды на войну и русскую революцию. Раздраженный Лев Львович писал об американцах:

«Это народ грубый, низкопробный, настолько мало духовно и нравственно цивилизованный в своей массе, что становится прямо обидно за человека».

По пути из Ванкувера в Йокогаму их корабль попал в шторм. «Madeleine внезапно почувствовала острую боль внизу живота, – вспоминал Лев Львович. – Скоро целый поток густой крови залил ее койку. В этом море крови я поднял на ладонь синий трупик уже сформировавшегося ребенка с большой головой, величиной с птичку, и показал его Madeleine. Потом я подошел к люку и выбросил его в море…» (Опыт моей жизни).

В Йокогаме Мадлен выносили с корабля на носилках. После выкидыша она отказалась жить со Львом Львовичем как любовница, опасаясь новой беременности, что, как он пишет, на него «влияло очень дурно во всех отношениях». Впрочем, характер Мадлен не вполне ясен. По-видимому, она не так уж и спешила к больной матери во Францию. Приплыв из Японии на Цейлон, они со Львом Львовичем местным пароходом отправились в Индии, посетили Джайпур, Удайпур, Бенарес и Бомбей, подолгу осматривая их экзотические достопримечательности. В Бомбее они выяснили, что морское сообщение с Европой отсюда прекращено. Какое-то время Льва Львовича грела идея вообще остаться жить в Бомбее и зарабатывать здесь скульптурой. Но Мадлен все-таки стремилась

во Францию, и они вынуждены были отправиться в Сингапур, а уже оттуда морским путем в Марсель.

Путешествие было опасным. Шла война, и за французским кораблем гонялись немецкие субмарины. «Мы проходили мимо уже потопленных судов, мачты которых торчали над водой». Однажды от почти неминуемой атаки подводных лодок их спас шторм.

В Марселе он расстался с Мадлен. «Мне была тяжела эта разлука, хотя, как всегда и во всем, я отнесся к ней философски, не желая делать из нее страдание… Проза жизни сильнее идиллий…»

На этом заканчиваются воспоминания Льва Львовича. Третья книга «Опыта…» посвящена философским размышлениям. О его дальнейшей судьбе мы узнаём из разысканий Абросимовой, воспоминаний его сына Павла, писем и дневников Татьяны Львовны…

О его жизни во Франции в 1917–1918 годах почти ничего не известно. Весной 1917 года его жена Дора с восемью детьми окончательно покинула Россию и переехала в Швецию. По воспоминаниям сына Павла, Лев Львович встречался с Дорой в Стокгольме, но эта встреча была почти конспирантивной и втайне от детей. Только самому старшему Павлу она призналась в этом. «Он был такой жалкий, как будто совсем опустился. Гладко выбритый, как американец», – сказала она сыну. Однако сразу после этого Лев Львович приехал в Хальмюбуду но жить остановился в гостинице в Упсале. Маленькая дочь Таня спрашивала о нем: «Граф – это ведь наш папа́?» Сыну Павлу он совсем не показался жалким: «Папа́ выглядит не так уж плохо, как сказала мама, и он был очень элегантен».

В июне 1918 года Лев Львович неожиданно возвращается в Петроград. С точки зрения здравого смысла, это был самоубийственный поступок! В большевистской России он немедленно оказался не выездным. Для справки: чтобы получить разрешение на вывоз смертельно больного Александра Блока в финский санаторий потребовались огромные усилия Горького и Луначарского; решение о выезде поэта принималось на заседании ЦК партии с участием Ленина; при этом отказали в выезде его жене Любови Дмитриевне Менделеевой, что сделало сам выезд поэта невозможным. 1918 год был одним из самых страшных периодов петроградской жизни, когда люди поедали трупы лошадей, когда даже Горький выступал против большевиков и Ленина в газете «Новая жизнь», которую в июле 1918 года закрыли. На что рассчитывал Лев Львович?!

В воспоминаниях сына Павла дается невероятная версия

причины поездки отца в Россию. Будто бы он должен был достать из тайника одного петроградского дома дорогие бусы из жемчуга, за которые граф Строганов обещал щедрое вознаграждение. Одновременно Дора надеялась, что он продаст дом на Таврической «Эммануэлю Нобелю или еще кому-нибудь».

Если так было в действительности, то, отправляясь в большевистский Петроград, Лев Львович ввязывался в безнадежную и смертельно опасную авантюру.

О том, насколько опасным был его приезд в Россию, можно судить по тому, что 20 сентября на озере Валдай на глазах своей семьи, в том числе малолетних детей, был расстрелян ведущий «нововременский» публицист Михаил Осипович Меньшиков. 5 февраля 1919 года в Сергиеве от голода и болезней скончался другой постоянный автор «Нового времени» – философ и писатель Василий Васильевич Розанов. Лев Львович также был сотрудником этой газеты. И можно с уверенностью сказать, что если бы не фамилия его отца, его бы наверняка ждала та же участь.

Так или иначе, но 8 июня (по старому стилю) Софья Андреевна пишет в «Ежедневнике»: «Телеграмма радостная от Лёвы от 20/7 июня из Петрограда». Радостная – для Софьи Андреевны, потому что она уже не верила, что ее сын жив. 6 июля она получила от него письмо: «Дорогая мама… Я очень хотел бы приехать, но боюсь, не вернусь, а дела важные, личные, и нельзя оборвать… Я уже хлопочу о новом паспорте, но раньше, как через 10/14 дней, не уеду… Ужасно, что не придется увидаться, а ничего не поделаешь. Судьба сильнее всего остального, и она внутри человека и им двигает… Впрочем, она и снаружи, и она же может прислать меня в Ясную вместо Швеции».

Значит, он не собирался задерживаться в России. Но судьба «снаружи» распорядилась иначе. 18 июля он пишет матери: «Дорогая мама, мои планы рухнули, и я должен остаться в России. Приеду скоро в Ясную, где буду стараться Вам стать возможно менее в тягость. Меня не пускают ни в Швецию, ни куда-либо за границу».

Дома «буржуев» национализировались, поэтому не только продать свой дом на Таврической, но и жить там он не имел права. Некоторое время он ютился в квартире уполномоченного от большевиков по его дому а затем переселился на съемную квартиру Видимо, какие-то деньги у него были, но при этом он голодал, проедал свои вещи и вынужден был обратиться к матери с просьбой о помощи: «Если кто поедет от Вас сюда, пришлите всякой провизии…»

Мать, которая сама испытывала трудности с продовольствием

и которой оставалось жить немногим больше года, опять выручила сына. 23 августа он писал ей: «Дорогая мама, только что получил Вашу чудную посылку со всякими прелестями. Обнимаю, благодарю очень, целую, поздравляю со вчерашним днем рождения и, главное, желаю еще жить и быть здоровой, чтобы нам увидаться еще и пожить вместе. Я был поражен тем изобилием, какое Вы мне прислали. Теперь хоть не умру с голоду и даже других покормлю».

Открыв посылку, он сразу съел три яйца, лепешку и тарелку меда. Он, когда-то кормивший умиравших от голода крестьян. Путь в Швецию был блокирован с двух сторон: большевики закрыли выезд из России, а шведы запретили въезд русских беженцев… Лев Львович оказался в западне. И в этих условиях он совершает поступок, который нельзя объяснить иначе, как чудом!

В условиях информационной блокады со стороны большевиков, когда в Петрограде были запрещены *все* дореволюционные газеты и журналы, он начинает выпускать газету «Весточка». Она существовала две недели, за которые вышло десять номеров. Это была газета гуманистической направленности в духе учения Толстого. «На страницах маленькой газетки, на плохонькой серой бумаге два Льва Толстых вновь, после длительного перерыва, по-настоящему обрели друг друга», – пишет Валерия Абросимова.

27 августа 1918 года в большевистской России накануне девяностолетнего юбилея отца он обращался к читателям с такими словами: «Религия – основа жизни»; «Чистота жизни есть необходимое условие счастья»; «Не делайте ничего противного вашей христианской совести»; «Царство неба усилием берется…»

Власть задушила «Весточку» не прямым, а косвенным образом. Льву Львовичу запретили давать в газете новостной отдел. Но именно ради него, а не ради идеалов Льва Толстого, раскупалась газета. Тираж ее резко упал, и Лев Львович был вынужден ее закрыть. Тем не менее короткая история «Весточки» поразительна еще и тем, что сын Толстого, мечтавший о собственном периодическом издании со студенческих времен, несколько раз пытавшийся осуществить это и в дореволюционной России, и за границей, единственный раз в своей жизни побывал в роли издателя, и это было в «красной» России! Неисповедимы пути Господни…

В сентябре 1918 года шведские власти неожиданно разрешили Льву Львовичу приехать в Швецию на два дня для встречи с семьей. Также неожиданно Норвегия открыла свои границы. По неизвестным причинам было получено разрешение на выезд и от советских органов. Опять случилось чудо!

24 сентября он на пароходе покидал Россию навсегда, отправляясь в Норвегию, так и не повидавшись с матерью. Впереди ждала неясная жизнь в Европе. Что он чувствовал тогда? Невольно вспоминаются стихи Георгия Иванова:

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу Полярной звезде),
Не оглянулся, не перекрестился.
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре.

В «глухой европейской дыре», которой неожиданно обернулась для эмигранта Льва Львовича некогда восхваляемая им Европа (ее идеалы и ценности он противопоставлял взглядам своего отца, вступая с ним в постоянный споры), ему предстояло прожить два десятилетия, до тех пор, пока его старшие сыновья не примут решение перевезти старого больного отца в Швецию. Эти два десятилетия стали самым несчастным периодом его жизни.

О том, что происходило с ним в первые годы пребывания в Европе, известно мало. По-видимому, шведская семья не приняла Льва Львовича. Возможно, Дора и продолжала любить своего непутевого мужа, но против него были решительно настроены Сельмеры – семья старшей сестры Доры, которая имела на Дору сильное влияние. В глазах рассудительных скандинавов, поведение русского графа по отношению к своей многодетной семье было непростительным. И, строго говоря, они были правы…

«На этот раз, – пишет его сын Павел, – родители простились словами Байрона: “Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай!”»

К тому же страстная натура Льва Львовича искала новых любовных приключений. В 1918 году, находясь в Париже после разрыва с Дорой, он познакомился с Марианной Николаевной Сольской, дочерью действительного статского советника Николая Мартыновича Сольского и знаменитой цыганки Ольги Петровны Панковой, более известной под сценическим псевдонимом Ледка. 9 августа 1921 года у них родился незаконный сын Иван (Жан). Лев Львович окончательно развелся с Дорой и женился на Сольской, записав на свое имя Жана. Так появился новый граф Толстой.

Судьба этого графа была удручающе несчастной и легла тяжкой виной на совесть его отца. О чем думал сын Толстого, когда он женился на необразованной и даже попросту неграмотной цыганке, сказать трудно. Возможно, он вспомнил о

поступке своего родного дяди, старшего брата Льва Николаевича – Сергея Николаевича Толстого, который прожил жизнь с выкупленной им из табора цыганкой Марией Михайловной Шишкиной, вступив с ней в законный брак уже после рождения внебрачных детей. Но Сергей Николаевич был не бедным помещиком, а Лев Львович после разрыва с первой семьей оказался в положении нищего. Никого в Европе не интересовали его скульптурный, тем более литературный таланты. Редкий заработок приносили только его воспоминания об отце, публиковавшиеся в русских эмигрантских и французских газетах.

С большим трудом осенью 1921 года ему удалось устроиться в Германии почтовым работником на железной дороге, но это была настолько тяжелая и утомительная работа, что он вскоре ее бросил и вернулся в Париж. Жизнь с Сольской по понятным причинам не сложилась – они были из разных миров. Лев Львович бросает свою вторую семью, оставляя сына Ивана на произвол судьбы.

Марианна Сольская очень болезненно восприняла этот разрыв. Она писала Льву Львовичу отчаянные письма, наполненные орфографическими ошибками («интирисуешься», «предилила» и т. и.), умоляя его хоть как-то помочь ей и Ивану. Работая сестрой милосердия в Ницце, она не могла уделять достаточного времени воспитанию сына. Фактически он воспитывался своей бабушкой Ольгой Петровной Сольской, от исполнения романсов которой («Пара гнедых», «Нищая», «Тебя ль забыть» и другие) до революции сходили с ума все ценители цыганского пения.

Лев Львович писал своей бывшей жене:

«Я не могу больше выносить твоих оскорблений и скандалов, проживать твои деньги и не порвать с тобой окончательно…»

«Я уезжаю совсем. Пожалуйста, не ищи меня и не старайся вернуть. Ничего не изменится, и будут только лишние сцены…»

Сразу после ухода Льва Львовича Марианна Сольская искала защиты у его старшей сестры Татьяны Львовны, которая еще жила в Советской России. В двух письмах к ней она жаловалось на жестокое равнодушие ее брата к судьбе Вани и излагала свой «проект» возвращения с ним в Россию под крыло живущих там Толстых. Но под самими Толстыми в России горела земля. По делу «Тактического центра» дважды была арестована и больше года провела в лагере Александра Львовна (Саша). В 1928 году она была вынуждена покинуть Россию. В 1925 году со своей двадцатилетней дочерью Таней уехала за границу сама Татьяна Львовна Сухотина-Толстая.

Выросший без надзора отца Иван Толстой стал мелким

воришкой. Он был задержан полицией и подлежал суду, несмотря на свое несовершеннолетие. Европейские газеты кричали о том, что внук великого Толстого ворует вещи и драгоценности на пляжах Ниццы. Лев Львович ничего не сделал для спасения своего сына. Зато в письме к сыну Никите в Швецию он всерьез обсуждал вопрос об отправке Ивана в Россию, чтобы поместить его там в детскую колонию макаренковского типа. «Может быть, еще возможно сделать из него человека. Он умный и жалкий», – писал он.

Гораздо большее участие в судьбе Ивана приняла старшая сестра Льва Львовича Татьяна Львовна.

23 сентября 1937 года она писала брату Сергею в Россию: «В нашей семье неприятность: не знаю, писали ли газеты в СССР, а здесь вся Европа протрубила, что сын Толстого оказался вором! Это сын Лёвы от второго брака. Он женился, разведясь с Дорой, на такой Сольской, у которой мать цыганка. Родили они сына Ивана, которого бросили на произвол судьбы, и он с 10-летнего возраста приучился на “plage” красть. Был в исправительной школе, но бежал и опять крал. Теперь ему 17 лет, и он опять попался. В Париже русская колония приняла в нем участие, хотят поместить его в какое-нибудь техническое училище и вообще им заняться. Мы с Таней (дочерью – *П. Б.*) примем участие в расходах.

Сколько от Лёвы приходилось краснеть! И в последний ли раз!»

О судьбе Ивана Толстого как о сенсации писали в СССР, делая акцент на состоянии русской эмиграции в целом. В ноябре 1937 года в «Комсомольской правде» вышел фельетон в рубрике «Исповедь молодого человека».

Помощь юноше пришла не от отца, а от русской диаспоры. Писатель-эмигрант Иван Наживин в воспоминаниях утверждал, что инициатором помощи был он. Так или иначе, Иван был передан французскими властями под опеку Центрального комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, который возглавлял журналист и общественный деятель Михаил Михайлович Федоров. Русские эмигранты во Франции и Америке собрали по подписке шесть тысяч франков. Внук Толстого закончил французскую школу радио и электричества и был принят добровольцем на французский военный флот. Дальнейшая его судьба неизвестна, но вероятнее всего он погиб во время Второй мировой войны. Также ничего не известно о судьбе Сольской…

Валерия Абросимова пишет, что «за всё время публичного обсуждения ситуации, в которой оказался внук Толстого, никто

не вспомнил о его отце…»

Жизнь Льва Львовича в эмиграции – тяжелая и грустная страница его биографии.

После развода с Сольской он вновь предпринимает попытку вернутся к Доре и получает отказ. В конце января 1924 года умирает доктор Эрнст Вестерлунд. Его хоронили как национального героя Швеции. Чем-то эти похороны напоминали похороны Толстого. Так, один из венков на его могилу был от простых людей, работников усадьбы, со словами: «Спасибо, доктор». Во время прощания возле гроба прошли тысячи людей. Но были и существенные отличия. Эрнста Вестерлунда отпевали в местной церкви, а гроб его был покрыт шведским государственным флагом.

В мае 1933 года в результате несчастного случая (понесла лошадь и перевернулась коляска) в Хальмбюбуде скончалась Дора Федоровна Толстая. Ей было неполных пятьдесят пять лет. После перелома позвоночника она год провела в параличе. Лев Львович не навещал больную и не приехал на похороны. Было ли причиной тому его безденежье или невозможность смотреть в глаза родственникам бывшей супруги – сложно судить.

Но к тому времени распад его личности приобретает уже хронический и безнадежный характер.

По сути, он становится иждивенцем у своего сына Никиты и старшей сестры Татьяны. Если бы не они, он несомненно умер бы от голода. В письмах к сыну Никите, сделавшему научную и преподавательскую карьеру и, к великой его чести, не забывавшему своего несчастного отца, он порой признавался, что в кармане у него осталось несколько су и он не может позволить себе чашку утреннего кофе. Иногда у него нет приличной бумаги для писем. Скитаясь по парижским отелям, он оставляет свои вещи и сундучок с книгами и рукописями как гарантию уплаты долга за проживание. Две поездки в Америку (1925–1926 и 1928 годы) ему не помогли. Проект создать для Парижа памятник Толстому не нашел поддержки.

В отчаянии он обращается к братьям-писателям. В 1927 году из Нью-Йорка пишет письмо Горькому, прочитав по-английски его очерк об отце. «Я ходил сейчас по Пятой avenue и вспомнил Ваше письмо ко мне о том, что Вы меня не любите. Я тоже Вас не любил, а теперь это совсем прошло и, напротив, после Вашей книги я почувствовал к Вам близость. Рад был бы, если бы и Вы меня перестали не любить. Вы были правы, когда не любили, теперь я стал много лучше, испытывая большие тяжести жизни…

Ваш прежний враг – новый друг Л. Толстой маленький».

В том же письме он пишет: «Вы знаете – я иду очень похоже с

отцом».

Горький на это ничего не ответил…

Об отношении ко Льву Львовичу со стороны советских писателей можно судить по тому что написал о нем Виктор Шкловский в известной биографии Толстого в серии «ЖЗЛ»: «… формально принадлежа к искусству будучи плохим писателем, плохим скульптором, сгорал от зависти к отцу и в своих дневниках, перебивая изложение, писал о том, как он ненавидит своего отца».

Отчасти это было правдой… Но какой же холодной и жестокой…

Впрочем, и крупные писатели русской эмиграции не жаловали сына Толстого. Так, в рукописном отделе музея Л. Н. Толстого хранится записка Ивана Бунина 1934 года, вероятно, вызванная обращением к нему Льва Львовича с просьбой о помощи. Текст был написан на фирменной бумаге Hotel Magestic на Place de l'Etoile: «Многоуважаемый Лев Львович, мне сказали, что нужно подать просьбу о помощи: «В Союз журналистов и писателей. Прошу…» и т. д. Всего доброго. Ив. Бунин». К тому времени Иван Алексеевич уже был обладателем Нобелевской премии по литературе. Ни слова утешения, ни слова поддержки.

Любопытно, что и сам Лев Львович одно время подумывал о получении Нобелевской премии. В 1938 году он писал сыну Никите в Швецию: «Пожалуйста… не забудь осенью хорошенько справиться для меня о том: 1) куда посылают работы на получение премии Нобеля (адрес точный) и 2) кто и куда рекомендует будущих "лауреатов"…»

На что он претендовал? Получить премию, за которую в свое время сражались такие гиганты, как Бунин, Горький и Мережковский!

Об отношении ко Льву Львовичу эмигрантских кругов можно судить, скажем, по воспоминаниям писателя и предпринимателя Владимира Пименовича Крымова, жившего на собственной вилле под Парижем (Он считается прототипом Парамона Корзухина в пьесе Булгакова «Бег».). Крымов встретился со Львом Львовичем в Париже в игорном клубе «Сэркль Османн»:

«За наш стол подсел еще кто-то, я сразу не узнал, что это Л. Л., так он изменился за эти годы. О чем-то говорили, у Л. Л. под столом стояла большая папка, к концу обеда он раскрыл ее и стал показывать рисованные им портреты отца, которые предлагал по сто франков. "Обратите внимание на глаза моего отца, такие тупые и глупые… Удивительно, что никто так и не понял, что мой отец, будучи талантливым писателем, был в то же время глупый человек".

Никто ничего не ответил, никто портрета не купил, и, когда Л. Л. ушел, все возмущались».

Воспоминания Крымова можно было бы посчитать вымыслом и злой карикатурой, но, увы, это был, по всей видимости, вполне правдивый очерк. Нищета, бездомность и неспособность устроиться в жизни за границей как по внешним, так и по внутренним причинам превратили сына Толстого в живую карикатуру. Глубокое отчаяние, сопряженное с манией величия, зависть и даже ненависть к своему отцу, которого он, видимо, продолжал считать главным виновником всех своих бед, разрушали его изнутри, порой делая настоящим посмешищем в глазах людей…

Больше всех от этого страдала его сестра Татьяна. Она жила в Риме и, благодаря удачному замужеству дочери, не нуждалась. Однако богатое семейство Альбертини не считало нужным содержать еще и ее брата, к тому же заядлого игромана, проигрывавшего деньги, которые присылали ему сын и сестра. Несколько раз она оплачивала его поездки в Италию, где он отдыхал душой, наслаждаясь итальянским солнцем и вином. Она всю жизнь была его «нянькой». Когда-то она спасала его от депрессии в Париже и теперь снова была вынуждена взять под свое крыло. Но в письмах к родным Татьяна не скрывала горьких чувств в отношении брата. Дело было даже не в его безденежье, связанном с игроманией. Главная причина страданий сестры была неутихающая ненависть брата к отцу…

В мае 1931 года она сообщала в Россию Сергею Львовичу Толстому: «Ты пишешь о Лёве: это мой тяжелый крест, и я, каюсь, часто бываю с ним недобра и резка. Он удивительный человек: несомненно, ненормальный и, конечно, очень жалкий. Он, который сумел искалечить свою жизнь так, что хуже нельзя, – постоянно всех учит с уверенностью в том, что он всё знает лучше всех. Самое тяжелое в нем для меня – это его отношение к отцу. Он никогда не упускает случая сказать при мне что-нибудь такое, что мне тяжело и неприятно слышать. И, к сожалению, пишет об отце, и, к еще большему сожалению, есть люди, которые его печатают. Он живет в Париже в маленьком отеле, постоянно в клубе играет. Приходил ко мне тогда, когда нужны бывали деньги. А теперь пишет, что хочет приехать в Рим, потому что я для него самый близкий человек. И пишет, что пора же ему, наконец, жить спокойно и обеспеченно, не понимая, что его обеспеченность будет кому-то стоить денег и заботы. Но я его жалею и сказала, что пусть он приезжает».

Парадокс жизни Льва Львовича в эмиграции заключался в том, что, выступая против своего отца, он зарабатывал на его

имени, и это был единственный источник его заработка. Но, возможно, именно это и подогревало его ненависть к отцу. Он искренне считал себя умнее и прозорливее того, кого целый мир признавал великим человеком, не замечая при этом «гения» Льва Львовича. В этом он видел несправедливость судьбы.

О его «прозорливости» можно судить по тому, что, посетив в начале тридцатых годов Италию, он влюбился в «гений Муссолини» и создал его скульптурный портрет. О надвигавшейся войне он писал, что выиграет от нее Россия, а погибнут Соединенные Штаты. И так далее и тому подобное.

Рассуждая в статьях и целых неопубликованных книгах о всеобщем мире в результате объединения всех государств в одно, он в конце тридцатых годов пытался заработать на перепродаже оружия. Живя на содержании у двух семей, сына и сестры, и проигрывая в карты те сотни франков, которые присылались ему на одежду и пропитание, он учил жизни всё человечество и не видел в этом противоречия. Больше того, он считал, что является продолжением своего отца, но на более высоком уровне.

9 мая 1936 года Татьяна Львовна писала брату Сергею Львовичу: «Недавно отсюда уехал несчастный Лёва. Бестолковый, бестактный, весь сосредоточенный на самом себе. Считает себя гением, нисколько не ниже отца. Отца же ненавидит; когда может – говорит о нем с осуждением. Говорит, что “I am ashamed of my father”[51]. Я хотела ему сказать, что самое позорное имя, прошедшее через всю историю человечества, – это имя второго Ноева сына, который был неуважителен к отцу[52]. И назвать человека этим именем равносильно удару по щеке. Но он всё равно не поймет».

При этом Лев Львович продолжал нравиться женщинам. Время от времени он заводил новые романы, о которых его сестра Татьяна сообщала Сергею:

«Представь себе, что Лёва завел роман с американкой со всякими драмами. Старый, лысый, беззубый, нищий, а всё не сдается…»

«Пишет мне, что чуть-чуть не женился на 20-летней итальянке. Думал родить с ней двух итальянчиков, но потом раздумал и сбежал».

«Приходил Лёва: я постаралась достать ему работу и свела его с дамами, которые хотели сделать бюст мальчика. Но он столько наговорил глупостей вроде того, что “quoi que-miex-je reçois des lettres d’amour”[53], – и вдруг увидали старикашку с разговорами парижского апаши[54]. Ничего с ним не поделаешь… Он ненормальный человек…»

«Он помешан на сексуальном вопросе», – наконец пишет она.

В конце тридцатых годов сыновья Льва Львовича задумались о том, чтобы навсегда поселить отца в Швеции. Это было надежнее, чем посылать ему деньги, которые он проигрывал. В ноябре 1938 года он приезжает в Симмельсберг, в дом сына Петра… С его семьей у него складываются хорошие отношения, он возвращается к литературному труду и пытается думать по-шведски. Сестра Татьяна Львовна радостно сообщает брату Сергею Львовичу в Москву: «Лёва уехал в Швецию, как он пишет “навсегда”. Но с ним никогда нельзя знать, что он сделает завтра. Я о нем только спокойна, когда он в Швеции. Там ему сыновья не дадут голодать, как часто ему приходилось в Париже».

Погостив у Петра, он поехал в Хальмюбуду, хозяином которой был его самый старший сын Павел. Но здесь судьба зло наказала его. С ним случилось то же, что происходило между ним и его отцом летом 1910 года и даже раньше. Конфликт отца и сына…

И снова всё случилось из-за яблоневого сада.

Когда-то он учил отца, как тому распоряжаться яблоневым садом, и это возмутило отца. Теперь сказал сыну, что «1000 га яблок преют». Но терпеть нотации от родителя, развалившего их семью, сын не стал. В письме к Никите Лев Львович пишет в страшной обиде на Павла: «Паля взял от своих предков всё худшее. Глуп, невоздержан; несправедлив, груб… Глаза его выскочили, и я ждал, что он ударит меня. Но ограничилось только всё же прикосновением к моему плечу… Он хотел доказать, что всё, что я имею в Hda, было от его матери и от него, а не от меня… Нет, нет – довольно близости к тем, кто ненавидит. Он ненавидит меня».

В следующем письме к Никите он жалуется: «Он чуть не убил меня, этот идиот и разбойник. Подальше, подальше от него. Он меня ненавидит, и я не хочу допустить его даже до моей могилы… Судьба жестоко накажет его…»

После ссоры с Павлом дети решили, что отцу лучше жить отдельно от них, но с возможностью навещать детей и внуков. Некоторое время он живет в городе Ландскруне, затем снова гостит у сына Петра и, помирившись с Павлом, живет с его семьей в Хальмюбуде. В 1943 году он переезжает в городок Хельсинборг на юге Швеции… Это было последнее пристанище.

О последних годах жизни Льва Львовича можно судить по его письмам Никите, а также по «Ежедневнику», который он вел в 1943–1945 годах…

В Европе полыхала война… 22 июня 1941 года фашистские войска вторглись на территорию СССР. Через пять дней после этого события Лев Львович пишет сыну из Симмельсберга: «Я

ничего не делаю. Не могу взяться и только читаю. В начале августа будет, может быть, работа двух детских бюстов. Вероятно, июль останусь здесь. Еще не говорил об этом с “хозяевами”. Мне было очень больно, когда они в день моего 72-летия о нем забыли. Кухарка должна была им напомнить, сделав мне пирог?! Это между нами. Ты поймешь теперь лучше, как тяжело жить у детей».

0 начале войны, в которую вступила его родина, он пишет холодно: «Бедный русский народ и бедный немецкий солдат! Но нравственный закон жизни – неумолим и карает всех и каждого, кто заслужил этой кары… Меня первого…»

Он даже не чувствует всей нелепости этого сравнения: одного себя со всем русским народом!

Идет война, у его детей рождаются дети, его внуки. Он как будто не замечает этого, сосредоточенный на себе… Его «Ежедневник» оставляет горькое чувство…

1943 год.

1 января. «Бросил курить. Дети и внуки».

4–5 января. «Простуда. Насморк. Слабость. Закрытое окно».

7 января. «Курю махорку».

25–27 января. «Мысль о самоубийстве».

8 января. «Ночь у Elizabet».

2 марта. «Бросил курить **прочно**».

Конец мая. «Мысли о романе».

24 июля. «Собака. Водка. Озеро».

31 декабря. «Один».

1944 год.

1 января. «Не пить алкоголя, кроме виноградного. Мало кофе. Не печь свинины… Господи, я с тобой постоянно. Господи, дай мне сил служить тебе».

8 января. «Боже мой, я с тобой везде и всегда».

12 января. «**Господи, я с тобой**. Усталость».

3 февраля. «Клещ. Водка. Дождь. Трамваи».

12 февраля. «Не читать газет. Не слушать радио. Не пить водки».

25–26 февраля. «Клещ. Солнце. Нервы…»

16–17 февраля. «Шведские засс…ые нужники».

5 апреля. «Купил папирос».

14 апреля. «**Быть сильным**».

23 апреля. «Быть сильным».

29 апреля. «Быть сильным».

17 июля. «Малевал. Купался. Курил. Деньги?»

9 сентября. «Союзники в Германии?»

1945 год.

6 января. «Усталость. Ищу темы для статей. Веду себя ужасно».

8 января. «**Надо опомниться**!!!»

20 января. «Игра?»

9 мая. «Конец войны. 4 рюмки портвейна. Водка. 2 папиросы».

24 июля. «Быть сильным».

26 июля. «Быть очень сильным весь остаток дней».

30 июня. «Сила во мне».

Записи, сделанные незадолго до смерти.

«Не желать».

«Не осуждать».

«Не мечтать».

«Любить только одного бога».

«Не говорить много».

«Не пересыпать».

«Созерцать».

«Молиться».

«Не бояться нового».

«Не губить времени».

«Не курить».

«Не пить водки».

«Но не бояться вин».

«Держать страсти в повиновении».

На последних страницах – рисунки: прелестные женские головки, два парусника и пароход… Две страсти, сопровождавшие его всю жизнь: женщины и любовь к путешествиям.

18 октября 1945 года Лев Львович скончался в Хельсинборге от удара и был похоронен на кладбище местной церкви.

В мае 1926 года он писал любимому сыну Никите: «Кто бы меня родил иначе, чем я родился».

Библиография

В список включены наиболее важные материалы, использованные при написании книги. Список разбит на четыре раздела. Первый и второй – это тексты Л. Н. Толстого и литература о нем. Третий – тексты Л. Л. Толстого. Четвертый – публикации Валерии Николаевны Абросимовой, главного специалиста по жизни и творчеству Л. Л. Толстого, без архивных разысканий которой эта книга не была бы написана.

I

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений (юбилейное издание): в 90 т. М., 1928–1958.

Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т. М., 1978.

Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857–1903). М, 2011.

Переписка Л. Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990.

Бирюков. И. П. Биография Л. Н. Толстого: в 4 т. М., 2000.

Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. М.-Л., 1936.

Гусев. Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1828–1855; 1855–1869; 1870–1881; 1881–1885. М, 1954–1970.

Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1886–1892; 1892–1899. М., 1979–1998.

Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. М., 2008.

Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М.-Л., 1936.

Толстая С. А. Дневники: в 2 т. М., 1978.

Толстая С. А. Моя жизнь: в 2 т. М., 2011.

II

Белоголовый Н. А. Воспоминания и статьи. М., 1897.

Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни: Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1957.

Булгаков В. Ф. Как прожита жизнь. Воспоминания последнего секретаря Л. Н. Толстого. М., 2012.

Величкина В. М. В голодный год с Львом Толстым. М.-Л., 1928.

Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 2002.

Гусев Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973.

Жиркевич А. В. Встречи с Толстым. Дневники и письма. Тула, 2009.

Кузминская Т А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986.

Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб, 2000.

Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: в 2 т. М., 1978.

Л. Н. Толстой и его близкие. М., 1986.

Лев Толстой и голод. Н.-Новгород, 1911.

Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904–1910. Яснополянские записки Д. П. Маковицкого// Литературное наследство. Т. 90: в 4 кн. М., 1979.

Микулич В. (Веселитская Л. И.) Встречи с писателями. Л., 1929.

Муратов. М. В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке. М., 1934.

Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1980.

Сухотина-Толстая Т. Л. Дневник. М., 1987.

Толстая А. Л. Дочь. М., 2000.

Толстая А. Л. Отец: в 2 т. М., 2001.

Толстой И. В., Светана-Толстая С. В. Пути и судьбы. Из семейной хроники. М., 2000.

Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969.

Толстой С. Л. Мать и дед Л. Н. Толстого. М., 1928.

Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975.

Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994.

Уход и смерть Льва Толстого. Корреспонденции. Статьи. Очерки. СПб, 2010.

III

Толстой. Л. Л. Опыт моей жизни. Переписка Л. Н. и Л. Л. Толстых. М., 2014.

Толстой. Л. Л. Опыт моей жизни. «Окно». Литературный журнал, 2011–2013, №№ 8(11)-12(15). Подготовка текста, публикация и комментарий Валерии Абросимовой.

Толстой Л. Л. В Ясной Поляне. Правда об отце и его жизни. Прага, 1923.

Толстой Л. Л. Яша Полянов. Воспоминания для детей из детства. М., 1899.

Толстой Л. Л. «Прелюдия Шопена» и другие рассказы. М., 1900.

Толстой Л. Л. Современная Швеция в письмах-очерках и иллюстрациях. М., 1900.

Толстой Л. Л. В голодные года. М., 1900.

Толстой Л. Л. Против общины. Три статьи. М., 1900.

Толстой Л. Л. Памятка русского солдата. СПб, 1907.

Толстой Л. Л. Любовь. Рассказ. «Книжки Недели», журнал, 1891, № 3.

Толстой Л. Л. Монте-Кристо. Рассказ. – «Родник», журнал, 1891, № 4.

Толстой Л. Л. Поиски и примирения. Роман в 4-х частях. – «Ежемесячные сочинения», журнал, 1902, №№ 1-12.

Толстой Л. Л. Отрывок из моего дневника 1903 года. – «Столица и усадьба», журнал, 1914, № 4.

Письма Л. Л. Толстого к Лескову – «Литературное наследство», т. 101, кн. 2. М., 2000.

Толстой Л. Л. Письма к отцу и матери. РО ГМТ.

Толстой Л. Л. Ежедневник (1943–1945). РО ГМТ.

IV

Отец и сын. По страницам дневниковых записей и мемуаров Л. Л. Толстого. Подготовка текстов, публикация и комментарии В. Н. Абросимовой и С. Р. Зориной. – Лица. Биографический альманах. М.-СПб, 1994.

Абросимова В. Н. Л. Л. Толстой и М. Горький (по архивным документам). – «Вестник Московского университета». Серия 9. Филология, 1995, № 2.

«… Время идет интереснейшее…» (Письма Л. Л. Толстого к Николаю II). Публикация В. Н. Абросимовой и С. Р. Зориной. – Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1992 год. СПб, 1996.

Абросимова В. Н. Сын великого Толстого, война и Америка (по архивным материалам). – Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal in Slavic Studies, 2008, № 24.

Абросимова В. Н. Зигзаги судьбы Льва Толстого-младшего (по архивным материалам). – Toronto Slavic Quarterly. Academic Electronic Journal in Slavic Studies, 2008, № 26.

Абросимова В. Н. «Вероятно, уеду в «Подариж» опять осенью…» (Париж и Франция в судьбе Л. Л. Толстого). – Лев Толстой и Сибирь. Выпуск третий. Кемерово, 2012.

Абросимова В. Н. Хронологическая таблица жизни и творчества Льва Львовича Толстого. – «Окно». Литературный журнал, 2013, № 12(15).

Иллюстрации

Лев Николаевич Толстой в 1868 году. В следующем году он закончит «Войну и мир» и у него родится сын Лев

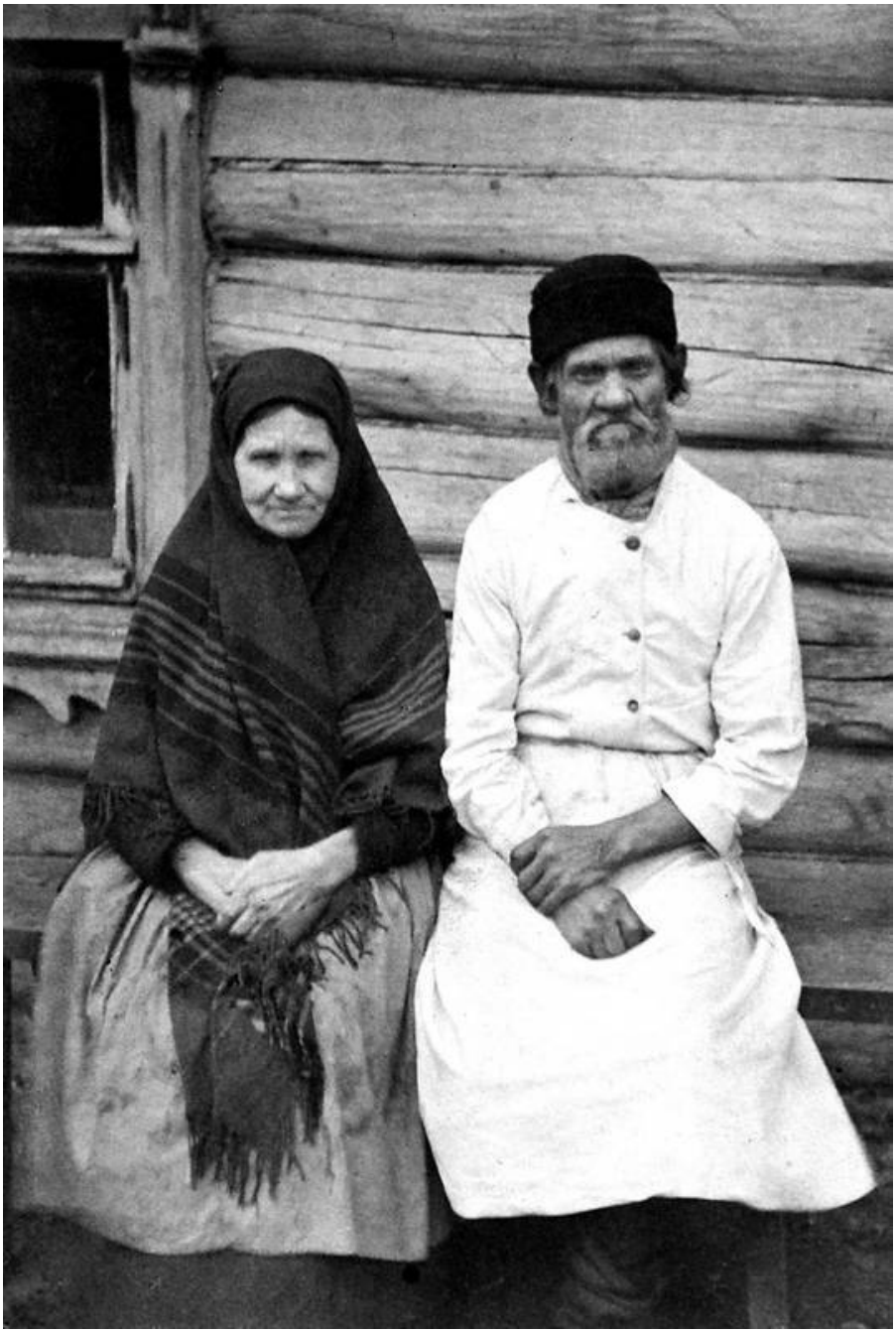
Дети Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых – Сережа, Лёва, Таня и Илюша. 1872 год. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича

Лёва Толстой в 1878 году. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича

Маша Толстая в 1878 году. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича

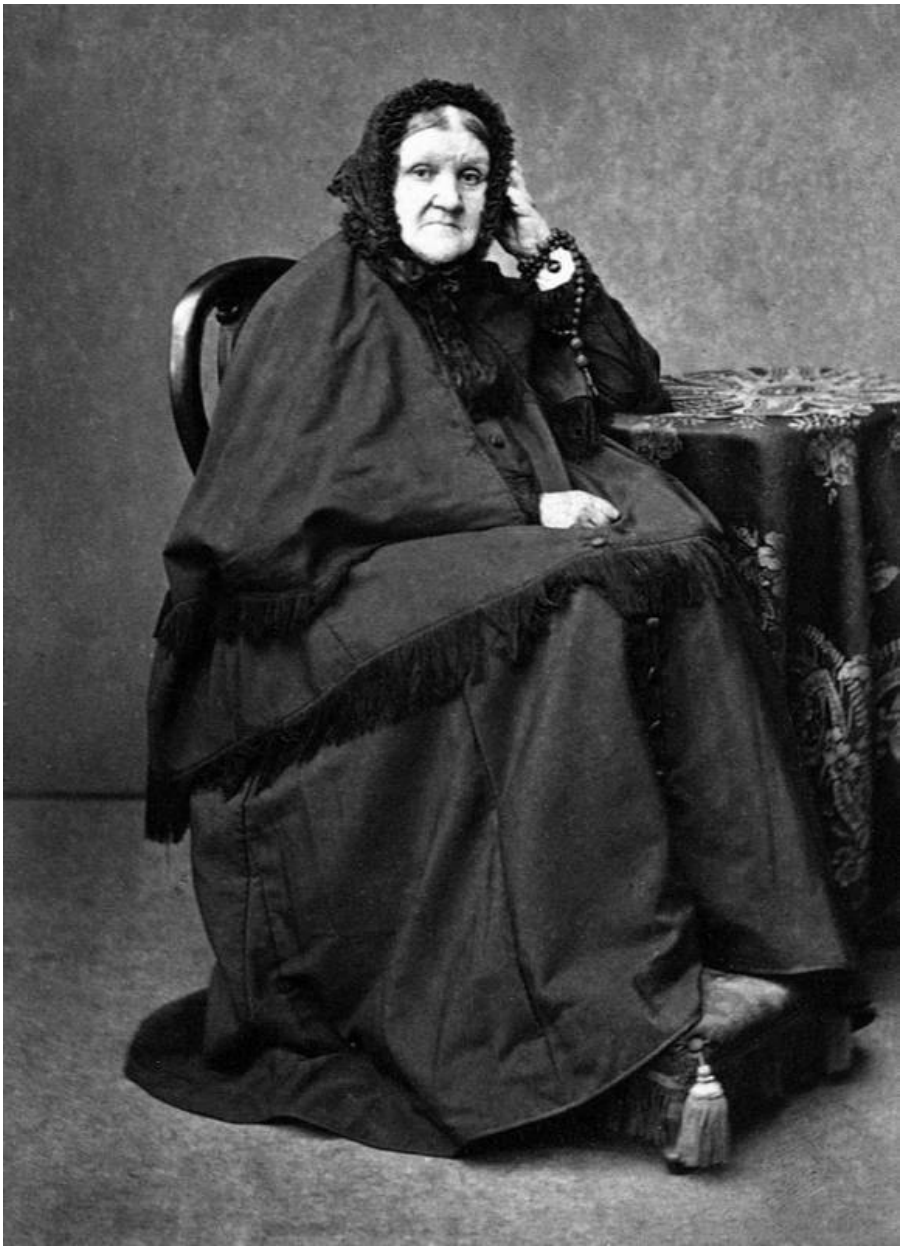
Дом Толстых в Хамовниках

Софья Андреевна Толстая в 1870 году. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича



Няня детей Толстых Марья Афанасьевна Арбузова и повар Николай Михайлович Румянцев

Тетушка Льва Николаевича, фрейлина Александра Андреевна Толстая



Тетушка Льва Николаевича Полина Ильинична Юшкова, крестная мать его сына Льва

Василий Иванович Алексеев, домашний учитель детей Толстых

Дом Толстых в Ясной Поляне

Лев Николаевич Толстой в возрасте двадцати двух лет. 1851 год. Москва

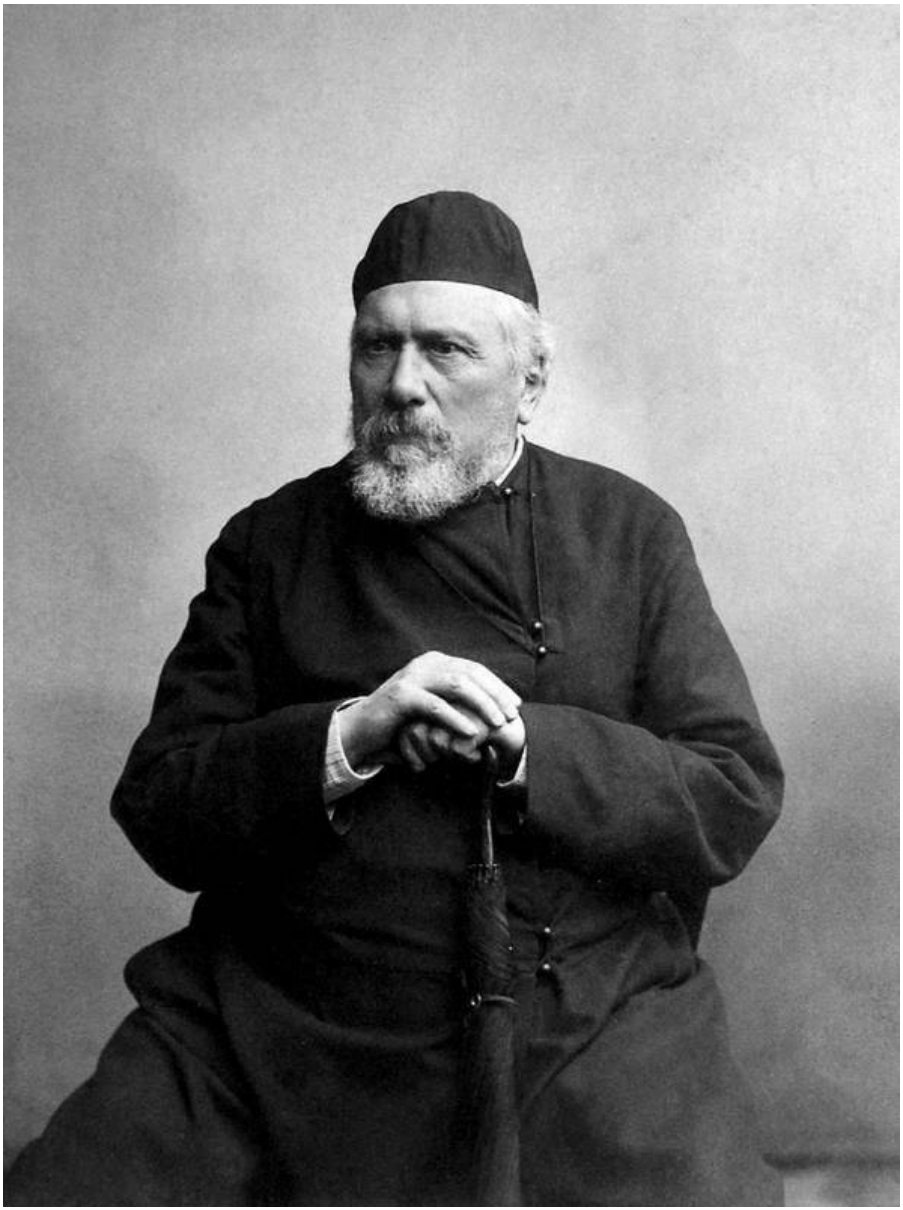
Его сын Лев Львович Толстой примерно в том же возрасте. Начало 1890-х годов. Москва

Софья Андреевна Толстая (справа), Софья Николаевна Толстая (урожденная Философова, жена Ильи Львовича Толстого) и младшая дочь Толстых Александра за утренним туалетом. Москва, Хамовники

Лев Николаевич Толстой в кругу семьи. Позади отца

– Лев Львович Толстой. 1884 год. Ясная Поляна

Любимый ребенок Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых – Ванечка



Николай Семенович Лесков

Антон Павлович Чехов

Алексей Сергеевич Суворин

Цесаревич Николай Романов, будущий последний русский император

Лев Николаевич Толстой записывает просьбы голодающих крестьян. 1892 год. Бегичевка

Сын Толстого Лев Львович на голоде в Самарской губернии

Мария Львовна Толстая с мужем Николаем Леонидовичем Оболенским

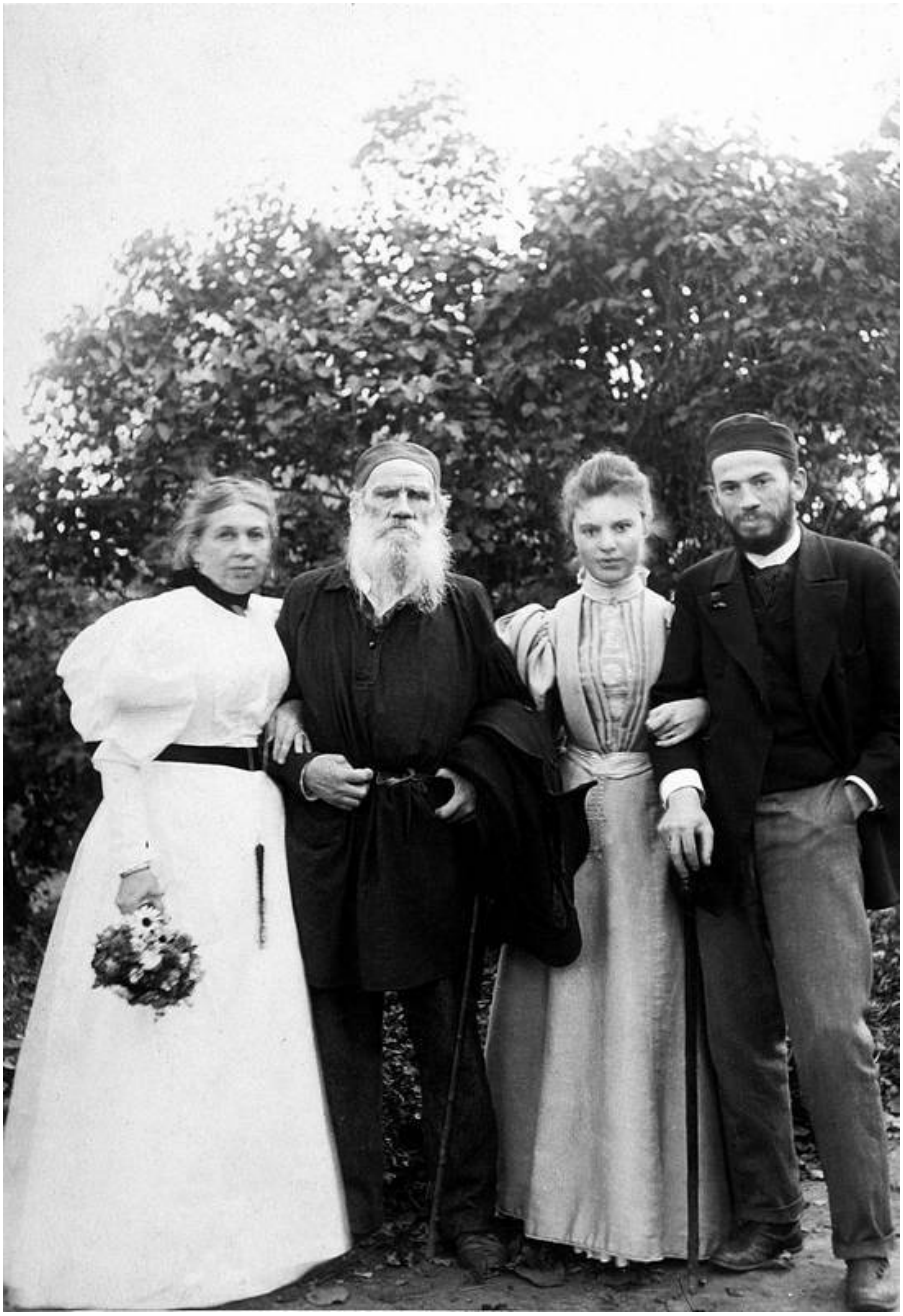
Татьяна Львовна Толстая с мужем Михаилом Сергеевичем Сухотиным

День рождения Софьи Андреевны Толстой 22 августа 1898 года. Крайний справа – Лев Львович Толстой

Татьяна Львовна Толстая-Сухотина с дочерью Танечкой

Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые после смерти Ванечки. 1895 год

Лев Львович Толстой в 1901 году. Стокгольм



В годовщину свадьбы Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых 23 сентября 1896 года. Рядом со Львом Николаевичем – его невестка Дора и сын Лев

Дора Толстая с сыном Лёвушкой. 1899 год. Ясная Поляна

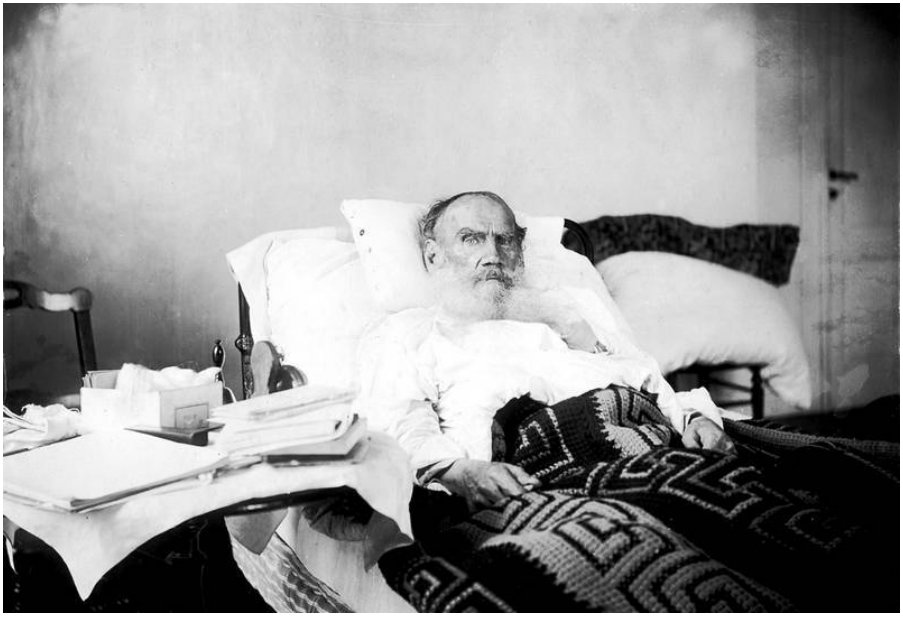
Флигель Кузминских, который Лев Львович и его жена Дора превратили в «шведский оазис в русской пустыне»

Три Льва. Лев Николаевич Толстой, Лев Львович

Толстой и маленький Лёвушка. 1899 год. Ясная Поляна

Лев Львович Толстой с сыном Лёвой, женой и ее родителями в Ясной Поляне. 1900 год

Дети Льва Львовича Толстого. Слева направо: Павел, Никита, Петр и Нина



Больной Лев Николаевич Толстой в Крыму. Май 1902 года. Гаспра. Фотография С. А. Толстой

Лев Львович Толстой в Египте. 1903–1904 годы

Софья Андреевна Толстая с дочерями. Слева направо: Александра, Татьяна и Мария. 28 августа 1903 года. Ясная Поляна

Сыновья Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. Слева направо: Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил. 28 августа 1903 года. Ясная Поляна

Лев Николаевич Толстой: «Зачем эти вещи? Зачем эта роскошь рядом с нищетой?»

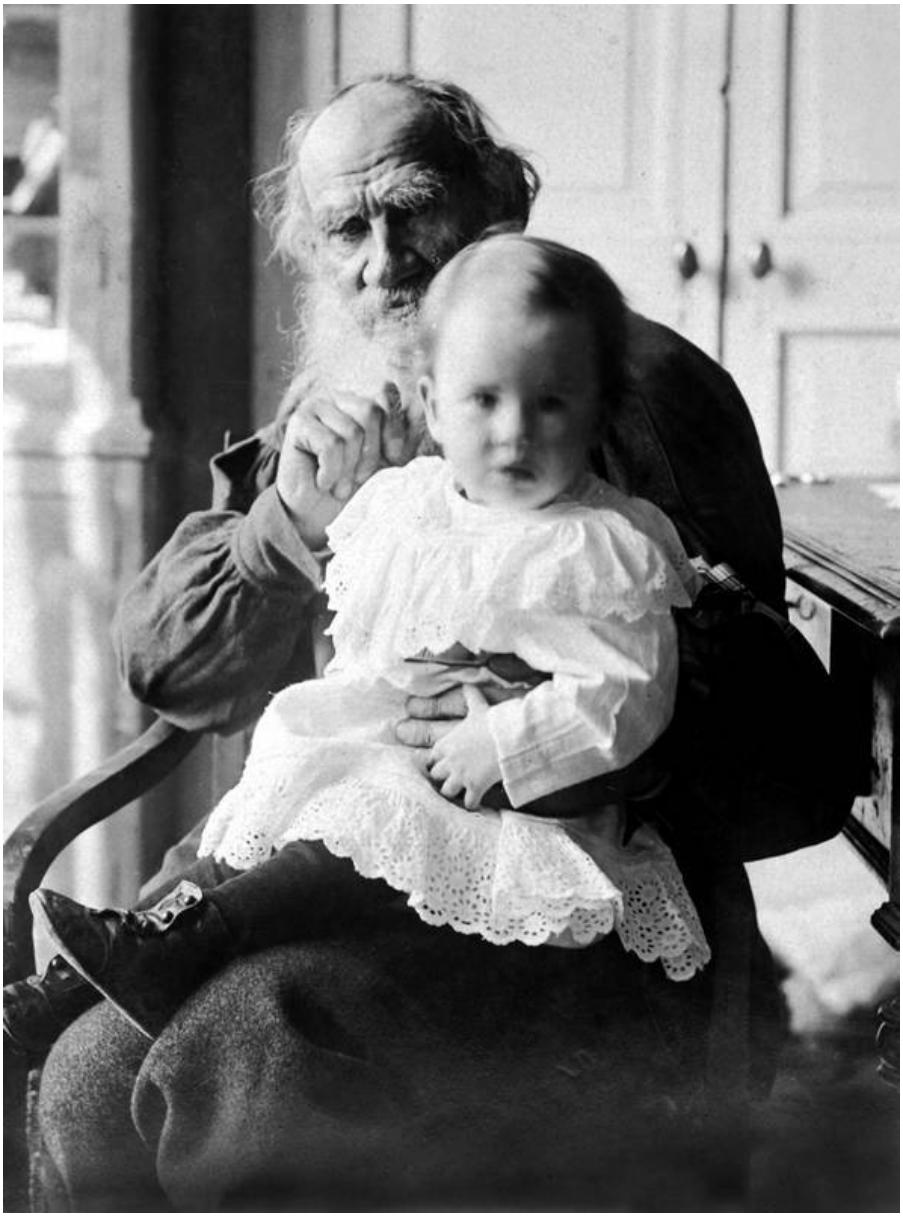
Софья Андреевна Толстая с сыном Львом Львовичем. 1905–1906 годы. Ясная Поляна

Крестьяне у Льва Николаевича Толстого

Лев Николаевич Толстой и Владимир Георгиевич Чертков

Профессор Владимир Федорович Снегирев,

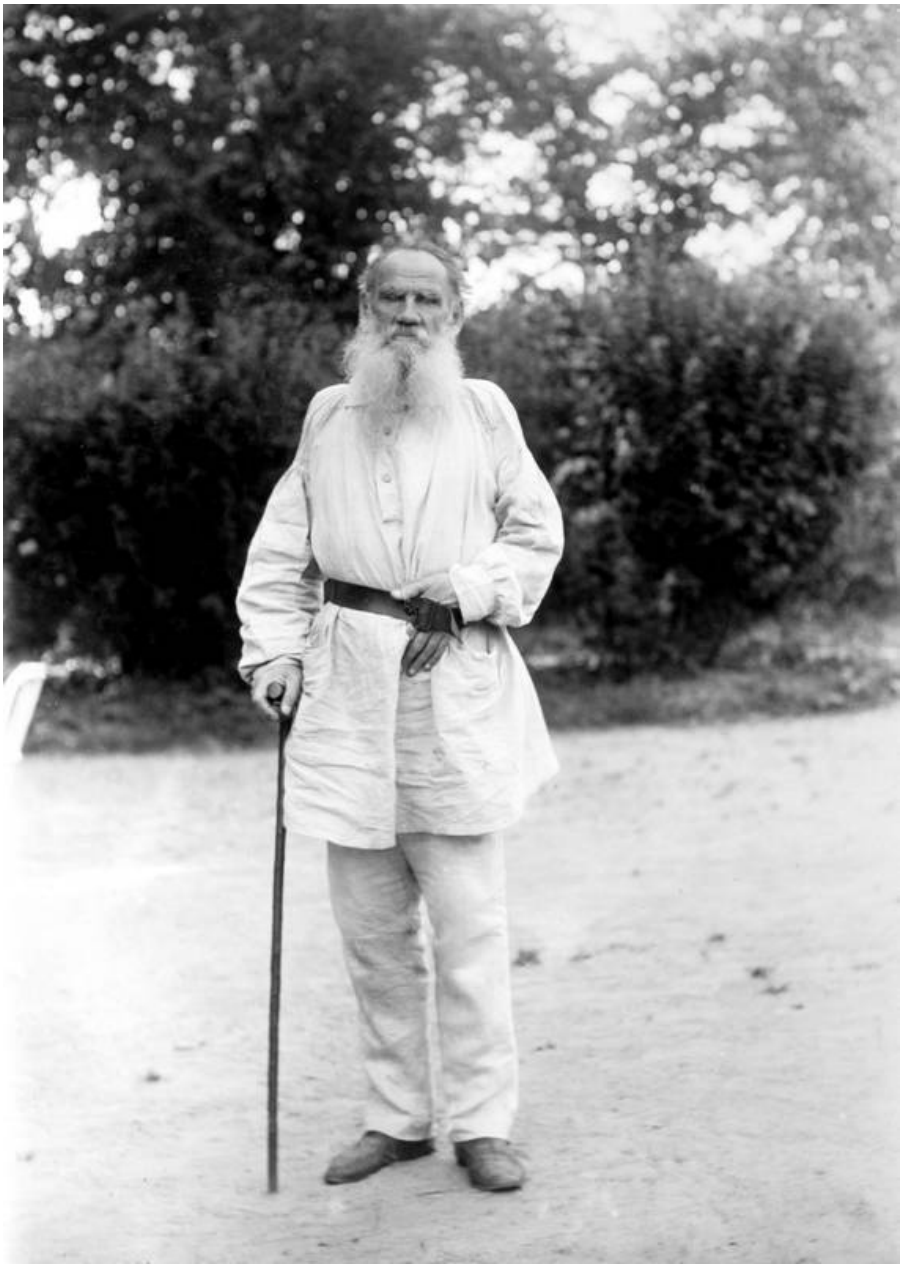
оперировавший Софью Андреевну в Ясной Поляне в 1906 году



Лев Николаевич Толстой с внучкой Танечкой

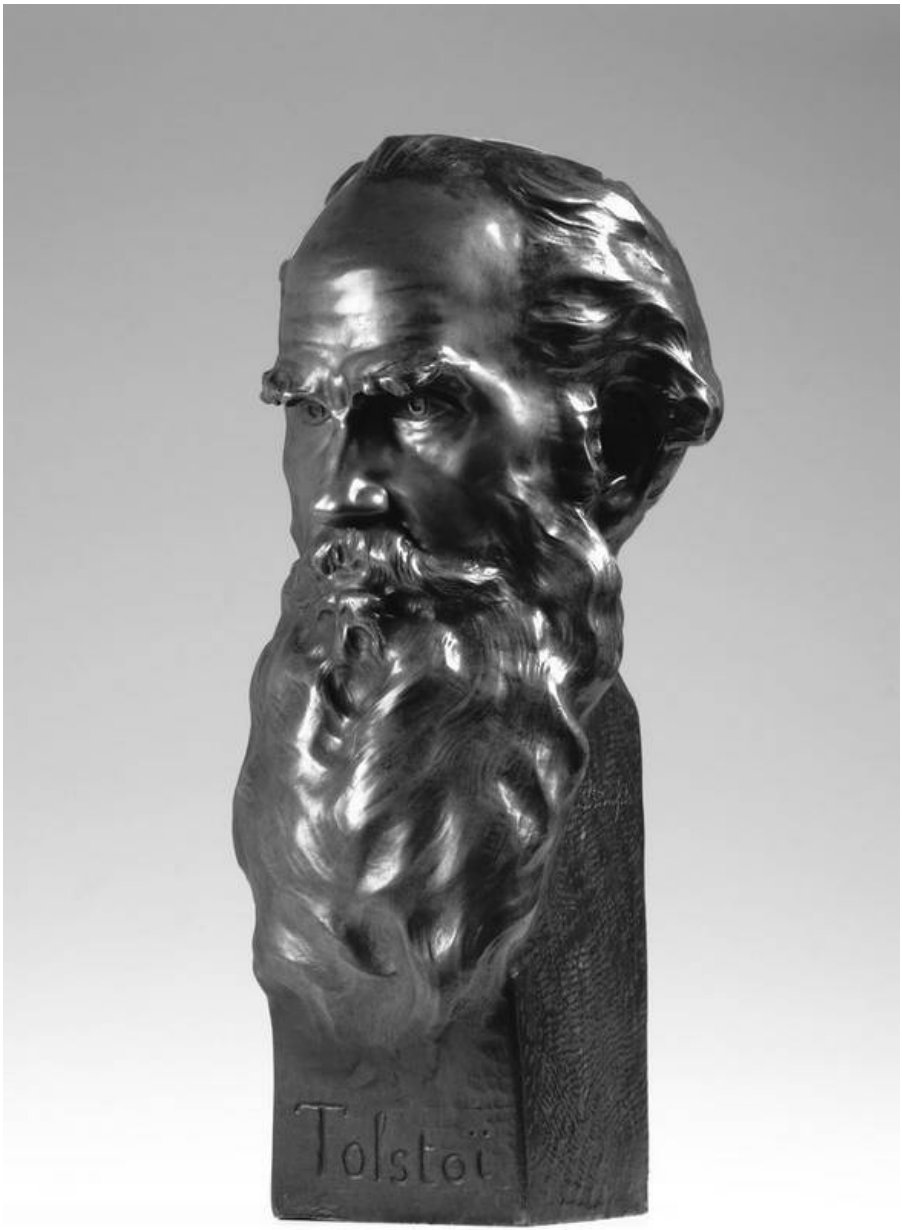
Портрет Льва Львовича Толстого работы Ильи Ефимовича Репина. 1905 год

Лев Николаевич Толстой верхом на Делире



Снимок Льва Николаевича Толстого для скульптора Ильи Яковлевича Гинцбурга. Толстой лицом к зрителям. 1897 год. Ясная Поляна

Бюст Софьи Андреевны Толстой работы Льва Львовича Толстого. Гипс. 1910 год



Бюст Льва Николаевича Толстого работы Льва Львовича Толстого. Бронза. 1911 год

Софья Андреевна Толстая на могиле мужа

Отец и сын в апреле 1903 года

notes

Примечания

1

Комильфо, благопристойный, надлежащий (*фр.*).

2

Ленив (*фр.*).

З

Вспыльчив (*фр.*).

4

Пожалуйста, еще немного для Лёли (*англ.*).

5

Мисс Эмили Табор (*англ.*).

6

Популярный сорт табака. Изготовлялся на петербургской фабрике надворного советника и купца первой гильдии Василия Григорьевича Жукова. Жуковский табак курил не только Толстой, но и Достоевский.

Буквально (*фр.*).

8

Атласных кружев (*фр.*).

9

Корсажем (*фр.*).

10

Простые деревянные куколки, которые Софья Андреевна с детьми специально наряжали для крестьянских детей.

11

Удовольствия (*фр.*).

12

Всё свое ношу с собой (*лат.*).

13

Принятия пищи (*фр.*).

Своей внутренней ценности (*фр.*).

15

Предшествующее событие (*фр.*).

16

Соня, останьтесь (*фр.*).

17

Императрица нанесет визит мадам Шостак (*фр.*).

18

Соня, идите, и (*фр.*).

19

Моя дочь (*фр.*).

20

“Давно ли вы приехали?” Я говорю: “Нет, мадам, только вчера” (*фр.*)

21

«Ваш Муж здоров?" Я говорю: "Ваше Величество очень добры, он здоров". "Я надеюсь, он пишет что-нибудь". (*фр.*)

22

Нет, мадам, сейчас он не пишет, но, кажется, он предполагает написать что-нибудь для школ, вроде «Чем люди живы» (*фр.*).

23

Он никогда больше не будет писать романов, он сообщил это графине Александре Толстой (*фр.*).

24

Неужели вы этого не хотите, это меня удивляет (*фр.*).

25

Я надеюсь, что дети вашего Величества читали книги моего мужа (*фр.*).

О, да, разумеется (*фр.*).

27

Раевский никогда не был предводителем дворянства Тульской губернии. В 1891 году им являлся А. А. Арсеньев.

28

Сообщение В. И. Абросимовой.

29

Так в подлиннике. Вероятно, Толстой имел в виду «глупости».

30

Двадцать пять градусов по Цельсию.

31

Велосипед подарили Толстому члены Московского общества любителей велосипедов.

32

Порочный круг (*фр.*).

33

Фунт – примерно 0,45 кг.

Так в то время называли депрессию.

35

Сыр с плесенью.

36

Ветер (*фр.*).

37

Речь о русско-шведской войне 1808–1809 годов с целью присоединения Финляндии.

38

Эрнст Вестурлунд родился в 1839 году.

39

Здесь и далее частично используются неопубликованные воспоминания сына Л. Л. Толстого Павла Львовича в переводе Т. Л. Балдовской.

40

Предпочтения.

Сохранять свободу действий (*фр.*).

42

Консервативная газета, издававшаяся Алексеем Сергеевичем Сувориным.

43

Не Пушкин, а Карамзин.

Родители жены (*фр.*).

45

В феврале 1902 года Горький получил от Академии Наук звание «почетного академика» по разряду изящной словесности. Но в марте в «Правительственном Вестнике» вышло сообщение, что выборы объявляются недействительными. Отказ утвердить Горького в звании академика ввиду его политической неблагонадежности вызвал возмущение. Чехов и Короленко в знак протеста заявили в печати, что они отказываются от звания академиков. Толстой, тоже являвшийся академиком, этого не сделал.

46

Словари.

47

Об истории тайного завещания Толстого подробно рассказано в книгах: Б. С. Мейлах. Уход и смерть Льва Толстого. – М.-Л., 1960; Павел Басинский. Лев Толстой: бегство из рая. – М. 2014.

Всю правду (*фр.*).

49

Разновидность азартной карточной игры, требующая большого хладнокровия и сосредоточенности.

50

Название набережной реки Арно во Флоренции.

51

Я стыжусь своего отца. (*фр.*)

Имеется виду Хам.

53

Как никогда много получаю любовных писем (*фр.*).

Хулиган.